



Набрано и
отпечатано
в типографии
Lutze & Vogt
С. м. В. Н.
в марте 1925
в Берлине

Б Е С Е Д А

Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ

ИЗДАВАЕМЫЙ
ПРИБЛИЖАЙШЕМУЧАСТИИ

ПРОФ. Ф. А. БРАУНА
М. ГОРЬКОГО
В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

№ 1644/5

№ 6/7

ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ
Э П О Х А . Б Е Р Л И Н

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
<i>М. ГОРЬКИЙ. Рассказ о необыкновенном . . .</i>	9
<i>ИОСИФ КАЛЛИНИКОВ. Баба-змея. Повесть</i>	56
<i>ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Стихотворения</i>	139
<i>ПАНАЙОТ ИСТРАТИ. Кюдин. Перевод с французского</i>	142
<i>П. П. МУРАТОВ. Посланник</i>	210
<i>МЭЙ СИНКЛЕР. Открытие Абсолюта. Перевод с английского</i>	230
<i>НИКОЛАЙ ОЦУП. Поездка в Малаграти . . .</i>	255
<i>ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Поэтическое хозяйство Пушкина. (Окончание)</i>	272
<i>ПРОФ. Ф. А. БРАУН. Варяги на Руси . . .</i>	300
<i>ПРОФ. Э. КРЕНКЕЛЬ. Вымершие великаны. Перевод с рукописи</i>	339
<i>ПРОФ. ИОЛЛЕС. Байрон</i>	353
<i>Д-Р Г. ВЕРНЕР. Основы современного учения о наследственности</i>	360
<i>Л. УЛЬВИГ. Чудо в науке. Перевод с французского</i>	392
<i>ПРОФ. К. ВОЙЛЕ. Этнография в Германии до, во время и после войны</i>	404
<i>ПРОФ. ГАРРИ ШМИДТ. Основы радиотелефонии</i>	436
<i>СМЕСЬ. Аэродинамическая опытная станция в Геттингене. — О небьющемся и ковком стекле</i>	451
<i>БИБЛИОГРАФИЯ</i>	458
<i>Fritz Knapp: Die künstlerische Kultur des Abendlandes (458). — Wilhelm von Kugelgen: Lebenserinnerungen des alten Mannes in Briefen an seinen Bruder</i>	

Gerhard (1840—1867) (459). — August Wilhelm von Schlegel: Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur (462). — Diesterwegs populäre Himmelskunde und mathematische Geographie (463). — Erich Marx: Röntgenstrahlen, Radium und die Materie (463). — F. M. Feldhaus: Ruhmesblätter der Technik (464). — Thorndike: History of Magic and Experimental Science (464). — Karl Arnold: Repetitorium der Chemie (465). — Astronomie. Unter Redaktion von J. Hartmann, bearbeitet von Ambronn, Boll, v. Flotow, Ginzler, Graff, Göttinger, Hartmann, v. Hepperger, Kobold, Oppenheim, Pringsheim (466). — E. P. Adams: The Quantum Theory (467). — E. Study: Mathematik und Physik (467). — Wilhelm Filchner: Sturm über Asien (468). — Lehner, Wilhelm. Die Eroberung der Alpen (469). — Mount Everest. Der Angriff 1922 (469). — Die Schweiz aus der Vogelschau (471). — Im Flugzeug dem Nordpol entgegen. Junkersche Hilfsexpedition für Amundsen nach Spitzbergen 1923 (471). — Hettner, Alfred. Grundzüge der Landeskunde (475). — Новая карта Советской Республики (476).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 478

8 ИЛЛЮСТРАЦИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ

*

Перепечатка, как всей книги, так и отдельных статей воспрещается

*

Alle Rechte vorbehalten

^

Copyright 1925 by „Epoche-Verlag“

*

Адрес редакции и конторы:

„Epoche-Verlag“

Berlin W. 50, Spichernstr. 4

Tel. Pfalz. 47-72

Б Е С Е Д А

М. Горький

РАССКАЗ О НЕОБЫКНОВЕННОМ

В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пестрой комнатке «мавританского» стиля, загрязненной, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он вытянув ее, на пей тяжелый, рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах рочи своей, притопывает каблуком, широким точно копыто.

На черепе его встрепаны сухие волосы мочального цвета, на скулах и подбородке торчат тоже небогатые кустики желтых, редких волос, под неуклюжим носом торчат подрезанные усы, напоминающие вытертую зубную щетку.

Большеротое, зубастое лицо этого человека не интересно, такие щучьи лица, серые, угловатые, с глазами неопределенной окраски, обычны в центральных губерниях России. Такие лица освещаются небольшими глазами; глаза эти смотрят в землю, в небо и, почти всегда, мимо человека; во взгляде их чувствуешь некоторую духовную косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьми. Но передко, где-то в глубине зрачка таких глаз сверкает холодное острие, как иглою неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытой силой разума. Этот острый блеск глаз и вызвал у меня Диогена.

ново стремление, свойственное каждому литератору, — я упросил зубастого человека рассказать мне его жизнь.

И вот он говорит, не торопясь, «откалывая» слова, давая мне понять, что он уверен в своей значительности и не впервые удивляет слушателя рассказом своим. Порою его речь звучит задорно и серые волосы усов шевелятся, обнажая насмешливо изогнутую, темную губу. А иногда слова угрюмы, печальны, он сурово морщит лоб и без того обильный морщинами, белки его глаз приобретают влажный и странный оттенок жемчуга, зрачки не то испуганно, не то удивленно расширяются.

Оставляя больную ногу неподвижной, он все время вертится и это не совпадает с размеренным течением его сказки. Темные руки беспокойно шевелятся, гладят колени, передвигают на столе пачку бумаг, чернильницу, пепельницу, шупают деревянную вставку для пера. Передвинув вещи с одного места на другое, он прищурясь, оглядывает их и снова перекладывает в иной порядок. Потом, с явной досадой оттолкнув от себя все их, гладит ладонью или ковыряет пальцем пеструю — золотую, красную, синюю — стену, изрезанную по штукатурке затейливыми арабесками.

Кажется, что ему тесно в этой необыкновенной комнате. Круто поворотив голову, он минуты две молча смотрит в окно, мелко изрезанное угловатым узором переплета рамы, ищет чего-то на широкой, темной полосе пустынной Невы. Растегивая и вновь застегивая крючки кафтана, он, как будто хочет раздеться, встряхнуться, сбросить с себя какую-то внешнюю, наложенную тяжесть.

Голос его звучит глуховато, отдаленно, глубоко из груди.

«По месту жизни, по бумагам — я Сибиряк, а по рождению — русский, рязанец из под Саватьмы. Слово это Саватьма осталось у меня с детства, от родителей, они, бывало, объясняли:

«Мы из под Саватьмы».

Лет до семнадцати я говорил не Саватьма, а Саматьма и думал, что это — река, а вода в ней необыкновенно черная, однако никому об этом, — даже товарищам, ребятишкам, — не сказывал, не хвастался, а пожалуй, стыдился этого: в Сибири реки светлые. Потом, торговец сельскими машинами поправил ошибку мою, грубо сказал:

«Дурак, — не Саматьма, а Саватьма, и не река, а — город, уезд».

Я ему сразу поверил, приятно мне было узнать, что ничего необыкновенного в Саватьме этой — нет.

Деревню свою — не помню, деревня, наверно, обыкновенная. А помню какое то село над рекой, на угорье и монастырь за селом, в полукружии леса; это село я и по сей день вижу, только, как будто не человеческое жилье, а игрушку; есть такие игрушки: домики, церковки, скот, все вырезано из дерева, а деревья сделаны из моха, окрашены зеленой краской. В детстве очень манило меня это село.

Родители мои переселились в Сибирь, когда мне было годов десять, что-ли. Дорогой, мать и братишко, меньше меня, вывалились из вагона, убились, отец тоже вскоре помер от случайности, — об'елся рыбой. Пошел я по миру, по деревням, со старичком одним, старичек спокойный, не бил меня. С год ходил я с ним, а потом, в городке каком-то, на базаре приметил меня мужик, старовер Трофим Боев, дал старичку целковый, что-ли, старичек и уступил меня Боеву.

Это был человекище кряжистый, характера тяжелого, саопидом и богомол из таких, которые живут фальшиво, как приказчики на отчете у Бога: сами грехом не брезгают, а людям около них дышать нечем. Я его и всех, всю семью, сразу не влюбил за строгость ко мне, за жадность, за все и еще будучи подростком увидел бессмысленность необыкновенного труда. Шесть лошадей было у него, семнадцать коров, свой бык, овцы, птица, всего вдоволь, а работал он и людей заставлял работать — каторжно. Ели противно: уж сыты, нет охоты есть, а все еще едят, покраспеют, падают, а все чавкают, против воли. Непосильная работа, да чрезмерная еда, в этом заключалась вся их жизнь. А в праздники отлично наряжались и всем стадом гонят в церковь за двенадцать верст.

Семья большая: сам, трое сыновей от первой жены, — один в солдатах, две снохи, зять вдовец, немой, откусил язык упав с воза. От второй жены дочь, Любаша, года на два моложе меня. Жена — огромная, зверь баба, глазищи лошадиные, сила мужичья. Был еще батрак Максим, тоже русский, этот спать любил, даже стоя спать мог. Потом еще старухи какие-то, вроде крыс.

Когда мне минуло лет семнадцать, Максим, нечаянно, проколол мне бедро навозными вилами; с год болело бедро, поило; начал я прихрамывать.

Однажды, за ужином, старший сын, Сергей, говорит Боеву:

«Ходить Яшка тихо стал, надо бы полечить ему ногу-то».

А тот отвечает:

«Заживает и без того. А и охромееет, — выгода, в солдаты не возьмут».

Это меня обидило; я был парень здоровый, хромать мне стыдно перед девками, они уж смеются надо мной. Тут я задумал уйти от Боева. Сказал Любаше, она тоже советует:

«Конечно — уходи, а то заморят они тебя работой. Ты видишь: они — окаянные, у них души нет».

Любаша была плохого здоровья, грустная девушка. Совсем бессильная, масло пахтать машиной и то не могла. Была она мне сердечной подругой, грамоте научила меня почти насильно. И одежду починит и рубахи пошьет. Братья, невестки не любили ее, смеялись над нашей дружбой:

«Какой он тебе жених, когда хромым!» А у нее этого и в мыслях не было, просто она помогала мне жить. Была сна девушка честная, к баловству брезгливая. Худенькая, глаза, как у матери, большие и свет внутри их. Смеялась — редко, а улыбнется и сразу легче станет мне. И не плакала; побьют ее, она только осунется вся и дрожит, прикрыв глаза. Самая умная в семье, а считалась недоумком и порченой. Однако — злая, мелкий скот, собак, кошек любила мучить, а особо приятно было ей цыплят давить; поймает цыпленка, стиснет его в ладонях и задавит.

«Зачем ты это?»

Не сказывала, только плечиками зябко поведет. Наверное она гнев свой на людей так вымещала, что-ли. Весною простился я с нею и ушел. Боев пробовал препятствовать, паспорта не давал мне долго. Любаша и тут помогла.

Года два жил я вполне благополучно, так, что и рассказать не о чем. Жил в Барнауле у доктора, он мне и ногу залечил, хотя хромоту оставил. Скажу так: в двад-

цати лет жил я как во сне, ничего необыкновенного не видя. Иной раз, в скуке, вспомню село, подумаю:

«Надо там жить».

А где это село — не знаю. И опять забуду. Любашу только не забывал. Однова даже письмо послал ей, не ответила.

У доктора, Александра Кириллыча, было мне спокойно. Работы — мало; дров наколоть, печи истопить, кухарке помочь, сапоги, одежду почистить, потом возить его по больным. Человек я не пьющий, ну, стакан, два могу допустить выпить для здоровья; в карты играл осторожно, бабы меня даром любили. Характером я был нелюдим. Считался придурковатым. Накопил денег несколько.

И сразу, точно под гору покатился, началась необыкновенная жизнь. По соседству убили двух, мужа и жену, а я в ту ночь не дома ночевал. Заарестовали меня и тут оказалось, что у меня пачпорт испорчен, буквы перепутаны: настоящее имя — прозвище мое Яков Зыков, а в паспорте стоит Яков Языков. Тогда на грех, японская война начиналась. Следовательно и говорит:

«Ты сам сознался, что по чужому виду живешь; значит — скрываешься от воинской повинности, али от чего-то и еще хуже».

Указываю: ведь в паспорте, в приметах, объявлено — хромой, стало быть это я и есть, Зыков.

В Сибири никто никому не верит.

«Может», — говорит — «к убийству ты и не причастен, а все-таки надо собрать справки о тебе».

Доктора в те дни дома не было, он в Томск уехал и в Казань; заступиться за меня некому. Посадили в тюрьму, в тюрьме воры смеются надо мной:

«Вовсе ты не Зыков и не Языков, а Язёв, потому что у тебя морда рыба».

Так и прозвали: Язёв.

Обидела меня эта необыкновенная глупость; ночей не сплю, все думаю: как это допускается — морить человека в тюрьме за пустяковую ошибку на бумаге? Жалуюсь Богу; я, в то время, сильно богомолен был, хотя в тюрьме не молился; там над верой смеются. Бывало, спать ложась, только перекрещусь незаметно, а, лежа, прочитаю, в мыслях, молитвы две, три, — тут и все. А привык я молиться истово, на коленках стоя. «Верую», «Отче наш» читат по разу, «Богородицу-Деву» — трижды. Акафист ей знал наизусть. Любаша многому научила меня. Писать учился шилом на бересте сначала.

Конечно, вера — глупость, но я тогда молодой был и, кроме Бога, посторонних интересов не имел.

Валялось в камере, кроме меня еще семеро, четверо воров, конокрад чахоточный задыхался, старик-бродяга и слесарь с железной дороги, его гнали этапом куда-то в Россию. Воры целыми днями в карты играли, песни пели, а старик со слесарем держались в стороне от них и все спорили. Старик — высокий, тощий, длинноволосый, как поп, нос у него кривой, глаза строгие, злые, очень негрядный. Был аккуратен; утром проснется раньше всех вытрет лицо чистенькой тряпочкой, намочив ее водою, расчесет голову, бороду, застегнется весь и долго стоит, молится не крестясь, не шевелясь; смотрит не в угол, где икона, а в окно, на свет, на небо. Сектант, конечно, а, оказалось — умный сектант.

Слесарь — черный, как цыган или еврей, лет на десять старше меня. Речистый и речь у него необыкновенная, даже слушать не хотелось. Голова ежом острижена,

зубы блестят, усики чернеют. Глаза, как у киргиза. Лощеный весь и на тюленя похож, на ученого, каких в цирке показывают. Свистеть любил.

Вот, одна, когда воры заснули, слышу я: старик ворчит:

«Простота нужна. Все люди запутались в пустяках, оттого друг друга и дают. Упрощение жизни надо сделать».

Слесарь —досадует, бормочет:

«И я про то-же говорю».

«Врешь. Ты — вчерашнего дня поклонник. Я такого не первого вижу. Все вы обманщики. Ты — особенности добиваешься, необыкновенности, ты себя отделить от людей хочешь. А беда-то, грех-то жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Тут — горе! Отсюда и пошло всякое барство, начальство, команда и насилие. Отсюда все необыкновенности в пище, одежде, все различия между людей. Это все надо — прочь, вот как надо. Где особенное, там и власть, а где власть — там вражда, непримиримость и всякое безумие. Оттого и враждуете безумцы. Человек должен владеть только самим собой, а другими владеть он не должен. Вот, — припили тебя к бумаге и гонят, куда хотят, а сам ты ни горю, ни радости не владыка».

Слышу я — правду говорит старик, слова его таковы, как будто я сам надумал их. Когда правда настоящая твоя, она тебе не все отвечает, у нее естество густое, ее хоть руками бери.

Воры меня осмеивали, считая парнем убогого ума, да я и сам дурачком притворялся. Так — спокойнее и людей скорее понимаешь, при дураках они не стесняются. Спорщики эти тоже глядят на меня, как на пустое место

и все ялятся. бормочут, а я — слушаю. И понимаю так, что спорить им, будто-бы не о чем, одинаково согласны: все на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное — уничтожить, никаких отличий ни в чем не допускать, тогда все люди между собой — хотят, не хотят — поровняются и все станет просто, легко. Обратить всех жителей земли в обыкновенных людей, а сословия, — попов, купцов, чиновников и вообще — господ запретить, уничтожить особым законом. И чтобы никто не мог купить у меня ни хлеба, ни работы, ни совести.

«Душу окрылить надо» — доказывал старик. — «Главное — свобода души, без этого нет человека!»

Я все эти мысли проглотил как стакан водки с устатка и, действительно, душа у меня сразу окрылилась ясностью. Думаю:

«Господи Иисусе, какая простота святая живет между людьми, а они всю жизнь маются!»

Думаю и даже улыбаюсь, а воры еще больше смеются надо мной.

«Глядите, Язёв о невесте думает!»

Молчу, того больше притворяюсь дурачком, а сам, знаешь, все слушаю, слушаю. Расходились спорщики только в одном: слесарь дразнил, что и Бога не надо, а старик, понятно, сердился на него за это, да и мне досадно было слушать слесаря, резко говорил он, а в то время Бог еще был недугом моим. Вред господства оба они бесстрашно понимали.

Вскоре погнали меня этапом на место приписки; там, конечно, Боево семейство удостоверило мою личность. Сам он, Боев, лежал, умирал, лошадь его разбила что-ли. Однако, предлагает:

«Живи у меня, Яков; ты человек смирный, с придурыю, бродяжить тебе не годится».

Отказал я ему. Я уже кое-чего наглядился, мысли в голове шевелились, в город тянуло, да и Любаша советует:

«Иди, иди, Яков, ищи свое счастье».

Конечно, я рассказал ей все до чего дошел, целую ночь рассказывал и даже сам удивлялся как плотно сложились мысли мои и как гладко идут. Любаша соглашается:

«Все — верно. Так и надо».

Я — ей:

«Шла-бы ты со мной, Любаша!»

Забоялась:

«Чем я тебе буду? Обузой. Здоровье у меня плохое. Да и чужих людей не люблю, а здесь я уж привыкла».

Н-да. Не пошла. Была она, говорю, девушка грустная. Тонкая девушка и приветлива душой. В душе ее я себя видел, как в зеркале. Прощалась — заплакала однако...

Вернулся я снова в Барнаул, к доктору. Это был человек хороший, даже почти совсем умный, только умный по старому, а не по моему. Был он характера резкого и на барина разве по привычкам похож, даже обличье имел мужицкое: плотный, коренастый, ходил солидно, как гусь, зря руками не махал; лицо большое, красное, борода. В ремесле своем был удачлив, лечил ловко. Водку пил по многу, а пьян не бывал. Больше того красное вино любил пить. Глаза у него прямые, с усмешечкой внутри, он ею будто говорил каждому:

«Не притворяйся, я твоё уродство вижу».

Однако, хотя и бабы его любили, и сам он был до них жаден, а я видел, что жить ему скушно, хмурится доктор, кряхтит, песенки сквозь зубы поет и все отхаркивается, будто гнилого поел. Правился он мне простотой своей, а усмешечку его не любил я, показывала она, что доктор и меня дураком считает, ни на грош не верит мне. Обидно было. И — побаивался я его.

Встретил он меня хорошо, шутит:

«Ага, явился, мешок кишок!»

Это у него любимая поговорка была — мешок кишок, он со всеми говорил шутливо, как с малыми детьми, сует руки в карманы и — шутит. Поднес мне водки стакан, приказал старухе самовар согреть, сам пришел на кухню:

«Ну» — говорит — «рассказывай».

Было это зимней порой, к ночи, вьюга крутила, гудела, сижу я с доктором за столом, как будто в трактире с приятелем, рассказываю, а он слушает, папиросы курит, бороду щупает, — борода небольшая, куриным хвостом.

До этого вечера я ни с кем, кроме Любаша, открыто не говорил, а тут разманило, возмутился во мне смелый дух. Сидя в тюрьме, да по дороге я научился думать обо всем даже до того, что задумаюсь и — будто нет меня, только одна душа в воздухе живет. Говорил так бейко, что сам себе удивлялся: вот-бы Любаша послушала!

Рассказал, конечно, про старика, про слесаря, — доктор хохочет:

«Ишь ты» — говорит — «как тебя вывихнуло! Ну, это хорошо: дураку жить — легче, умному — забавнее. Теперь тебе, Яков, надобно книжки читать. Ну, только

в книжках доказано наоборот: управляет нами закон, который все простое дробит на особенное. В дочеловеческие времена — говорит — «земля была сплошь камень и родить не могла ничего, до поры, пока не раздробилась на песок, глину, потом — чернозем. В незапамятных веках был один зверь, одна птица, а теперь от них разродились тысячи разных птиц и зверей. Также и все древние люди: сначала все были мужики, потом от них пошли князья, цари, купцы, чиновники, машинисты, доктора. Это — закон!»

Ловко говорил; будто в мешок заливает меня.

И, конечно, шутит:

«Надо» — говорит — «смотреть на все с этой кочки, в нашем болоте она самая высокая».

Сильно огорчил он меня словами своими и, даже, на время, сбил с пути. Дал мне, хитрый, книжек, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает. Его книжки — толстые, в переплетах, их два шкафа, а эти — тоненькие, детского вида, с картинками. Читаю. Назначение книжки имеют чтобы отвести меня в сторону от моих мыслей; рассказывают, как люди жили в старину, а я, значит, должен понимать, что в старину жили хуже. Успокоительные книжки. Однако, я соображаю:

«Как мне знать, правильно-ли тут написано? Это было не при мне. К тому же я человек сегодняшний, какое мне дело до прошедшей жизни? Вчерашний день лучше не сделаешь, ты меня научи как надобно завтра жить».

Доктор спрашивает:

«Читаешь?»

«Читаю».

«Интересно?»

«Интересно».

Молчу, конечно, что книжки его не по душе мне, не объясняю, что мне интересно не то, что там написано, а — для чего писалось. Писалось-же, говорю, для успокоения моего.

Однако, — читать я привык; наклонись над книжкой, глядишь в нее, как в омут, текут, колеблются разные слова и незаметно проходят часы; очнешься — удивительно! Будто тебя и не было на земле в часы эти. Слов книжных я не люблю помнить, не умею, да они мне и не нужны, у меня свои слова есть. Некоторые слова и вовсе не понимал: шелестит слово, а для меня ничего не обозначает. Но суть книжки мне всегда легко давалась. Чужие мысли очень просто понять, когда свои в голове есть. Своя мысль — честный огонь, при нем чужую фальшь сразу видишь. От моей мысли всякая чужая прячется, как клоп от свечи. Этим я могу похвастать.

Гораздо больше, чем от книжек, видел я пользы для себя от бесед с доктором. Бывало — после работы в больнице и объезда недужных по городу, скинет доктор пиджак, ботинки, наденет туфли, ляжет на диван, около него бутылка красного вина, лежит он, курит, посасывает кислое вино это, ухмыляется, балагурит, все об одном:

«Мы-де присуждены жить под властью прошедших времен, корни пустяков вросли глубоко, корчевать их надо осторожно, а то весь плодородный слой земли испортишь. Сегодняшним днем командует вчерашний, а настоящая жизнь обязательно будет командовать будущей и от этой канители не увернешься, как ты ни вертись».

Но иной раз одолеет его скука, покинет осторожность и тут доктор обмолится:

«Конечно, лучше-бы все сразу к чорту послать»...

Однако — сейчас-же и прибавит:

«Ну, — это невозможно!»

Досадно мне слушать его.

«Ведь, вот, — думаю, — «и умен человек, и знает все, чего падо и не надо знать, и видно, что жизнью своей недоволен, а простого решения боятся». А я уж решения достиг и остановился на нем твердо: ежели райская птица, человечья свобода запутана сетью фальшивых пустяков до того туго, что совсем задыхается — режь сеть, рви ее!

Я, даже, намекал доктору, подсаживал ему, что нет другого способа освобождения человеку, а прямо сказать ему это не хотел: не то боялся — осмеет он меня, не то — по другой причине. Очень уважал я его за простоту со мной, за эти вечерние беседы и, если он, бывало, грубил мне, кричал на меня за какойнибудь беспорядок, — я на него не сердился.

От книжек его и разговоров с ним мне та польза была, что незаметно потерял я веру в Бога, как незаметно лысеют: еще вчера щупал макушку — были волосы, а, вдруг — хват, — на макушке голо! Да. Не то, чтобы стало мне боязно, а почувствовал я эдакий холодок в душе неприятный. Не надолго, однако. Вскоре догадался, что до этого жил я на земле, как в чужой стороне, глядя на все из за Бога, как из темного угла, а теперь сразу вернулся предо мной простор, явилась безбоязненность и эдакая легкость разума. Простился я с Богом, прямо скажу, без жалости. После окончательно увидал, что в Бога верует только негодница людская, враги наши.

Крючки, которыми меня к чужому делу пристегнули, я научился видеть везде, куда их ни спрячь и видел все мелкое, пустяковое, всю скорлупу наружную в жизни

доктора. Много он лишнего накопил: книг, мебели, одежды, разных необыкновенных штучек. Доказывал, что необыкновенное нужно для красоты жизни, — для красоты пожалуйста в лес, в поле, там цветы, травы и никакой пыли. Звезды. Звезды тряпкой вытирать не требуется. А от этих, разного вида земных бляшек, только вредное засорение жизни и каторга мелкой работы.

Доктор одевался, умывался — скажем пять минут, а запонки в рубашу втыкал и галстук завязывал тоже не меньше времени. Втыкает, завязывает, а сам по матерному ругается как мужик. Тоже и ботинки с пуговицами — сколько времени требуют? А простой русский сапог одним махом на ногу насаживаешь. Понимаете? Все эти галстуки, застёжки, ленты, кружева и всякие фигурки украшения естества жизни я отчисляю от человека. Обставься крупной вещью и сам крупное будешь. А игрушки — прочь, игрушки надобно вымести вон...

Господскую привычку к пустякам я видел и в речах доктора. Кажется — правильно говорит человек, а откаться от бляшек не хватает у него разума. И не видит он, что все господство пустяками держится: книжками, игрушками, машинками, — бумажной цепью оплело людей. Конечно, видеть это ему и пользы нет, — он сам соучастник господства. И выходило в речах у него так, что ударив раз, два топором, он это-же самое рубленое место паутиной разных словечек прикрывает, все на счет осторожности, дескать — сразу хорошо не сделаешь. Запнулся человек сам за себя. Даже, иной раз, жалко было мне его.

Между прочим, связался я с одной; была в больнице сиделка, рыжая, с зеленым глазом; в левый глаз ей скорняк, любовник иглой ткнул, глаз вытек довольно акку-

ратно, веко опустилось плотно и особенного безобразия лицу ее этот случай не принес. Лицо — худощавое. Нос был несколько велик, нос тоже не мешал мне. Жила она прищурясь; молчаливая такая, строгая, а говорили про нее, что распутна. И, вот потянуло меня к ней, чувствую, что зеленый глазок ее разжигает плоть мою, как этого никогда не было со мной. Хотя я и хромой, а, видишь, мужик крепкий. Рожа у меня в ту пору еще добродушнее была. Бабы очень нахваливали глаза мои. Даже Любаша, одна, сказала:

«Глаза у тебя, Яков, как у барышни».

Однако, при всем этом Татьяна отвергает меня. Говорю ей:

«Ты — кривая, я — хромой, давай вместе любовь крутить».

«Нет», — говорит — «не хочу, устала я от вашего брата».

Упрямство это еще больше распалило меня. Тогда поставил я игру на туза червей, на сердце, одолел бабу и — точно в кипяток меня бросило; дико жадна и горяча была на ласку эта женщина! Любовь у нее была похожа на драку: я скоро заметил, что ей не столько любовь приятна, сколько приятно лишать меня силы, замаять до бесчувствия. Не выйдет это у нее, не одолеет — сердится.

И замечательного прямодушия была; спрашиваю ее:

«Обманывать меня будешь?»

«Не буду» — говорит. А подумав несколько, вдруг — довесила:

«Только, видишь-ли»...

И — как по уху ударила:

«Буду».

Я ее чуть не избил, да она так вздохнула и так виновато поглядела единым глазом на меня, как будто не в ее воле обманывать мужиков. Огорчился я, конечно, любовь — дело опасное, того и гляди, что заразишься стыдной болезнью. А все-таки прямота ее понравилась мне. Вскоре увидал я, что и по душе она — сестра мне и разум у нее не спит.

Характером была трудная; чуть заденешь ее, так вся и вспыхнет, а из каждого слова злоба брызжет и глазок горит нехорошо, ненавистно. В ласковый час спросил ее:

«Чего ты такая злая?»

Тут рассказала она мне необыкновенную историю: жила сиротой у сестры, а сестрин муж, машинист, выпивши, изнасиловал ее, когда ей шел еще шестнадцатый год; месяца два она, от стыда и страха, молчала об этом, терпела насилие, ну, а потом сестра догадалась и выгнала ее из дома. Года три жила она проституткой, потом избили ее пьяные, легла в больницу, доктор присмотрелся к ней и нанял в сиделки. Был скандал, требовали, чтоб он прогнал ее, но он не согласился.

«Жила ты с ним?» — спрашиваю; она, прикрыв глазок, говорит насмешливо:

«Где уж, нам уж, выйдти замуж за такого зверя! Ни раза и не дотронулся».

«Что-ж ты» — говорю — «насмежаешься? Тебе его благодарить надо».

Облизала губы и ворчит:

«Я еще поблагодарю».

Просто говоря была она женщина редкая, это, потом, увидите. Тело тонкое, ловка, как белка, одевалась в свободные дни, хоть и не богато, а достойно настоящей

женщины из благородных. Да. Любаша была милостивее лицом, а телом — неуклюжа.

Вот — живу я, обтачиваю сам себя потихоньку, а война все разыгрывается, глотает людей, как печь дрова. Позвали на войну и доктора, он говорит:

«Ну, мешок кишок, едем что-ли изломанных дураков чинить?»

Посхали. Татьяну тоже взяли сестрой, она фыркает:

«И — верно: дураки! Поломали-бы ружья, пушки, вагоны, — вот вам и война».

Известно, что на войне у нас ни удачи, ни порядка не было. Гоняют наш поезд со станции на станцию, катаемся без дела, а мимо нас тучами едут солдаты; туда едут — песни поют, оттуда ползут — стонут. Доктор сердится, бумаги пишет, телеграммы, требует, чтоб его допустили к делу. Говорит мне:

«Гляди, мешок кишок, как с народом обращаются!»

Посерел, скулы обострились, рычит на всех, и без огиадки ругает начальство, войну, беспорядок жизни. Очень я удивлялся смелости его: зачем рискует? Указываю Татьяне:

«Вот как дерзко человек к делу рвется!»

А она, прикрыв глазок, цедит сквозь злые зубы:

«Ему за это чины, ордена дадут».

«Ну, нет» — думаю — «тут должен быть другой расчет!»

Доктор говорил обо всем честно, правильно, как трезвой жизни сын про отца пьяницу, как законный наследник хозяйству. Служащие на станции, солдаты охраны и весь мелкий народ слушает его речи с полной верой. Даже жандармы соглашаются — плохо, все плохо! Мне хотелось предупредить Александра Кириллыча, чтоб он гово-

рил осторожней, ну, не нашел я подходящей для этого минуты, да и подойти к нему опасно было, того и жди, что, гротым порядком в морду ударит, совсем освирипел.

Вдруг выскочил на станцию лягавый старичек, с красным крестом на рукаве, в шинели на красной подкладке, инспектор что-ли, выпучил глаза и завертелся, закружил, орет на доктора:

«Под суд, под суд!»

Доктор в дятлов нос ему бумаги тычет:

«Это что?»

Ну, для начальства бумага — не закон, как для богамаза икона — не святыня. Арестовали доктора, посадили к жандармам, — Татьяна моя начала бунтовать станцию. Тут я впервые увидел до чего смела баба, так и лезет на всех, так и кидается. Некоторые смеются над ней:

«Что он, доктор, любовник тебе?»

И надо мной смеются. Мне — конфузно. Хоть и не замечал я, что она обманывала меня с доктором, да, ведь, разве это заметишь? Дело тихое, минутное, а у баб и одежда лучше нашей приспособлена для блуда. Утешаюсь:

«Это она из благодарности за доктора старается».

Не знаю, как-бы разыгрался Татьянин бунт, в те дни необыкновенное летало над землей, как воронье на закате солнца. Жандармы на станции с ног сбились, револьверами машут, угрожают стрелять. В эти самые минуты началась революция — побежал солдат с войны.

Ворвался к нам поезд, да так, что мимо станции версты на полторы продрал, ни кондукторов, ни машиниста не было на нем, одни солдаты. Высыпались они на станцию и начался крутеж, такую пыль подняли — рассказать невозможно. Начальника станции — за горло:

«Давай машиниста».

Старика жандарма ушибли до смерти, — злой был старичек. Все побили, поломали, расточили, схватили машиниста водокачки — дальше! Остались мы как на пожарище, ходим, обалдев, битое стекло под ногами хрустит; доктор освободился, сунул руки в карманы, мигает, как только что спал, да проснулся.

«Нам-бы уехать отсюда», — говорю.

Он мне кулак показал:

«Я-те уеду!»

Приказал избитых, раненых в наши вагоны таскать, только что мы успели собрать их — еще поезд гремит, тоже полон сумасшедшей солдатней, и — пошло, пока-тило, стал народ вывертываться на изнанку. Тут рассказывать нечего, вам известно, какая тогда человеческая мятель буянила.

Страха в те дни испытал я на всю жизнь. Особо страшно было, когда наш поезд угнали солдаты, фельдшер, сестры, санитары разбежались и осталось нас трое: доктор, да я с Татьяной, да станционные, совсем уже обезумевший народ. А мимо нас все едут, едут с воем, с гиком, — подумайте, каково было ночами! Станция небольшая, место глухое, леса кругом, невдалеке прижалась к лесу деревенька поселенцев; зажгут огни в деревне, а огни, как волчьи глаза, — жуть! Проживешь в темной тишине, как в яме, часок другой и снова слышно: гремит, воет, катится одичалый солдат, будто черти гонят его.

Дней десять в этом страхе торчали мы, а — зачем? Этого я не мог понять. Больных у нас было всего девять человек, четверо померло, а остальные не так хворы, как напуганы. Доктор всем говорит, что началась рево-

люция и должна быть перемена господства власти. Я соображаю:

«Значит: другую узду на людскую нужду».

Догадка эта в ту пору у меня хорошо отлежалась, до плотности камня. Татьяна слушает доктора в'едчиво.

Остался в памяти моей об этих днях один мелкий случай: подхожу я к жандармской квартире, где больные прятались, слышу Татьянин сухой голос:

«Брезгуете?»

Заглянул в окно, стоит она перед доктором, струной вытянувшись, а он сидит, курит, бормочет, глядя под ноги ей:

«Иди, иди»...

Вышла кривая на крыльцо, вытирает руки подолом халата, говорит:

«Жить нам тут не зачем».

Смеюсь внутри себя, соглашаюсь:

«Конечно, не зачем».

Я за ней очень следил, — хотелось мне поймать ее с доктором. Тогда бы избил я ее, потому что горда была она со мной, несчастной прошлой жизнью своей гордилась. А так, без вины бить ее, — не было у меня случая. И надоела она мне несколько.

Простились с доктором и пошли куда глаза глядят, схватил Татьяна не согласилась, понимая, что она для солдат — мышам сало. Шли вдоль железной дороги, зайдем в деревню — накормят нас, напоят. Жить можно. Крестьянство насторожилось, любопытствует: чего ждать? Татьяна докторовы слова говорит, я тоже, при хорошем случае, скажу тому, другому:

«Упрощения жизни ждать надо; вот чего. Слабеет сила господства, исеякает, вон они и воевать разучились.

Пустяками они держат нас под собой. Глядите, — надвигается наше время».

Отдохнем и опять шагаем, беседуем. Вижу я, что хоть у Татьяны кипит великая злоба против доктора, а речам его она поверила, революцию эту принимает как праздник свой. Говорю ей:

«Ты, дурочка, одно помни: без лакеев господа не живут».

Фыркает, не слушает меня.

Потом приснастились мы к смирному поезду и приехали в город Читу, а там идет крутеж во всю силу, на улицах, на площадях шумит, народ шевелится вроде рагов в корзине, у заборов китайцы прилипли, ухмыляются. Между прочим скажу: китаец — человек умный, он со всеми согласен, а никому не верит. В карты играть с китайцем — не пробуй, обыграет.

Татьяна — у праздника. Блестит зеленым глазом, оскалила мелкие зубы свои, кричит всем:

«Довольно господа брезговали нами, будет!»

Гляжу я на нее и тоже ухмыляюсь китайской манерой. Мне какая выгода, что некоторые пашки в дамки прошли? Пристроился газетой торговать, хожу, поглядываю. Завел знакомство с парнем одним, — политический, только что со ссылки бежал, силач, ручищи длинные, а — смешно сказать — человек мелкого дела, часовщик. Сосголя в окрошке этой, которая власть в городе забрала. Гунт понимал так, что де это первый шаг к народной свободе. Я ему говорю:

«Ты — шире шагай! Ты шагни через окрошку эту. Ты мол не ликуй, что в Думе рядом с господами сидишь».

«Погоди», — обещает — «шагнем!»

Хороший был парень, а — простоват. Заторопился поверить в партию, а тогда — какая партия была! Я знаю, что была и рабочая, и крестьянская и господских не одна, да только все они тогда дело крутили на власть, не на интерес народа, а против царя. Это, вот, теперь наша партия правильно идет.

При мне и началось там необыкновенное истребление народа, явился генерал с солдатами и вся затея рассыпалась прахом. Великое неистовство было. Рассказывал доктор, как в Петербурге народ били, ну, я думаю, это пустяки, в Петербурге-то. В Чите народ истребляли, как кедровые орешки, где застигнут, там и бьют, без всякой волокиты. Так торопились убивать людей, как только можно от великого страха. Страх этот на всех рожах был: у солдат, у штатских. Взглянешь мельком — глаза у человека будто остеклели, как у слепого или покойника, а присмотришься — дрожат глаза.

Был у часовщика приятель Петр, резкого ума парень, моряк какой-то, тоже беглый; на левой руке у него шесть пальцев; хотела его полиция убить, а он откупился за семнадцать рублей и говорит:

«Вот, глядите, товарищи: словами мы все разрушаем, а на деле крысу убить стыдимся, не то, что городского и если убьем кого, так нам это противно, а они нас бьют, как японцы тюленей».

Это — верно сказано: я сам видел, как у политических длинна дорога от большого слова к маленькому делу. Вообще, Читинское время было для меня довольно поучительное, насмотрелся, надумался я и окреп в своих мыслях еще больше.

Я, счастливым случаем, уцелел от смертной расправы; арестовали меня с этим часовщиком и повели расстреливать; вдруг унтер присматривается ко мне, спрашивает:

«Ты, хромой, откуда, — не из Барнаула-ли? Ну» — говорит солдатам — «я его знаю, это — дурак. Я его очень хорошо знаю, он у доктора в кучерах жил».

Я — обрадовался, шучу:

«Дураков зачем убивать? Это умников перебить надобно, чтоб они нам, дуракам, простую жизнь нашу не путали».

Унтер толкнул меня в переулок, кричит:

«Ступай прочь, сукин сын, моли Бога за нашу доброту».

Убежал я, а часовщика расстреляли. Татьяна ходила смотреть на него, лежит, сказывала, как живой, горсть земли в руке зажал, а сапоги сняты.

С Татьяной я простился. Наклевалась она, длинным носом политических мыслей у моряка и давай учить меня. Ну, а я уж видел, что политические — мелкий народ, разум у них вывихнут книжками и не понимают они, что такое настоящее упрощение жизни. Я всякого человека насквозь вижу, я вам говорю: вернее своей мысли — меры нет! Политика — это тоже направление к господству, к насилию. Видел я, как партийные состязаются друг с другом, а у всех — одна цель: показать себя умнее другого.

Татьяна говорит мне:

«Я знаю, что надо делать, а ты только чадишь и кроме себя ничего не склонен видеть».

Глупо говорила; она стала еще злей, а со зла люди всегда глупеют. И глаз у нее стал острее, травянистый глаз, вроде как-бы медь окисла в зрачке и такой стал

ядовито мокренький глазок. В голове — тоже медь звенит. Подурнела, еще более усохла, нос вытянулся, губы истончились.

Да. «Кроме себя» — говорит — «ничего не видишь». Каждый из нас, дуреха, живет в своей коже, она ему всего и дороже. А кожа просит тепла, мягкости. Вот — святые, они будто, на камнях спали, а оказалось, что святые-то и не надобны никому.

Стала мне эта женщина окончательно противна, ушел я от нее и нанялся сторожем на станцию одну, — название у нее смешное, вроде Потаскун. Живу, оглядываюсь. Поникли люди, сердце упало у всех. Прикинулся дурачком, дело свое делаю аккуратно, стараюсь всем угодить и говорю глупые мои слова: людей надо уравнивать, жизнь упростить. Это — все понимают. Говорю бесстрашно и даже при жандарме, — жандарм там был хохол Кириенко, огромный мужик, морда как у сома, усы китайские. Этот — действительный дурак. Вытаращит глазищи, слушает и сопит, а ночами, — я ночным был, — придет ко мне, упрекает:

«Ты говоришь то самое, за что вашего брата на смерть бьют. Это тебя политические научили».

А я ему в простоте душевной отвечаю:

«Политические, Осип Григорьевич, не учителя простцам, а — враги. Они хотят власти, а нам нужна свобода души».

Сопит Кириенко:

«Очень приятны твои слова, после того, что случилось. Все-таки ты будь осторожнее, потому что хошь ты и блаженный, ну, на это не посмотрят. Я» — говорит — «вижу, речи твои по Евангелию, но теперь и это не годится».

Коротко сказать — стал мне Кириенко добрым другом, и это мне очень помогало, потому что так по сердцу людям припелись, что даже с других станций стали приезжать послушать меня, а некоторые и учить, в партию звать. Перед этими я дурака крутил во всю силу разума и ничего, кроме досады, они от меня не получали, а Кириенке я разика два сказал:

«Поглядывай!»

И все бы у меня шло хорошо, и жил-бы я там спокойно года, — вдруг чорт сунул на мою дорогу Сеньку Курнашева, был такой смазчик, кудрявый, рожа пестрая, как у маляра, веснушками обрызгана, плясун, гармонист. Вроде паяца, а — шустрый, учение мое сразу принял. Однако — другие люди научили его не добру. Как-то весенней ночью слышу я — бах, бах! Стреляют за станцией, около казармы; бегу туда, не торопясь, первому-то прибежать — расчета нет, — вижу — Сенька мчится к водокачке на его счастье не окрикнул я Сеньку, думал: не он, а в него стреляли. Кричат:

«Кириенку убили!»

Действительно: лежит Кириенко поперек тропы, головой в кусты, руки вперед головы выкинул. Служащие сбежались, опасно увещевают друг друга:

«Не трогайте тело».

Все поблекли, испугались, в ту пору за убийства разыскивалось очень строго: убьют одного, а вешают за это троих, пятерых. Сенька прибежал с молотком в руке, знаете — молоток на длинной ручке, которым по вагонным колесам стучат? Вот с таким. Суется Сенька больше всех и твердит:

«Я — на водокачке был, — вдруг, слышу — палат, а я на водокачке»...

«Ах, ты» — думаю — «дерзкая мышь!»

А в это время другой жандарм, старичек Васильев, кричит:

«Браунинг нашел и от него нефтью пахнет, прошу всех помнить — пахнет!»

Люди нюхают оружие и Сенька тоже понюхал, усмеивается:

«Верно, пахнет!»

А Васильев и объявляет ему:

«Нефтью пачкаются у нас двое, ты да Мицкевич, поэтому я вас подозреваю».

Глупый был старичек, ему-бы молчать. Заявляю, что я в минуту выстрела видел Сеньку около водокачки, — мне парня жалко, — а Васильев свое твердит:

«Тут, главное, — нефть и рукоятка сальная. Тебя, Яков, я тоже арестую, ты сторож и должен был видеть».

Сенька отпрыгнул от него, да с размаха, как свистнет старичка молотком-то по виску, тот и не охнул. Конечно Семена схватили, связали, меня — тоже, да еще Мицкевича, машиниста с водокачки, заперли нас в зале третьего класса, сторожат под окнами, ходят, палки в руках у всех

Мицкевич поплакал, поныл и заснул, а я шопотком, говорю Сеньке:

«Зачем ты это сделал, дурак?»

Не сознается, пыхтит; я его живо согнул в дугу, поник парнишко и рассказал, что его партийные уговорили на это дело, потому что Кириенко донес на некоторых, которые ко мне приезжали. Ну, в этом деле и моей вины был кусок, успокоил я парня, уговорил:

«Молчи!»

Тогда суд был строгий, — найди виноватого где хочешь, а — подай сюда! Наказали парня смертью, велели

повесить, хотя я и настаивал, что он в этом деле не участник, и что я его видел у водокачки. Обвиняющий офицер отвергнул меня, заявил, что:

«Всеми здесь указано, что сторож этот — полуумный, верить ему нельзя».

Мицкевича вовсе не судили, а меня оправдали. Приятели очень удивлялись:

«До того опасно ты дурака крутил, что мы думали: затрет тебя суд!»

Со станции меня, конечно, рассчитали и лет семь я прожил цыганом, — где только не носило меня! На Урале, на Волге, в Москве два раза, в Рязани, по Оке ездил, матросом на буксире, Саватьму эту видел, — нищий городок. Живу, гляжу на все, а душа беспокойна и упрямо ждет: должно что-то случиться.

В Рязани зиму я легковым извозчиком был, конечно — от хозяина. Вот, однова, еду порожнем по улице, гляжу — монашенка идет и это — Любаша! Даже испугался, остановил лошадь, кричу:

«Любаша!»

И, точно обожгло меня — не она! Даже и не похожа — лицо гунявое, глаза сонные. С того часа обняла меня тревога еще больше и потянуло в Сибирь. Вы может, так понимаете, что это баловство, Любаша? Нет, тут другая музыка, тут, я думаю, детское играло в душе. Есть в мире такой особенный, первый человек, встретишь его и — будто снова родился, вся жизнь твоя иначе окрашена. Жил я в Перми у инженера дворником, инженер этот пушки сверлил, человек суровый, было ему уже за сорок лет, дети у него, жена, а первый человек в доме — нянька. Ей лет восемьдесят, едва ходит, злая,

тленом пахла, а ему была она вместо матери. Да и не всякую мать эдак-то уважают, как он — няньку.

В конце весны очутился я в Томске, пошел в больницу наниматься и сразу наткнулся на доктора, Александра Кириллыча. Очень обрадовался, хоша встречи с людьми, которых раньше видел не по душе мне: намекают они, что ты все на одном месте вертишься. Доктор — поседел, щеки желтые, зубы в золоте, он тоже обрадовался, руку мне жмет, по плечу хлопает, как приятеля; конечно шутит:

«Ну, что мешок кишок, много-ли истребил необыкновенного?»

Принял меня на службу к себе и опять я заведую порядком его жизни. Жил он при больнице, во флигельке, окнами в сад, две комнаты, кухня. И снова рассказываю я ему, как старуха внуку про все, что видел, говорю и сам слушаю: очень интересно! И пользу вижу для себя, — как будто все лишнее с души в чулан складываю, прячу и — очищается настоящая суть души. Рассказывать — очень полезно, рассказал, забыл и — снова чист пред собой. Про Татьяну рассказал, хотел испытать: заденет это доктора? Никак не задело. Дымит табаком, ухмыляется.

«А, ведь, не просто все это, Яков, а?»

Вижу, что ума доктор не потерял, а в мыслях никуда не подвинулся. Досадно было слушать, как он старается записать меня в мешок, доказывая, какие петли везде заплетены и не мог я понять: зачем это нужно ему? Трудно мне было с ним.

Вдруг все понял: верные мысли приходят внезапно. Случилось это в цирке, я все в цирке ходил, глядеть на борцов; очень удивлял меня один чухонец. Не великой был он силы, не велик и телом, а одолевал людей и тя-

желе, и сильнее себя, одолевал необыкновенной своей ловкостью, тонкой выучкой. И, вот, смотрю я, как он охаживает здорового борца, русского и сразу, как проснулся, догадываюсь.

«Выучка, — вот главная фальшь, в ней скрыт вред жизни».

Даже в пот ударило меня и, будто, все косточки мои, вздрогнув, выпрямились. В двух словах клад для души и ключ к жизни:

«Выучка — вред».

Ею одолевает слабый сильного, ею народ лишен свободы. До слепоты ясно озарило меня, что отсюда идет все необыкновенное и здесь начало дробления людей. Значит: дело так стоит, что надобно всех равномерно выучить, или — объявить выучку запрещенной. Помню — шел домой, осторожно, будто корзину сырых яиц на голове нес и был я как выпимши.

Попросил доктора, чтобы дал он мне те книжки, которые в Барнауле давал, читаю и вижу вполне ясно: раскол людям от выучки. С той поры я окончательно выправился и отвердел сам в себе на всю жизнь. Я правильно говорю: своя мысль — море, а чужие — реки, сколько их стекает в морской-то водоем, а вода морская все соленая.

К доктору гости приходили, все люди солидные, вели они политический разговор, не стесняясь меня; это было лестно мне. Изредка являлся осторожный старик, серый такой, в очках. Сутулый, шея у него не двигалась, так что головой он ворочал по волчьим, вместе с туловищем, и голос у него подвывал голодным, зимним воем. Приходил он всегда с вокзала с чемоданчиком, потрет руки, лысину, бороду и требует отчета:

«Ну-с, как живем?»

К старикам у меня нет уважения, старики — вроде адвокатов, все грехи, поступки готовы защищать. Кроме того, бродяги, я не встречал ни единого старика с твердым умом. Конечно, я понимал, что этот — опасно политический волк, а после Читы политика мне была вполне понятна.

Вот, летней ночью, приходит он с чемоданчиком, точно из печки вылез, закоптел весь, высох, поставил чемоданчик на пол и, вместо — здравствуй! — говорит:

«Ну-с, будет война».

Действительно: прорвало глупость нашу, снова заварил войну. Крестный ход, колокольный звон, ура кричат на свою погибель; доктор подмигивает:

«Вот тебе, мешок кишок, упрощение жизни!»

Приуныл я. В ту пору никто не мог понять какую пользу эта война принести может, хотя старик и доказывал доктору, что война обязательно кончится революцией, однако в этом я утешения не видел. Революция — была, а толку не родила; после нее еще хуже стало.

Доктора потребовали в армию, а он был до того ушиблен этой войной, что сказал волковатому старику:

«Пожалуй, честнее будет, если я пулю в лоб себе всажу».

Старик — свое твердит:

«Разобьют нас в три месяца и будет революция».

Говорить о времени войны этой — нечего. Вавилонское безумие и суета сумасшедших. Мужиков сибирских тысячами гонят в Россию, а оттуда на их место, гонят чехов, венгерцев, немцев и — чорт их знает, каких еще. Разноязычные, болезни, стон, смешение кровей. Бабы одичали. Прямо скажу — оробел я. Доктора гоняют из города в город, из лагеря в лагерь, он по пленным делам

был. Отойти от него я не решался, он меня от солдатства освободил. Замечательный человек, — ночей не спит, пить — есть время не находит, очень восхищался я трудами его. Непонятно было: что доброго сделали ему люди, из какого расчета заботился он о них? Да и люди-то чужие. На себя надежд нет у него, чинов, орденов — не ищет, с начальством — зуб за зуб. Был такой случай: загнали куда-то пленников и забыли про них, явился к нам прапорщик — жалуется, люди у него замерзают,дохнут с голода. Доктор своей властью, от первого-же поезда велел конвойным солдатам отцепить два вагона муки, гороха и разбазарил на пленников. Его — под суд за это. Однако — отложили суд до конца войны. Вообще он неистово законы нарушал в заботах о людях.

В Тюмени встретил я Татьяну, кружится около пленников, одета в красно-крестный халат, темные очки на носу, пополнела, урядливая. Сказала, что она, еще до войны, выучилась на фельдшерицу. Доктор, само собою разумеется, поднял меня на смех:

«Выучка, Яков, а? Никакого упрощения жизни не заметно, а?»

А я и сам в то время, — от усталости, что-ли — поколебался в этих мыслях, потускнел разум у меня.

Вдруг — как будто приостановилась чортова мельница: по дороге в Тобольск, на какой-то станции подали доктору депешу, прочитал он ее, зажал в кулак, побелев весь и говорит, глядя горло:

«Яков — царя прогнали»...

Меня тоже покачнули эти слова. Никогда я не думал о царе серьезно и если говорили, что от него все зло — не верил в это. Зло — везде видел я. А теперь поду-

малось: а, что как и в самом деле царь и был головой господства? И вот — оторвали голову.

Доктор шумит, помощник его, Окунев, чуть не пляшет и у всех вижу радость. Неужели — доехали и, значит, выпрягайся, народ? Вижу — так оно и есть, ошетинился народ ежом, вцепился в землю, как ярый парень в девку и, видать, что того, что было десять лет назад он теперь не допустит, нет! С войны люди побежали не теряя разума, хозяйственно, с винтовками, а у некоторых и пулеметы и весь воинский снаряд. А, главное, что им ни говори — все понимают: верно, — кричит — довольно с нас, терпели до конца. За этот год я, пожалуй, говорил больше, чем за все свои сорок три. В грудях у меня колокол гудел. Великие радости испытал я в тот год, большое уважение от людей ко мне видел!

Пространства там огромные, места глухие, не то, что здесь, в тесноте, где деревня деревню в бок толкает, вся земля дорогами исхлестана, и на каждые десяти верстах село, на каждой сотне — город. Там, сквозь леса, не все доходило до нас во время, так что когда начался крутеж назад, к старым порядкам — я этому сначала не поверил.

От доктора я отказался, его в Иркутск угнали, живу в селе, под Николаевском, вдруг — конники приезжают, приказывают: пожалуйста воевать! С кем? Почему? Офицер, кудрявый такой, большелобый, объясняет: с Москвой, там, будто, какие-то немецкие наемники господство захватили. Говорил он довольно разумно, а — не верилось ему. В Сибири Москву не любят. Покрехтели мужики и пошли, а человек двадцать отговорил я: война эта — дело непонятное нам, кто ее затеял — мы не знаем,

прячься, ребята, в леса, выжидай, что будет, гляди, где господа.

Тут, на мое счастье, точно с облака прыгнули двое городских парней и сразу объяснили нам господские за-теи.

«Эта война — против народа, вас зовут могилы рыть самим себе. Это», — говорят — «змея не додавленная подняла голову. А вам, крестьяне, надо держаться Москвы, там честно думают. Идите за большевиками, бейте господ по затылкам, по тылам, — вот ваше дело».

Говорили они замечательно. Мужики видят, что я тоже одинаково с ними думаю, очень довольны мной.

«Ты» — просят — «не уходи от нас, твоя голова нам полезна».

А Колчаковские все нажимают на деревни, на мужиков, поборы пошли, грабеж, хлеб тащат, скот уводят, сено — все! Слышим — кое где мужики в драку пошли, отстаивая свое хозяйство, а рабочие помогают им. Явился и к нам рабочий отряд, девять человек, начальник у них кочегар, Ивков, черный, сухой парень, длинный сядет на лошадь — ноги до земли. Просят нас парни эти помочь им побить грабителей, их человек сорок, конных, верстах в тридцати в деревне бесчинствуют. Наши, тоже неоднократно обиженные, согласились, собралось шестьдесят семь человек, все больше солдаты, даже и старичье пошло. Не в охоту было это мне, однако и я тоже винтовку взял, иду.

Подобрались к деревне по свету и дали бой. Ну, бой был не велик, трох подстрелили до смерти, человек пять поранили, у нас тоже один был убит, другой в колодезь свалился, утоп. Четверых пулями задело, в том числе и меня, по неосторожности моей, чкнула пуля в плечо, в

мякоть. Стрелок я был никакой, охотой никогда не занимался, а, однако, распалило и меня; ружье — инструмент задорный, ты его только наведи, оно само стреляет. Дело этим мужики очень возгордились, хвастаются друг перед другом, домой шли — песни пели.

А как подошли к своему-то селу, — глядь, там тоже кольчаки озоруют, пожар в двух местах, вой, крик бабий. Ну, тут Ивков этот, кочегар, показал себя достойным во-якой, разделил он нас на две части, обошел село и — на-грянули мы врасплох. Тут дрались сердито, одних убитых оказалось с обеих то сторон тридцать семь. Зато — досталась нам пушка, два пулемета, ружья и множество всякого снаряда, да одиннадцать кольчаковцев на нашу сторону перешло.

После этого решили мы совсем в лес уйти и жить на военном положении; ушли, пятьдесят семь человек. Живем на вольном воздухе, людей бьем, песенки поем. Да.

Во всякой форме жизни есть свой недостаток, явился недостаток и у нас; начали привыкать люди к бродячей жизни по лесам, да полям, ленятся. Рваные, драные, а пошиться — не охота. Доносишь свое до нельзя — с мертвого снимаешь, а мертвый тоже не барином одет. Отбивается народ от своей настоящей, избяной жизни. Скушно мне; ночами — думаю: когда конец этому крутежу? И мертвого духа нанюхался я много. Да и людей жалко, — много людей погибало от глупости своей, ой, много!

Хоть я человек не боевой, однако тоже раззадорился, стрелял и колот с большой охотой, однако, вижу: война — занятие глупое и дорогое. Главное тут — огромный расход на пули, — сотни пуль истрачены, а лю-

дей убито десятков, остальные разбежались. Кроме того — война вредное занятие: портит людей.

У нас был парнишко один, Петька, так он до того избаловался, что бывало наберем пленников, он обязательно пристаёт, давайте, расстреляем! Просит Ивкова: разрешите пристрелить! Глазенки горят, рожица красная. Миловидный был и с виду тихий. Запретит ему Ивков, а он все-таки застрелит пленника и оправдывается:

«Это я — нечаянно!»

Или скажет:

«Да он, все равно, раненый был, не выжил-бы!»

Раза два бил его Ивков за эти шуточки. Таких, набалованных на убийство, у нас не один Петька был.

Ивков, начальник наш, был характера упрямого, ума не видного и все моря хвалил, — он был кочегаром на военном судне, потом, за политику, на Амуре работал, в каторге. Человек бесстрашный, — потом оказалось, оттого бесстрашен, что незначительно умен. Любил он вперед всех выезжать, выедет, грозит ружьем, как дубиной и матерно ругается, а в него — стреляют. Людей — не жалел.

«Честные люди, — они на море живут» — говорил — «а на земле основалась сволочь».

Вообще-же больше молчал, все покряхтывал, спина у него болела, били его в каторге, что-ли. Нахватаем пленников, он посылает к ним меня:

«Ну-ко, Язев-Князев, безобразие, поди усовестить их, чтобы к нам переходили, а не согласятся, — расстреляем, скажи».

Вот, эдак-то, захватили мы раз'езд, пять человек солдат конных, и один пораненный в руку и в голову,

начал спорить со мной, да так, что прямо конфузит меня. Вижу — не простой человек. Спрашиваю:

«Из господ будешь?»

Сознался: офицер, подпоручик, да еще к тому — попов сын. Я ему угрожаю:

«Мы тебя застрелим».

Он — гордый, бравый такой, складный, лицо серьезное и большой силы; когда брали его — оборонялся замечательно. Смотрит прямо, глаза хорошие, хотя и сердиты.

«Конечно», — говорит — «расстрелять надо, эта такая война, без пощады, без жалости».

Как он это сказал — мне его жалко стало. Говорил я с ним долго, очень захотелось переманить к нам. А он ругает нас, особенно-же Ивкова, оказалось, он затем и ездил, чтоб Ивкова, наш отряд выследить, у них, кольчаковцев, пошла про нас слава нехорошая.

«Погубит» — говорит — «всех вас дурак, начальник ваш».

И так ловко обличил он Ивкова за то, что тот не умеет людей беречь и за многое, что я сразу вижу: все — правда, дурак Ивков. И вижу, что офицер этот, — Успенский-Кутырский, фамилия его, — обозлился на всех и ничего ему не надо, только-бы драться. Вроде нашего Петьки. Говорю ему шутя:

«Драться хотите? Так идите к нам, бейте своих».

Он только бровью пошевелил. Рассказал я про него Ивкову, хвалю — хорош человек!

Ивков ворчит:

«На них нельзя надеяться».

«Вояки-то мы плохие» — говорю.

«Это — верно; силы много, а уменья нет. Поговори с ним еще. Расстрелять успеем».

Угостил я его благородие господина Кутырского самогоном, накормил, чаем напоил, говорю ему: правда на нашей стороне.

«А, чорт ее знает, где она!» — бормочет господин Кутырский. «Может и с вами правда. У нас ее — нет, это я знаю».

Коротко сказать — согласился Кутырский на должность помощника Ивкову, вроде начальника штаба стал у нас, если по военному сказать. Ну, этот оказался мастером своего дела. Он так начал жучить нас, так закомандовал, что иной раз каялся я: напрасно не застрелили парня. И все у нас нахмурились, но тут пошли такие удачи, такие хитрости, что все мы поняли: это — молодчина. Он вперед, на показ не совался, никакой храбрости не обнаруживал, он брал лисей ухваткой, тихонько крадучись, и действительно, берег людей, не только в драке, а и на отдыхе. Он и ноги у всех оглядит, не стерты-ли, и купаться приказывает часто, и стрелять учит неумеющих, на разведки гоняет, просто беда, покоя нет!

«Кто вшей разведет — того драть буду!» — объявил. Ивкова и не видно за ним. Старые солдаты очень хвалили его, а молодежь не долюбивала.

Было нас под ружьем шестьдесят семь человек и, вот, в эдаком то числе он водил нас на такие дела, что мы диву давались — как дешево удача нам стоила.

В начале он много разговаривал со мной, но скоро отстал, — ничего не может понять, натура не позволяла ему.

«Ты», — говорит — «Зыков, с ума сошел».

Чужих людей он не любил, поляков, чехов разных, немцев, а русских несколько жалел. Суров был. Нахмурится, зубы оскалит и — каюк пленникам! Это уже — после, когда он Ивкова заменил, Ивкова убили. Он, Петька, да солдат японской войны купались в речке, а на наш стан наткнулась компания офицеров, человек десять. Услыхал Ивков пальбу, и, вместо того, чтоб спрятаться в кусты, побежал к нам, а офицеры бегут от нас, встречу ему, — застрелил его конник. Петрушке голову разрубили, тоже помер. Признаться, так Петьку и не жалко было, надоел он баловством своим.

А Ивкова как сейчас вижу: лежит на траве, растянулся в сажень, руки раскинул крестом — летит! В одной рубашке, около руки — наган револьвер. Его все пожалели, даже сам Кутырский присел на корточки, рубашку застегнул ему, ворот. Долго сидел. Потом сказал нам хвалебную речь:

«Это» — дескать — «был великий страдалец за правду и настоящий герой».

Он с Ивковым очень подружился, они и спали рядом. Оба не говоруны, помалкивают, а всегда вместе и берегут друг друга. А меня Кутырский — не любил и даже, — я так думаю — боялся. Бояться меня он должен был, потому что я, всетаки, не верил ему. Ивков правильно сказал: не полагается верить таким, которые от своих уходят.

Так вот, значит, так и жили мы, вояки. Через пленников известно было нам, что по близости ищут нас кольчаковские, — сильно надоели мы им. Кутырский, который умел все выпрашивать, повел нас к Ново-Николаевску и тут по дороге случилась неприятная встреча: наткнулись на обоз, отбили двадцать девять коней и, с тем вме-

сте, санитарных пять телег, да девять человек пленных нашей стороны, партизанцев.

И вот оказалось: в одной телеге лежит доктор, Александр Кириллыч, а между пленниками этот читинский матрос, Петр, так избитый, что я его признал только по лишнему пальцу на руке. А доктора я и совсем не признал, он сам меня окрикнул:

«Эй, мешок кишок!»

Гляжу — лежит старик, опух весь, борода седая, лысый, глаза недвижимы и уж — больше не шутит. Приказал, чтоб я ему табачку достал; хрипит:

«Трое суток не курил, чорт вас возьми»...

А закурив, всетаки спрашивает:

«Упрощаешь?»

Вижу я, что хоть он и доктор, а — не жилец на земле. Даже говорить ему трудно.

А матрос спрашивает: помню-ли я Татьяну? Оказалось, что она в Николаевске прячется и ему нужно видеть ее по делам разным. Упросил Кутырского послать за нею человека, — послали. Мне любопытно: что будет? На третьи сутки прикатила она в шарабана, встретила меня, как будто радостно.

«Большевик?»

«Ну, да», — говорю. — «Конечно».

Хотя я тогда еще не очень большевикам доверял. Собрала она всех наших и речь сказала: Кольчаково дело — плохо, надо скорее добывать его и наладить мирную жизнь. Кричит, руками махает, щека у нее дергается, очки блестят. Постарела, усохла, лицо темное в цвет очкам, голодное лицо, а голос визгливый. Очень неприятная. Вечером рассказывала мне, что она давно настоящая партийная и даже в тюрьме сидела два раза. С моряком

встретилась всего три месяца тому назад, когда он, раненый в больнице лежал. Ну, это не мое дело. Спрашивает:

«А знаешь, что доктор-то, хозяин твой, тоже с кольчаковцами?»

Тут я говорю ей:

«Вон он, доктор, в холодке лежит, под кустом».

Так ее и передернуло всю, — жаль, не видно было, за очками, как ее глазок играет; не могла она забыть, что пренебрег доктор ейной бабьей слабостью, не могла! Я это давно знал, а в ту минуту, совсем удостоверился. Смеюсь, конечно, над ней, а она доказывает, что доктор — враг. Пошел я к нему, говорю:

«Тут — Татьяна!»

Он только усы языком поправил; хрипит:

«Вот как»...

И больше ни слова не сказал. Следил я весь вечер: не подойдет-ли она к нему, не разговорятся-ли? Нет, ходит она сторонкой, прутиком помахивает; подойдет к матросу своему, — он на телеге лежал, — перекинется с ним словечком, и опять ходит, как часовой. Я к доктору два раза подходил — спит он, будто-бы, не откликается. Будить — жалко, а хотел я сказать ему что-нибудь. Даже при луне заметно было, какое красное, раскаленное лицо у него, — у здоровых людей при луне-то рожи синие.

К полуночи начали мы собираться дальше в путь. Спрашиваю Кутырского:

«Чего будем делать, Матвей Николаич, с пленниками?»

Шестеро было их: офицер поляк, трое солдат, все раненные, доктор, да женщина еврейка, эта тоже умирала, уже и глаза у нее под лоб ушли. Кутырский — кричит:

«На кой они чорт?»

Мужики предлагают добить всех, а Кутырский лошади своей морду гладит и торопит:

«Собирайся!»

Уговорил я сложить больных на берегу речки и оставить. Офицера, конечно, застрелили. А доктор, на прощанье, пошутил, через силу:

«Тебе-бы, мешок кишок, надо упростить меня», — а я говорю:

«Сам скоро помрешь, Александр Кириллыч».

Всетаки жалко было мне его, много раз умилял он меня простотой своей. Хороший человек. Его, однако, убили; старик солдат, которого Японцем звали, да еще один охотник, медвежатник. Отстали от нас незаметно, а потом, Японец, догнав, говорит мне:

«Пришиб я доктора твоего, не люблю докторов».

Они, там, всех добили, прикладами, чтоб не шуметь. Попенял я им, поругался немножко, — Кутырский сконфузил меня:

«А, если-б» — говорит — «на них, на живых, разведчики наткнулись?»

Н-да. Конечно, — убивать людей — окаянное занятие. Иной раз, может легче-бы себя убить, — ну, этого должность не позволяет. Тут — не вывернешься. Начата окончательная война против жестокости жизни, а глупая жестокость эта в кости человеку вросла, — как тут быть? Многие совсем неизлечимо заражены и живут ради того, чтоб других заражать. Нет, здесь ничего не поделаешь, бить друг друга мы будем долго, до полной победы простоты.

Признаться, — подумал я: не Татьяна-ли посоветовала Японцу доктора добить? Потому что у Японца табаку не было, а тут, вдруг он папиросы курит и, по

знакам на коробке, вижу я, что папиросы — Татьянинного дружка. Может быть она это — из жалости, чтоб зря не мучился доктор. Бывало и так — убивали жалеючи.

Вот, вы видите: я человек кроткий, а однако, своей рукой прикончил беззащитного старичка, положим — не из жалости, а по другой причине. Я, ведь, говорил, что стариков — не люблю, считаю их вредными. Своим парням я всегда говорил:

«Стариков — не жалейте, они — вредные, от упрямства, от дряхлости. Молодой — переменится, а старикам перемениться — некуда. Они — самолюбивы, сами собой любят; каждый думает: я — стар, я и — прав! Они — люди вчерашнего дня, о завтра старики боятся думать, он, на завтра, смерти ждет, старик».

Тоже и насчет разных хозяйственных вещей, я учил:

«Крупную вещь — шкафы, сундуки, кровати — не ломай, не круши; а мелкое, пустяки разные, — бей в пыль. От пустяков все горе наше».

Да. Так вот — пришлось мне соткнуться с одним ядовитым старичком. Началось с того, что заболел я тифом, сложили меня в селе одном, у хорошего хозяина и провалялся я почти всю зиму. Сильно болел, всю память выжгло у меня, очнулся — ничего не понимаю, как будто года прошли мимо меня. Мужики, слышу, рычат, косят Москву, большевиков матерщиной кроют. В чем дело? И — нет, нет — а шмыгнет селом старик в папахе, с палочкой в руке, быстрый такой старикашка, глазки у него темненькие, мохнатые и шевелятся в морщинках как жуки, — есть такой жучек, крылья у него, будто железные. Одет старик этот не отлично, а издали приметен.

Время — весеннее, я, кое как, хожу, отдыхаю, присматриваюсь к людям, — другие люди совсем чужие,

кто уныло глядит, кто сердито, а бойкости, твердости — нет. Жалуются на поборы, на комиссаров. Я, конечно, разговариваю их, объясняю, хотя сам не очень понимал: в чем суть? И вот, сижу, снова, за селом, у поскутины, катится по дороге старик этот, землю палочкой меряет, углядел меня отвернулся в сторону и плюнул. Стало мне это любопытно. Спрашиваю хозяина избы, где жил:

«Это кто-же у вас?»

«Это», — говорит — «человек праведный и умный; он обмана не терпит».

Говорит — нехотя, сурово.

Был там один человек, Никола Раскатов, инвалид войны, молодой парень, без ноги, без пальцев на левой руке, он мне подробно рассказал:

«Это — вредный старик, он тут у нас давно живет, ссыльно поселенец; раньше — пчел разводил, а теперь построился в лесу, живет отшельником, ложки режет, святым притворяется. Он с начала революции бубнил против ее, а когда у него пасеку раззорили, — совсем обзлился. Теперь стал на всю округу известен, к нему издаля, верст за сто, приходят, советы дает, рассказывает, что в Москве разбойники и неверы командуют и всю чепуху, как заведено: сопротивляться велит».

И рассказал такой случай: воротились в одно село красноармейские солдаты двое, а старики собрали сходку и говорят: это — злодеи. У этого его товарищи отца, мать убили, а у этого родительский дом сожгли, хозяйство раззорили, так что родители его теперь в городе нищенствуют; будут эти ребята наших парней смущать и предлагаем их казнить, чтобы дети наши видели: озорству — конец! Связали голубчиков, положили головы их-

ние на бревно и дядя красноармейца оттапал головы им топором.

«Вот куда метнуло» — думаю. Приуныл даже. Кроме Раскатова было там еще с десятков парней новой веры, однако они, по молодости, да со скуки, только с девками озорничали. Да и нечего, кроме делать им, — отцы, деды наблюдают за ними, как за ворами и — чуть что не по прежнему парнишки затевают, — бьют их. Я внушаю им:

«Разве не видите, где злой узел завязан?»

Боятся, говорят:

«Перебьют нас».

«Эх» — думаю — «черти не нашего Бога».

Решил я сам поговорить с этим стариком значительным, понимаю, что затекает он крутеж в обратную сторону, хочет годы назад повернуть. А я очень хорошо знаю, что деревенские люди — глухие, я к этому присмотрелся. У мужика для всех терпенья хватает, только для себя он потерпеть не хочет. Все торопится покрепче сесть, да побольше с'есть.

Старик основался верстах в семи от села, на пригорке, у опушки леса; избенка у него, как сторожка, в одно окно, огородишко не великий, гряд шесть, три колоды пчел, собаченка лохматенькая, — в этом все его хозяйство. Пришел я к нему светлым днем, сидит старик на пеньке у костра, над костром в камнях котел кипит, — в котле чурбаки мякнут; на изгороди вершинки елок висят лыком связаны, — мутовки будут, значит. Рукодельный старичек согнулся, ложки режет, не глядит на меня. Одета на нем посконь синяя, ноги — босые. Лысина светится, над правым ухом шишка торчит, вроде-бы зародыша еще другой головы, что-ли. Чувствую, — шишечка эта особенно злит мою душу.

«Вот» — мол — «пришел я потолковать с тобой».

«Толкуй».

И — молчит. Действует ножом быстро, стружка так и брызжет на коленки, на ноги ему. Чурбаки сырые, режутся как масло, от ножа никакого скрипа нет. В котле вода булькает, о бок старика собака лает. А все-таки — тихо кругом старика.

«Чего ради ты людей мутить?» — спрашиваю. — «Какая твоя вера, какая затея?»

Молчит. Опустил голову и даже глаз не поднимает на меня, как будто и нет перед ним человека. Ковыряет чурбак ножом и молчит, подобно глухому. Собаченка излаялась на меня до того, что дудкой свистит, а он и собаку унять не хочет. Сидит и только руками шевелит, да правое плечико играет у него, а кроме этого — весь недвижим, словно синий камень. Хорошо, спокойно вокруг его, старого чорта, за избенкой — пахучий лес, перед ней, внизу — долина, речка бежит, солнышко играет.

«Ишь ты» — думаю — «как ловко отделился от людей, колдун».

Очень досадно мне было. И ругал я его, и грозил ему — ничего не добился, ни единого слова не сказал он мне, так я дураком и ушел. Иду, оглядываюсь: на пригорке костер светит. Соображаю:

«Действительно, — это вредный зверь, старик!»

Не скрою: задел он меня за душу нарочитой глухотой ко мне. Меня многие сотни людей слушали, а тут на-ко!

Через сутки, что-ли, хозяин, глядя в землю быком, говорит мне:

«Что-ж, Князев, отлежался ты, шел-бы теперь, куда тебе надо».

И жена его, и обе снохи и батрак, немец, — все глядят на меня уж не ласково, говорят со мной грубо, — понял я, что старик рассказал им про меня. Да и все на селе избычились, будто не видят меня, а еще недавно сами на разговор со мной лезли. Задумался я: человек одинокий, убрать меня в землю — очень просто. Кого это обидит? Кто на это пожалуется в такие, строгие к человеку дни? И тут — вскипело у меня сердце.

Пошел к Раскатову, говорю:

«Ну-ко, спрячь ты меня, дня на три, в незаметное местечко».

Простился я с хозяевами честь честью и будто-бы, на свету, ушел из села, а Раскатов запер меня в бане у себя, на чердаке. Сутки сижу, двое сижу и третьи сижу. А на четвертые дождался ночи потемнее и пошел. Завязал голыш в полотенце, вышло это орудие вроде кистеня. Был у меня и револьвер, я его Раскатову продал; для одинокого человека в дороге это инструмент опасный, — он характер жизни выдает.

Пришел к старику, стучусь смело, думаю: он к ночным гостям, наверно, привык, не испугается. Верно: открыл он дверь, хоть и держится рукой за скобу, ну, я, конечно, ногу вставил между дверью и колодой и это — зря; старик сразу понял, что чужой пришел. Храпит со сна:

«Кто таков? Чего надо?»

Собачка его вцепилась в ногу мне, тут я старика — по руке, а собаку — пинком; собаку надо бить под морду, снизу вверх, эдак ей сразу голову с позвонка сшибешь.

Вошел в избу, дверь засовом запер, а старик то-ли еще не узнал меня, то-ли испугался, — бормочет:

«Почто собаку-то»...

Шаркает спичками. Тут-бы мне и ударить его, да это, видишь-ли не больно просто делается, к тому-же и темно мне. Ну, засветил он лампу, а все не глядит на меня, от беззаботности, что-ли, а, может, от страха. Это и мне жутко было, даже ноги тряслись, особенно — когда он, из под ладони, взглянул на меня, подался, сел на лавку уперся в нее руками и — молчит, а глаза большие, бабьи, жалобные. И мне тоже будто жаль его, что-ли. Однако говорю:

«Ну, старик, жизнь твоя кончена»...

А рука у меня не поднимается.

Он бормочет, хрипит:

«Не боюсь. Не себя жалко, — людей жалко, — не будет им утешения, когда я умру»...

«Утешение твое» — говорю — «это обман. Богу молиться будешь, или как?»

Встал он на колени, тут я его и ударил. Неприятно было — тошнота в грудях и весь тряусь. До того одурел, что чуть не решился разбить лампу и поджечь избушку, — был бы мне тогда — каюк! Прискакали-бы на огонь мужики и догнали меня, нашли-бы в лесу-то. Место мне незнакомое, далеко не уйдешь. А так я прикрыл дверь и пошел лесом в гору, до солнца-то верст двадцать отшагал, лег спать, а на сонного на меня набрели белые разведчики, что-ли, девятеро. Проснулся — готов! Сей-час, конечно закричали: шпион, вешать! Побили немного. Я говорю:

«Что вы деретесь? Что кричите? Тут, верстах в семи большевики под горой стоят сотни полторы, я от них сбежал, мобилизовать хотели»...

Испугались, а — верят, вижу,

«Отчего кровь на онучах?»

«Это» — говорю — «рядом со мной человеку голову разбили прикладом, обрызгало меня».

Ну, — обманул я их и напугал. Пошли быстро прочь и меня с собой ведут. Хорошая у меня привычка была — дурака крутить в опасный час, несчетно выручала она меня. К утру я с ними был на ровной ноге, совсем оболванил солдат. Ай-яй, до чего люди глупы, когда знаешь их! Во всем глупы; и в делах, и в забавах, и в грехе, и в святости.

Хотя-бы старик этот... Ну, про него — будет. Это мне не охота вспоминать. Твердый старик был, однако...

Да, да, — глупы люди-то... А все — почему? Необыкновенного хотят и не могут понять, что спасение их — в простоте. Мне, вот, это необыкновенное, до того холку натерло, что ежели-бы я не знал, как надобно жить, да в Бога веровал, — в кроты просился я у Господа Бога, чтобы под землей жить. Вот до чего натерпелся.

Ну, теперь вся эта чортова постройка надломилась, разваливается и скоро надо ждать — приведут себя люди в легкий порядок. Все начали понимать, что премудрость жизни в простоте, а жестокие наши особенности надо прочь отместить, вон... Необыкновенное — чорт выдумал на погибель нашу...

Так-то, браток...

Иосиф Каллиников

БАБА-ЗМЕЯ

П о в е с т ь

I.

Приютился на поляне, в болотах, амшаник еловый, горбом соломенным торчит из малинника, горожа сосновая кругом его пялится, а за нею, в разброд, душляные грибы выросли и нет сюда ни тропинки, ни стежечки.

Промеж леса долго надо ехать, а все жилья не заметишь, разве где кочета подадут голос, и долго не видать ни пахоты, ни жилья: наконец по буграм, по косогорам, на пролысинах — рожь, овес, гречиха медовая, а в логах деревни приземистые.

Вправо свернуть и двух верст мужицких не смеряешь — за рекою Нерусой уперлось в косогоры поповкою Упорой село, от Козьмы-Демьяна до барского дома «шаша» блесит булыжником, дом кирпичный, в два этажа крепостные поставили еще до того, когда француз в Москву итти вздумал.

В воскресный день и гармонь на селе разоряется и девки кричат песни с оттяжкой, а в лесу, в деревнях, люди сумрачны, нелюдимые, как воронье на дубах по избам сидят думу думают; на поляне и вовсе тишина мертвая, только дед подле душлянок побрякивает; солнце пой-

Б а б а - з м е я

59

дет на закат, — заберется в амшаник дед Трофим Сыромятнов и рассказывает небылицы бывалые внуку Алешке.

— Пошла старуха моя боровик собирать к зиме, ходила, ходила по лесу — почитай что до вечера, глядит — пень стоит, разгребла она лист летошний — завсегда боровик под листом подле пня гнездами, а под ним — гад белый.

— Разве-ж, дедка, бывают белые?

— Значит бывают, когда говорю, а ты не мешай рассказывать, да получше запомни чего дальше будет. Сейчас это она гриб из лукошка на земь: и листочку помиче послать не успела, как ты в него прыгнул. Домой принесла и говорит мне, — Трофим, нам Господь счастья — нашла гада белого, внучек нам будет; — поглядел я в лукошко и правда гад белый.

— Бабка твоя и спрашивает меня, — как же, старик, звать его будем? — Я ей, — да как? — Это Божий дар, — Ляксей человек Божий, тож милость Божья, — Ляксеєм.

— Дедка меня тож зовут Ляксеєм.

— А ты слышь, не мешай рассказывать! — Она и спрашивает: — старик, а куды ж его денем? — На печку — пущай греется... — А ты — знай: людям завет такой даден, в книжках про него не написано, перед смертью старики только, как на духу, ближнему пересказывают: белого гада ни убить, ни бросить не велено, потому — счастье приходит с ним к человеку, — сын, либо внучек бездетному... а разве ж дите убивать можно? Принесла она тебя в листу в лукошке — на печку поставили — оогрелся чтоб. Чего сами едим, того и тебе в чашке глиняной; наперед поставим тебе, а потом — сами сядем. Вишь какого тебя вырастили — без отца, без матери. Так то Ляксей... Помни про это...

— А дальше что ж?

— Чего ж дальше? Живешь теперь... Растить только, — в смысле станешь, про все узнаешь.

Слушает Алешка дедовы сказки и сам не знает — чему верить, чему нет. У других отец, мать, сестры, братья, а у него кроме деда Трофима никого нет на белом свете, а как деду не поверить, когда со всех деревень люди к нему за советом приходят, в одно слово про него говорят, — старик праведный, что твой судья справедливый.

— Лес, — он все знает, всякая тайность в нем кроется, старые люди про нее знавали, и мне довелось от моего деда Егора узнать, призвал он меня перед смертью, — еще жива была бабка, — и говорит: — у тебя Трофим, — вижу я, — глаз верный, так я тебе, голубенок, чего сам от людей перенял. всему научу перед смертушкой, а вот посоבורюсь, тогда конечно, до соборования должен тебе передать тайное. Целый день, до зари, он мне пересказывал, а под конец, — бабка говорит: посоветуй, как внуку то быть? Бездетный он будет, так уж ему на роду написано, такая ему подошла планида незадачливая, а без роду, без племени сама знаешь, не подобает человеку, — нехай себе внука сыщет, да не сам, а баба его, когда он женится. Ни тебе, видно, ни внуку твоему не видать сына — такой вам зарок дан. У Егора то, сказывали, будто и был сын, вот как у меня, да барин у них лют был, как что не потрафил его милости, так башку брить, в солдаты гонит. Мне от бабки довелось слышать, что отца то у меня вовсе не было, вроде как у тебя.

— Так, правда, у меня, дедка, то ж отца нету?

— У меня не было и у тебя тож — одна нам судьба, от ней никуда не уйдешь.

— А как тебя дед нашел?

— Про то тебе знать не положено, ты о себе слухай, — Егор и говорит мне: — белого гада найдешь, Трофим, он, внучек тебе будет, в человека его переменит кикиморка лесовая, а кикиморку сам выведи из яйца из под черной курицы... — Прошло время — дед Егор помер, женился я, стал хозяйствовать; сколько мы жили — не дал Господь радости, сына не дал, — нашла в лесу моя баба внучка у пенушка. Вспомнил я тут то, что сказывал дед мне. Послал на деревню старуху искать по дворам яйцо из под черной курицы, — сколько ден старая по людям ходила — нашла яйцо. Положил я его за пазуху под левую мышку, как Егор говорил, и ходил девять ден, каждый день через девять межей по росе утренней — не мылся я, не чесался, не молился — на девятый день вывелась из него кикимора и сам не видал как вывелась, — глянул я на девятый — одна скорлупа под мышкою; — быть тому — вывелась кикимора, — старуха ее нашла под печкою и говорит мне, — Трофим, у нас гладуш под печкою об'явился, уж не из яйца ли он из того вышел, из под черной курицы?.. Глянул я под рубаху, — и то старуха, правда, у меня под мышкою одна скорлупа только, — подошел к печке, а из под ней ползет ужак-гладуш. А еще было сказано, — выведешь ты кикиморку, приведут тебе люди незнакомые обоз муки, — должен ты из этой муки испечь хлеба, а муку то на корню смолоть камнем и дать найденышу. Я и говорю старухе: — Ступай, размели на корню камнем мучицы трошку, замеси на меду лепешку покруче — дадим мы ее найденышу Лексею, будет он человеком твердым да крепким, что твой дуб да камень, а сердце чтоб было как мед сладостно... — А он еще сказывал, что ежели хлеба того

попробует, что кикиморка предоставит, — белый гад в человека переменится, от заклатья выслобонится — внуком будет. Дали мы тебе лепешку с вечера, а на утро ты: — дедка, сними меня с печки!.. Глянули мы со старухой на печку, а ты ножками, ручками грабаешь, говоришь голосом человеческим, — с той поры и кикиморка у нас прижилась эта.

Лежит на печи Алексей, — слушает, какие загадки загадывает ему дед Трофим, будто сказку, говорит, а выходит правда; лежит на печи мальченка, прислушивается: таракан шуршит по стене — усом водит — пыль сметает, муха жужжит — в паутине крутится, сверчек под загнеткою кирпичи сверлит, глядущ из под печки ползет к чашке глиняной... лежит Алексей смотрит, слушает.

Тепло на печи старому с малым — кость не ломит, никакая хвороба на печь не залезет. У Трофима амшаник, что хата поставлен, — в одной половине колодки да ульи стоят, а в другой печь сложена — жильё дедово, а кругом лес темный — и нет сюда ни пути, ни дороги, будто нет тут и людей поблизости, — коли б в воскресный день не звонили у Косьмы-Демьяна к ранней, так и не знал бы дед Трофим — жив он али помер.

II.

Сколько прошло — Алешка подрое — парнем выглядит — помощник деду.

С измальства он Алешку приучал к работе, а как завел Трофим ульи — выучил внука подрамки строгать да вошину натягивать, изнарочно ходил на село к попу Гавриилу поглядеть пасеку.

Чуть весной пригревать солнце начало — из амшаника на полянку выставил Трофим дуплянки с ульями; горожу кругом исправил, чтоб не повадно заглядывать медведю на посеку.

А к Великому четвертку Трофим воск растопил, свечу вылил и покряхтывая с позаранку в село пошел с Алексеем, к стоянию. Еще и попа с дьячком нет, только звонарь пошел благовестить, а Трофим на колокольню за ним — сидеть под большой колокол. Страсти Господни читать начали, — двенадцать евангелий, и двенадцать пупырочек восковых налепил Трофим под колокол, — кончили службу, снял он их на свечу свою и понес зажженную к себе на пасеку, налепить слезинок Господних в ульи, чтоб от того звона четвергового гудела пчела по лесным полянам с золотым медом, чтоб воск был литой, как колокол.

Со свечей четверговой Трофиму спокойно, никакая нечисть к пчеле не подступится, — зажжет перед вечером, обойдет пасеку, потом под образа спрячет.

Вечером сидит на заваленке, кости старые греет.

— Ляксея, мне помирать скоро. Тебе жить, а мне помирать. Я тебе что скажу — змеи бойся, от нее зло по земле пошло, она прародителей искусила и таперь искушает человека всякого. Тебе вот шестнадцатый с крещенья пошел, таперь она тебя и начнет искушать.

— Так их же, дедка, убивать можно.

— Подожди малость, дойдешь и до этого. От ей и моя Марья чуть в гроб не ушла.

— Ужалила что ль ее?

— Так ужалила, что не приведи Господи, и на том свете вспоминать будет... Видел ты бабишу каменную супроти барского дома?

— Видел...

— Каменная — и то — змея, не то что живая. Бойся ее, Лексей, — живую бойся, та теперь не ужалит, а живой бойся. Я говорю, ужалила она, бабу твою. Молодой был я, хотел барина перехитрить, а она и ужалила. Мы были, — крепостные, а барин — не то чтобы лютый, а до невест охочий; — я, говорит, вам отец родной, а вы понимать не хотите, — за каждого досмотрю, позабочусь о каждом... А тут ее привезли, змею эту каменную. Четверкой тянули, супроти дома поставили — кичка у ней рогатая, кругом головы — змеи, — а на самой — ничего — голая, по самый пуп голая, грудастая. Со степей притащили эту паскудину, — на кургане стояла. Перед домом поставили — велел барин со всех деревень народ согнать. Я то уж в приказчиках был — любимчиком, — барин меня жаловал...

Согнал Теплов со всех деревень своих мужиков, ребят с девками и объявил им приказ барский: без дела придет кто, либо по делу, — так чтоб до самой земли ей кланяться, а кто не поклонится — с того шкуру драть кнутом перед бабою этой, — да еще как сказал то...

— Не вам чета сиволапым, а предки наши, понимаете — *наши*, — есть — князя да бояре и то поклонялись ей — теперь ваш черед, теперь вам кланяться, — посмей только кто мимо пройти — узнаешь у меня кузькину мать!

Приказывал господин Теплов — с великой строгостью.

— Я, мать вашу растак, покажу вам как барина своего почитать! Мужик в то время привычен был к батогам, это ему ни по чем бывало, а тут — на тебе — перед бабою, перед змеей драть приказано. Мужика либо бабу перед грудастою порят, а барин сидит себе подле окна в кабнете своем и поглядывает — ухмыляется. С того времени

ходили мужики как пришибленные. Раньше бывало он и оброк принести запоздает, а теперь как вспомнит про каменную бабищу, про то, что пороть его будут перед ней, а потом ноги ей целовать заставят, просить прощенья — сразу про все вспомнит. — Так то, Ляксей, — без головы и не придумаешь этого, башковитый был барин. А драли — по совести, иной и не встанет бывало, водой из колодца обкачивали, обкатят — подымается.

— А тебя, дедка, драли?

— Меня нет, — меня пожалел барин, уж так пожалел, — век помню!.. А других драли... Пуще всего молодых драли, — тут тебе после венца, значит, попить, погулять, с молодойкой своей позабавиться, а тебя драть тащат к бабище этой.

Приехал один раз господин Теплов домой грозней тучи; с невестой у него ничего не вышло, — ухаживал долго за ней, а она, накануне свадьбы почти, возьми да и влюбись в другого и вышло то так, что господин Теплов пошел в беседку, где встречался он всегда с барышней этой, а приехал то невзначай, обрадовать ее хотел, — в беседку вошел, а она с тем целуется, — как ошпаренный выскочил; сел на гнедого и до самого дома гнал жеребца, к дому под'ехал, соскочил, конь — пал замертво, сволокли коня на другой день в овраг, — а после обеда и бабу каменную четвернею привезли, — в подарок он ее готовил невесте своей. Поставили ее к вечеру перед домом, а вечером он призывает бурмистра к себе с Трофимом и говорит:

— От главной аллеи липовой знаешь дорожку к роднику?

— Как не знать, знаем...

— Плотников вызвать завтра, на село, чтоб мне мосток был готов к вечеру, а то там болотисто, а по мостику лучше будет...

Согнал Трофим с деревень барских мужиков плотников, поставил мосточек от барского парка к селу — кабы знал, что из этого мостика выдет, лучше б сбежал в туретчину, — хрест Божий... Поглядел господин Теплов на мосточек, Трофиму спасибо сказал, потом спросил по хозяйству, а под конец...

— Так ты говоришь Василиса замуж выходит, венчать завтра?

— Она самая, барин.

— А девка красивая?

— Ничего, красивая девка.

— Девка ты говоришь?

— Под венец идет — значит девка, бабою у нас незамужние под венец не ходят.

— Так пусть поездом ко мне на поклон не ездят, даров никаких мне не пужно, а отдарки молодым ты отнесешь, а вот как от венца вернутся домой, так чтоб сейчас же молодая ко мне одна по этому мостику через парк пришла, — понимаешь?

На первый то раз никому невдомек было — зачем такое молодой итти к барину одной, — а все причуды господские, на то они и господа, а как невеста от барина за полночь вернулась к мужу, да начала подле него голосить в причет, тут то и поняли зачем барин призывал к себе молодую, зачем мосточек поставлен, отчего жениха дворовые сивухою накачали до мертва.

С той поры и стали из под венца невесты ходить через мостик к барину. Случалось и так, что к барину невеста шла по мостику уже бабою, если парень на себя

надеялся, на свои силы, на то, что его не запорят до смерти перед каменной бабищей.

И Трофим понадеялся на себя, — шесть месяцев до венца прожил с Марьей, самую красивую на селе девку взял, а когда Марья тяжесть почувствовала — пошел к барину, — позволения, просить, — жениться.

— Не женись, Трофим, — они хуже гадюк, эти змеи.

— Позвольте, барин!

— Я по совести тебе говорю, — не женись; другому бы не сказал.

— Позвольте...

— Дело твое, — только не забудь, Трофим, из под венца молодую прислать ко мне на поклон, — сам знаешь...

— Барин...

— Не забудь, Трофим... А отдарок тебе мой — бурмистром будешь.

Сам не свой Трофим под венцом стоял, — приехал домой — сам бурмистр старый с камердинером господина Теплова встречать мужика Сыромятного присланы да не с сивухой, что мужикам полагалась, а с зельем заморским. Хлебнул стопочку горькой — девки величать молодого стали, а невеста в слезы — итти к барину. Пошел Трофим проводить Марью свою, — провожал, уговаривал, чтоб не убивалась, все равно не его, а их дитя будет.

— Коли семя то брошено до венца — никакой барин его не вытравит, не испортит в одну ночь.

А господин Теплов так рассуждал...

— Я всем отец, — две тысячи душ у меня, двум тысячам я отец. К кому на хату придут просить новую? — Ко мне. К кому за хлебом придут? — Ко мне. К кому разрешения просить жениться? — Ко мне. Так и выходит:

— и кормлю, и одеваю, и женю — я всем отец,

а если я отец, так и дети тоже мои должны быть, от меня, — от детей послушание к родителю по священному писанию — чти отца и мать твою, — а если у каждого мужика будет дочь или сын — мой собственный, так и послушания в них во всех будет больше, — кровь то — она скажется; и хозяйство мое, как отцовское блюсти будут, и мне спокойнее и им лучше: как отцу не позаботиться, когда сын родной попросить придет. Сколько дворов, столько и детей родных и все в послушании отцовском, и всем я отец, всем — двум тысячам через своих первенцев.

Раскидались грузные тела мужицкие по овину, по избе Трофимовой; солнце взошло — девки пришли с бабами молодую встречать от барина, а Марья нет как нет.

Пошла она по мостику через парк старинный, липовый к барину, а тот ждет не дожидается Марья, — и собой хороша и веселая, а как от такой первенца не иметь, когда на всю округу красотой славится.

Сам на крыльцо вышел.

— Посылать хотел за тобой...

— Замешкалась, барин, — величали нас.

— Ну, ничего, — на тебя нельзя сердиться — ты красивая.

Вошли в горницу барскую — в ноги хотела барину, а тот и упасть не дал — придержал за локоть.

— Что ты, что ты, Марья! — Кланяться мне — не надо... Пойдем, я тебе покажу комнаты.

И повел ее по хоромам своим богатство показывать. Марья, когда ходила по коврам да слушала сказки господина Теплова, подумала, что и сама она в сказке, а как привел он ее в спальню, вспомнила про свою участь; вспомнила, что живет в ней Трофимов плод.

А барин поздравил ее, наливочкой угостил, настоенной на шпанских мушках, чтоб девка была податливой, не брыкалась, не кочевряжилась.

Положил ее барин, раздетую, на перину, прикаснулось к ней тело господское — как огнем обожгло, — дернулась из под Теплова, крикнула.

— Барин, не трожьте...

Тот сперва — угаваривать ее, с поцелуями, а она...

— На шестом месяце я...

Барина как ожгло чем: сбросил на пол ее — на спину треснулась и от боли на бок перекатилась, а он соскочил с постели и давай топать, кричать на нее, толкать ее под живот ногами, — та только взвизгнула — сердце зашло, а потом взял господин Теплов со стола звопочек серебряный, позвонил — прибежали слуги — приказал в подвал отвести голую, рубаху следом за ней подшвырнул ногою и велел до утра держать. Целую ночь не спал, оскорбленный в чувствах родительских, — думал все, как Трофима отблагодарить за верность, за службу исправную и придумал. Утром позвал бурмистра — велел Трофима привести.

Пришел Трофим с похмелья, — барин на крыльце против бабицы каменной встретил его, впился глазами:

— Так и ты своего барина обманывать? И ты мне слуга неверный?...

Молчит Трофим, в землю уставился.

— Что молчишь?... Виноват?... Винись барину.

Трофим ни слова.

Крикнул Теплов с икотой от злости.

— Привести сюда Машку!

В рубашке одной привели Марью. — за живот дер-

жится, — всю ночь простонала от боли — глаза опухли. Привели, поставили подле бабы каменной.

— Трофим, я прощаю тебе, не ты виноват — она змея, она обманула тебя, и отца своего, барина, обманула. Все они змеи, хоть ты в ней и знатная кровь течет — все они змеи. И ты, Машка, змея, — не знала разве, что к барину в чистоте приходиться надо, невинность перед бариним соблюсти?

Марья молчит, только охает.

— Знаю, что знала. И все таки пошла против воли моей? Понимаешь ты, что не Трофим виноват, а ты во всем виновата и не Трофима пороть буду, а тебе шкуру спустят, — я бы простил тебе, как и Трофиму, а вот она — на каменную бабу указал — не позволяет, особенно когда перед ней провинилась баба, — своему брату она никогда не прощает.

Понял Трофим к чему говорил барин, — в ноги ему...

— Барин, не трож Марью, я виноват, это я повинен во всем, хоть до смерти меня запорите, — все за нее потерплю, все выдержу, а ее не трожьте, — моя вина, мне отвечать, барин...

Уж так, Ляксей, пожалел меня господин Теплов — не приведи Господи. Кабы знал чево со мной было... Как положили ее перед бабищей каменной, да подошли к ней халуи барские с плетками... Кажись бы сам его задушил, — барина, — да как задушить — народ кругом, дворовые пособрались на позор поглядеть мой. Оттащили меня... Сперва только по ней выступали рубцы красные, а там и просекать стали до крови, а как до крови просекли — ополоумел я, в ногах катаюсь бариновых, а сам на нее гляжу, — она вскрикнет, а меня будто ножом полыснут. Эх, Ляксей, какую муку человек принял... Глянул я —

течет у ней сукровица промеж ног, а ее все порят — скинула она, ребеночка. А барин то стоит ухмыляется, кричит: бери, Трофим, свою Марью, — видишь как баба гнев свой проявляет, и плод не оставила в ней! — Замертво, на руках я притащил Марью в избу. Напослед я сказал барину: — видишь, на ладони не растет волос, так и нам у вас не век оставаться, а коли вырастет шерсть, тогда значит, ваша правда, господская, а только вам не дожидаться, чтоб у мужика обросла ладошь. Так то Ляксей...

Сослал он меня в деревеньку свою лесную, в глушь самую. На селе у него покорные были, подхалимы разные, им и хату поставит новую и сыночка придет глянуть, похож на него, либо нет; сказывали, что он каждую молодайку в книгу прописывал, чтоб не забыть, значит, когда родить будет; ежли в срок — стало быть от него. И бабку к себе призывал с младенчиком, на своего поглядеть первенца; дворовых прислужников — в крестные. А тут по лесам — неукорные мужики, супротивники, живут сумрачно, хаты по курному топят, по черному, из бедности не выходят. Так то, Ляксей, — а ты запомни про господ наших, они и таперь добрые, а у мужика и по сю пору земли по три аршинчика.

III.

Еще по лесу туман болотный колыхался сумрачно, еще сосны хмурились и в сонном бреду шептали наговоры — проснулся Трофим.

— Вставай, Ляксей, в лес пойдем; нынче день для тебя большой, буду тебе слова говорить против змей, что-бы ты был над ними набольшим.

Не по тропинкам, а по пенушкам, да по кочкам повел Трофим Алексея супротив солнца, — как указано заветом

старинным; — под Егорья лес особо жить начинает, с Егорья змея входит в силу, с Егорья и кровь разгарається в человеке по внешнему — плещется, русло свое ищет, а найдет русло и потечет она по вечному кругу в кольце обручальном, — под Егорья змея из кольца разворачивается — расплзается по лесу, под Егорья и кровь разливается в буйное половодье.

Глядел Трофим по траве в упор — искал змею двухсотлетку, что может перемениться в девицу красоты не описанной, на кого взглянет она — конец тому человеку, всю кровь его заволнует, покою он себе не найдет нигде, пока она ему не об'явится человеком, пока не потечет его кровь по ее жилам — не войдет в русло прежнее, от зачатия.

Увидал старик змею, на три шага ее подпустил к себе и говорит внуку.

— Слушай, Ляксей, говорить буду, гляди чево с ней станется, — запомни слова — нигде они не написаны, под Егорья их человеку передать надо.

Вдохнул поглубже старик — набрал воздуха и три раза без передышки в полголоса:

— Гинь, чур, меня, государевой земли — гыню, выню пополам; гынь, чур, меня, государевой земли — гыню, выню пополам; гынь, чур, меня, государевой земли — гыню, выню пополам.

Все змеи расплзлись, раскрутились по лесу, а эта — кольцом свернулась: стал кончать первый раз — остановилась она, замерла, на деда уставилась, во второй кончил — стала скручиваться, а в третий — кольцом свилась, — и лежит не шелохнется.

Подошел Трофим к ней, голой рукой поднял.

— Гляди, Ляксей, таперь наша, чево хочешь с ней делай, не тронет, — от зари до зари пролежит недвижна и не велено ее оставлять живою — убить ее надо, умертвить ее — на двух суках расщепленных прищемить за хвост да за голову и оставить ее до трех дней; больше трех она не протерпит, а на третий — снимать ее нужно. А коли ты лежать ее тут оставишь — проснется она на заре утренней, как роса на нее канет, и найдет тебя, хоть ты на край света уйди, — найдет и прикончит, никакой наговор не поможет от змен заговоренной, — на жале у ней яд накапливается за день этот.

С Егорьева дня и стал со внуком старик змей уничтоживать, с Егорьева дня и бабы ходить стали к Трофиму за советом, за наговором.

Дед на пасеке копошится, Алексей, подле амшаника, подрамки готовит и не заметили как подошла Уирка с матерью.

Взглянул Алексей на девку — дух у него захватило. даже голоса не хватило деда назвать, баба крикнула.

— Трофим Ива-аныч!

Пришел дед Трофим, спросил: чего надо?

— С коровами беда приключилась. Корова у меня с телкою, уж телке три года; не идет в стадо, а выгонять — домой ворочается и телушка от быка бежит — не пускает в себе, — помоги, ты знаешь! Чего с ними делать?

— Пойдем в хату, при девке не след говорить.

— Я бы братья то ее не хотела с собой, — да — увязалась, говорит, пойду на Трофима гляну, какой такой знакуль, ведьмак, — глупая она у меня да смешливая.

— Бабою будет — в разум войдет.

— А все эта наша учителька, кажидень бегают к ней, книжки читают.

Уирка стоит подле Алексея — посмеивается.

— Ты бы к нам на село пришел — танки водить будем, приходи в танок, а то дед ведьмак и ты тоже, — сидишь тут в берлоге, залишавел весь!

— Ну те вас, змен вы все.

— Ктож ето тебе такое сказывал? Какая ж я змея — глянь ко получше, — как и все — человек. А у нас на селе весело, — девки у нас смешлывы, песни кричать здоровы.

Говорит, посмеивается, а он стоит сам не свой, — глаза Уиркины серые, большие, приглядеться к ним — посинеют, а смеется когда — будто вся смеется, вся радуется, а сама и знает чему радуется, должно быть тому, что сил ей девать некуда. Взглянет на нее Алешка — насупится, и еще поглядеть хочет, а боится змеи двухсотлетней, а у самого сердце окает.

— В воскресенье к нам приходи, ждать буду!

Позвала Уирка, когда уходила с матерью и спросила мать: — Отчего это в лесу такие красивые парни родятся, а у нас на селе хуже?

Дед ушел на пасеку, а Алешка стоит в след поглядывает, ждет — обернется Уирка или нет? Долго видел как сарафан красный между сосен огнем горел.

Так и ушла — ни разу не оглянулась. На село позвала...

Не пустит старик на село, всегда говорит, что у нас по лесам народ сумрачный, нелюдимый народ; на селе — там барские, их отродье, а тут мужики правильные, настоящий народ — ни они к нам, ни мы к ним, живем всяк по своему...

Мужик повадился ходить к деду, муженки зовущего Ужом, а дед Трофим Григорием.

А мужик, точно глядуш, короткий с горбиною — идет по траве, по болоту по кочкам, уверенно будто уж ползет; глаза у него под брови ушли, сверкают, волос черный, жесткий — растрепанный, сапоги порваны, картуз с дыркой. Говорит, будто рубит, — лишнего не проронит, слова точно камни бросает.

За полночь постучался в амшаник, Трофим и не ждал гостя.

Пошел отворять...

— Кто тут?...

— Я, Григорий.

Заспешил, засуетился дед, пошел по углам спичек шарить — не нашел нигде.

— Без огня ладно.

Скамейку нашел ощупья, коник нащипал.

Старик спрашивает.

— Ты где ж был?

— Спать надо, завтра скажу.

Не спит старик, да и ночлежник полежал на конике — спрашивает.

— Хлеб есть?

— Возьми там, в конике. Ай не ел ничего? И чего ты за ей ходишь? Весь век ходишь...

Пожевал мужик в темноте хлеба, деду ничего не ответил, опять лег. А чуть расцветать стало — ушел из амшаника, из берлоги дедовой, на село пошел к дому барскому, — Трофиму сказал.

— Опять приду.

На другую ночь пришел мужик за полночь. Алешке дед на конике спать приказал, Григорию на печи постлал. Всю ночь пробубнил с мужиком.

— А где ж твоя то краля, змея то где?

— Приехала.
 — Как же она — к матери что ль повидаться аль жить совсем?
 — С барином.
 — Чего ж она с ним? Ужли до сих пор с ней живет?
 — Живет.
 — А барыня как же, терпит, ужли со двора не согнала?

— Померла. Аленка замест супружницы.
 — Так чего ж ты, Гриш, за ней по земле бродишь, чего ползаешь, — говорил тебе — змея, так и вышло, а ты все свое — авось мол сжалится, авось образумится: сколько годов не сжалилась, не вернулась, а ты все ходишь.

Днем старик рассказал Алексею: жена Григорья — Алена в барских хоромах воспитывалась, с барышней вместе — и горничной ей была и подружкой и кое что по немногу от ней перенимала — не даром была из дворовых, из родичей барских, где крови то чистой не было, а с барскою с покон веков кровь смешана. Весь век как смогрела из рук барских, так и самой захотелось стать барыней. Когда барышня вышла замуж за молодого господина Теплова, племянника старого барина, она взяла Алену в хоромы свои наперстницей.

А Уж в те поры в кучерах служил у молодого, — увиались за ним девки дворовые, только он сам сторонился их — угрюм был, несговорчив, нелюдим. Но Аленка окрутила его — нелюдимого.

Влетит она из хором к кучерам и начнет ласы точить с ними, над Григорьем посмеиваться; раздосадует, парень и давай по своему топором рубить — такого наговорит ей, что той и смешно и страшно. Из любопытства

сперва зубоскалила с парнем, а потом интересно самой стало, что из этого выйдет.

Барыня молодая к возлюбленному своему супругу привязалась, а с Аленкою, — ей и деваться некуда — пришлось Алене на кухню итти к прислуге, про книжки забывать стала.

А тут Григорий ей подвернулся, — на смех и сказала ему.

— Гришенка, я бы за тебя замуж вышла...

— Смеешься...

— Ты не смотри, что веселая я, я и любить могу; если не испугаешься — поцелую тебя.

И поцеловала его из озорства, у него голова пошла гругом, потому что впервые ему было целовать девушку да еще на господ похожую; облапил ее...

— Пойдешь за меня?

— Пойду, пойду, только пусти, ты раздавишь меня.

— Взаправду?

— Я ж сказала, пусти только...

— Не пущу теперь...

И крикнуть не дал — кончил девуку, ушла от него бабою, а потом и самое зверь захватил и стала она сама к нему по ночам бегать, а там, как тошноту пришлось унимать сеledкою да огурцом соленным — испугалась она и вышла за него замуж.

А потом наскучил Аленке мужик, вспомнила она житье сладкое и прельстила барина. Случилось так, что заболела барыня и не велено было ей с мужем быть. Аленка и подкатилась к барину.

Стала Аленка барыней. А Григория от себя прогнала. В ногах у ней мужик ползал, уговаривал, усовещевал

жизнь его не губить. В коморку придет, молит ее — до слез молит, на что был крепок и то прошибла слеза. А потом и коморки не стало, как Елена Васильевна поселилась рядом со спальнею своей барыни. — И не в коморке Григорий ночи просиживал, а на порогах, поглядывал на окно, мок под осенним дождем, — до утра сутулился, ждал когда по занавеске заиграет тень барская и огонь на ночь затушит в окне. Некуда деваться Григорию в темноте, — пойдет на конюшню он, зипуном прикроется подле кобылы сонной — запрыгают у него перед глазами круги красные и до утра мерещится ему Аленка барская.

Она то и назвала его Ужом.

Встретил ее....

— Ален, не губи ты меня!

— Не могу я, понимаешь, не могу! Не люблю тебя больше, девченкой была глупая, любопытно было, любопытно было зверя лесного узнать, расшевелить его захотелось.

— Пойдем к деду, пойдем к Трофиму — Алешка там, твой ведь!

— В лесу жить, в берлоге— всю свою жизнь погубить, если б любила я, ну, понимаешь ты — не люблю.

— С барином спуталась, барыней быть захотелось... Уж ты — змея!

— Уходи ты от меня, дай ты мне волю, — была твоя, а теперь его, а ты уходи, уходи к Трофиму, ведь ты покою мне не даешь — сам то, как змей, под окном по ночам, — ужом ползаешь.

Сидел он в трактире на селе, в уголку, закусывал огурцом соленным, до самого вечера, — захмелел и пошли перед ним пятна зеленые, стал бормотать несуразное...

— С кобылою под зипуном Ужу греться, до самой ночи под окном ползать, а грязь то какая по двору — в рубахе налипнет, в волосах спутается. Спуталась — с барином, спуталась — барыней стала, — а ты говорит Уж — Ужом ползаешь, — пресмыкаешься...

Из любопытства спросили Ужа.

— Да кто говорит то?

— Она, — супруга законная, — ты, говорит, Уж, я на тебя и глядеть не хочу, потому мне и с барином... таво... живется сладко, а ты грязь месишь, по порогам ползаешь, Уж!

— Так и сказала?

— Чево и не сказать? Раньше бывало тебя Гришенькой, по благородному, а теперь Уж стал.

— С чего ж это она так?

Уехал барин с Аленкою и с больною женой в город и Уж пополз за ними. Рассчитали из кучеров его, думали — у отца с Алешкой останется, а он — по колчьям, по колдобинам, по проселку липкому — пополз в город за Аленкою; скитался по базарам, по трактирам; пыльщиком, дровоколом был, просиживал подле дома Тепловского в городе, чтоб одним глазком глянуть на Аленку свою. Сколько лет по ночлежкам клопов давил, вшей считал, позабыл и про сына и про Трофима отца, а как померла законная супруга господина Теплова, пополз он опять за Аленкою в село Упорой, куда она с барином жить поехала, хозяйствовать, с приплодом своим — сыночком, да с сироткой своей барыни.

Приполз Уж и в амшаник к Трофиму.

IV.

Алешку на село потянуло. Три дня думал, три дня не знал как деду сказать, что на село пойдет. На четвертый обманул старого: сказал, что к обедне не пойдет в Упорой.

После обедни ребята его спросили.

— Ты что, Лексей?

— К вам пришел.

— Пойдем в березняк, нынче девки пойдут туда.

Пошел в березняк Алешка...

Стали в круг девки, взялись через платки за руки, повели танок. Подле круга ребята стоят дожидаются, кого Уирка в круг к себе позовет; стоит в кругу девка красуется, запекает белую лебедь.

Ведет танок вешнюю песню.

Вдоль по мо-о-рю, вдоль по мо-о-рю, вдоль по морю, морю си-и-нему, по синему, по Хвалы-ы-ынскому... Плыла-а ле-ебедь, плыла ле-ебедь с лебеда-я-ятами.

И пошла, поплыла Уирка в кругу, лебедью, глаза опустила, улыбается. Алешка поодаль стоит, на лебедь смотрит.

Как запели в танке — налетел ясен сокол — Уирка крикнула.

— Лексей, иди, вылетай в круг, будь соколом!

Затоптался Алешка, не решается, — ребята втолкнули в танок.

Налетел сокол кудреватый, пустил перье по морю — по зеленой траве, — разбежались из круга девченки-лебедяточки и забегали кругом танка, а в танке бьется сердце Уиркино и у Алешки колотится. Закружился танок, полонил парня с девкою. Угрюм Алешка, да сердце — не ка-

мень, улыбнулся от смеха Уиркина; из танка вышел — пошел по лесу с девкою, с ребятами.

До обедов ходили, потом — девки с ребятами на село, — Алешка напрямик по лесу, к амшанику.

Уирка бегом прямо в школу, к учительнице, — от сестры до самой горницы хохотала.

— Что ты, Уирка?

— Был, ну и потеха, — пришел таки...

— Да — кто?

— Алешка Трофимов, от обедни в танок пришел в лес ходил с нами, а под конец по грибы позвал.

Вроде подружки Уирке учительница земская Марья Алексеевна; годами старше, живая, веселая, — всего два года как гимназию кончила — не успела еще в землю вrostи, обомшавать — книжки читала, разные, и такие, что в трубу прятала, на тонкой бумаге, и «Биржевку» выписывала. По хатам ходила, с мужиками беседовала; у баб кумовала. Прочтет мужикам из газеты тоненькой и перескажет, что люди думают. А в «Биржевке» больше про войну, про японца мужикам вычитывала и каждое слово по своему перевертывала. Мужики удивлялись.

— Говорит, как по книжке читает...

— Да это она по газете.

— Знаем мы эту газету!..

— Намедни на базаре, тож один говорил волосатик, так того живо полиция забрала тоже, должно, из газет вычитал.

— Ловко они по господ разделявают, и насчет земли — правильно!

Марья Алексеевна тоже мужикам про землю рассказывала, ее слушали, в бороды усмехались и думали, что пора бы поделить землю по справедливому, — а то куда

ли плюнь — всюду земля барская — задуха без земли мужику. Про господ думали, — их пора порешить — с корнем из земли вырвать и на племя чтоб не осталось.

Про японца в трактире под граммофон толковали...

— А ты что думаешь, не продают чтоль, кому хошь продадут, потому, как от мужика задуха пошла, вот они и порешили народ извести, — кабы царь знал — он бы их укатал живо, а то господа и его обошли — теперь их воля, да только и народ на это глядеть тоже не станет.

Ребята те и на царя не смотрели — так лалялись, что старикам становилось жутко; попу Гаврилу старики жаловались, а поп с хитрецей, в бороду ухмыльнувшись, сказал степенно...

— Всякому плоду свое время...

Мужикам и сказать нечего, он хоть и поп, а газетку почитывает и сынок один у него не по духовному званию, а пошел в студенты.

У попа Гаврила и с учительницей дружба: та ему «Биржовочку», он ей «Русские Ведомости». А придет из столицы сынок поповский пожить на каникулы — друг от друга они не выходят: книжки вместе читают, газетки, о политике, — о всем разговаривают; по ягоды в лес пойдут, по грибы — все про одно. С парнями Петр Гаврилыч запросто и тоже про землю рассказывал, что земля — мужицкая.

Зимой подруг у Марьи Алексеевны не было — она и проводила с Уиркою время, а летом — стеснялась Уирка, когда учительница с поповичем начнут разговаривать — непонятно ей было, при том же он хоть и попович, а все же студент, — значит барин. Весной до покосов вольное время и ходит Уирка к учительнице, и теперь, вот, пришла рассказать про Алешку.

— Приведи ты мне его показать.

— Не пойдет, дикой.

— А чем же он тебе понравился?

— Разве ж я знаю? Может тем и хорош, что не такой как наши ребята.

— Чем не такой?

— Наши ребята охальники, им бы только полапать девку, а этот и взглянуть то боится, а потом у него дед Трофим...

Петр Гаврилыч, студент попов сын, на лето приехал и Марья Алексеевна с ним ходить на село стала.

Пришел в Упорой волосатик, прямо в школу к учительнице, побыл несколько дней и опять пропал; после этого новый слух пошел, что помещиков жечь.

Учительница с поповским сыном шли по деревням и взяла с собою Уирку для отвода глаз, чтоб не заметно было, будто идут на прогулку.

Пошли прямо к деду на пасеку. Алешка еще издали голоса слышал; увидал — обрадовался.

Трофим с поповичем пошел на пасеку, а учительнице с Уиркой — Алешка меду принес свежего в деревянной чашке и нож из косы старой.

— У вас тут, Алексей, такая глушь, что страшно...

— Это правильно, незнакомому не пройти...

— А чего ж ты, Лексей, на село не приходишь?

— Дед не велит.

— Он деда Трофима боится, ведь дед у него знакульведмак, — старик строгий.

— Теперь в лесу трава всякая, самый раз ее брать; ходить куда — некогда.

Поели медку, дед вернулся с поповичем и пошли по деревням Тепловским лесным, Алешка провожать вы-

звался. До деревни дошли — Уирка струсила, потому что от учительницы знала зачем они пойдут в Курвино да в Санлеевку. Раздосадовала на нее Марья Алексеевна, да спасибо Алешка, сам вызвался до села довести девуку.

Уирке по лесу итти жутко, к Алешке жметяся.

— И как вы только с дедом живете тут, я б померла, вот те хрест, со страху бы померла, — а ты, Лексей, не бо-ишься тут?

— Чаво ж тут бояться, у меня супротив всякого зверя слово есть, дед мне про все сказывал.

В полях летом светло почти до пол ночи, а в лесу темень-тишина в лесу, одни сосны по верхам шумят, а итти жутко — ни тропиночки, ни дороги. Выпь в болоте загукает — насторожится Уирка, к Алешке шатнется, толкнет его даже; эхо пойдет перекатом по соснам от сука под ногами треснувшего — еще страшнее Уирке, а лес что ни шаг темнеет, между сосен ни клочка неба не видно, а в сумерках от болота туман вырастает, шаги замедляет у девки пугливой.

— Лексей, страшно мне.

— Со мной то? Да я тут насквозь знаю.

— А нечисть?

— Она тебе не помеха, со мной не тронет.

— Руку, хоть, дай.

Взяла его за руку — отлегло чуточку и в лесу будто прояснилось; на поляну выпли. И опять темень, а по болотам огни зажглись, между сосен белеют стволы березовые — точно русалки, хлещутся ветками; выпь гукает; по кочкам нога мякнет — хлопает. Плечо о плечо Уирка идет с Алешкою.

Из лесу выпли — дорога пошла на под'ем к Упорою; на селе огни зажгли в избах, собаки побрехивают.

Довел до околицы — в одно слово сказали...

— Приходи Уирка...

— Приходи Лексей...

На деревне огни горят — время ужинать, а в трактире шум, гомон, — народ праздничный и свой и чужой, — все столы заняты. Мастеровщина из города возвращается.

— Какой там работа, — прибавки просили — не дал — пушай сам строит — распот? — Ладно, домой пойдем!

— До тла сожгли — у Терентьевых — разволокли добро все — солдат пригнали...

И волосатик откуда то взялся, сидит, мужиков подзуживает. Пришел он к учительнице — ее дома нет, куда деваться? В трактир — день как раз праздничный.

Заполз Уж в самый угол, сидит слушает, из подлобья сверкает глазищами, нет-нет да и скажет.

— На корню б его запалить у господ, хлебец то ихний.

А маленький мужиченка, зовут Прошкою, подскочил к Ужу и давай тараторить.

— Правда твоя, Григорь Трофимыч, — вот то обрадуются! Конец им пришел, что и говорить — конец, теперь порешим, кады не порешим теперь — век будут властвовать!

— День выбрать...

— В этот самый денек и пустишь по полям петушка — нехай он потешится, — правильно! Ну, разве ж не правильно? Золотые словечки, как есть золотые, — слышь, ребят, чего говорит — правильно что ль, ай нет?... Говори, братцы!

А волосатик под простого оделся, только лицо побелей мужицких, да слова книжные, а так и не приметить что не мужик; волоса отстрстил длинные, только в скобку забыл их подстричь. Нет-нет да и вставит слово.

— Организоваться надо, в единении сила, — веник то по веточкам живо переломать можно, а вот целый его и не переломишь, — так и вас: — миром то все сделать можно, а как начнет всяк по своему — ничего не выйдет.

Прошка каждое слово подхватывает.

— Сразу видать что ученый. — Слышь, мужички, гарнизоваться надо, — это он правильно — с миром ничего не поделают.

А Уж сидит, думает, — приполз он из под окон барских: нутро ему разворотило там, — он первым в хоромы полезет против барина, а волосатик от науки, головой до всего дошел и тоже мучается, оттого что народ без земли нищенствует, на поденке век коротает, одно плохо, слова то хорошие, правильные, да только мужик им не верит, оттого и не верит, что слова не мужицкие, а путра нет; а мужик это чувствует.

Подумает Уж, посидит и скажет.

— Земля наша. В грамоте сказано. Сам видел.

Видел — не видел Уж грамоту, а только не раз по базарам про нее мужики сказывали; на торгах, по ярмаркам бродяжный народ про нее знает, и Уж ее разобрал.

— До самого корня чтоб вырвать барское семя.

Поглядел на Ужа волосатик и сразу подумал, что самый подходящий, а тот, что кричит — не надежен, а что болтает — пускай себе, тоже не лишнее.

Поднялся к Ужу со своей полбутылкою и казенка то пачата для виду и сам будто немного выпивши. А Уж все свое — рубанет и подумает, поглядит на мужиков махоркой прокопченных — опять скажет.

— Со всех деревень чтоб.

Кивают мужики, с Ужом согласны.

— Висмотреть, вывеждать — нагрнуть миром.

Один встал, пошел к выходу, в дверях кинул.

— Миром, так миром!

И вздохнул трактир облегченно от слова этого, — из всех углов отозвалось.

— Миром...

Один по другому — разбрелись мужики по домам.

Мастеровщина пошла по хатам ночлег искать.

Уж напослед выполз, а за ним волосатик выскочил, пошел рядом и всю дорогу напентывал.

— Надо чтоб все знали, обойти по всем деревням надо. Под Успеньев день... Лучше всего под праздник. Так и говори всем — под Успенье.

У.

По лесным деревням ползает Уж, шипит:

— По всей Рассеи каюк барам. — Петуха пустить. Добро поделить. Господ порешить. Землей завладать.

Прошиб мужиков: загалдели лесные мужики и решили под Успеньев день с праздником господина Теплова поздравить; и старого барина припомнили, и бабу каменную — старики зады почесывали, как будто рубцы от плетей, батонов заныли у них.

Но Теплов прослышал, что мужики усадьбу жечь собираются, известил на сей случай кого полагается и успокоился, со дня на день гостей дожидаясь с винтовками — замешкались дорогие гости, пожаловало всего навсего три стражника.

В самый большой колокол велел поп Гаврила звонить под Успенье; ударил звонарь — разнеслось, загудело по лесам эхо перекатом от хаты до хаты — подняло народ.

Стражники как увидели, что народ валит, — что забегал по комнатам барин. Полетел через село по боль-

шаку стражник, загремел о седло винтовкою, только пыль закружилась следом.

Мужики усмеваются:

— Ишь понесся!

А бабы трусливо ноют:

— Ох, не к добру, это, вот те Христос не к добру! Слышно, Терентьевских мужиков перепороли всех, над бабами надругались, девок бесчестили...

Подле трактира гомон стоит, кому начинать, с чего наперво, и Уж с топором про меж людей ползает и волосатик руками размахивает. И вот пошли.

Мужики от трактира прямо к усадьбе, валом вают. Уж впереди с топором — главенствует, а Трофим позади всех — сторонкою, Алешку дома оставил пчел караулить.

К воротам подошли скопом. Сперва постучали, — молчат.

— Ломай ворота.

Ввалились на двор, подле бабищи каменной стали.

— Ступай, Григорий, тебе выходить...

Черно на земле без луны, в окнах дома тоже черно, огни погашены — молчит дом, вымер будто.

Трясется Алена, краля Тепловская, забилась в чулан дальний с детьми, сидит в углу крестится, знает: впереди всех, ее муж.

Господин Теплов на верху стоит с револьверчиками, на лестнице дожидается.

Загудел народ — порассыпались мужики по двору, по хлевам, по конюшням, гремят, матерщятся. Загорелся флигель, — в набат поп Гаврила ударил.

А по селу пыль столбом — свистят, гикают, на скаку палят, — подоспели архангелы выручать Теплова, село

запалили с конца — бабы взвыли. Загудели мужики, с ревом назад кинулись, добро свое выручать.

Приплье с других деревень скатились в овраг...

Хлепцут нагайки по башкам волосатым, раздирают на спинах рубахи посконные.

Одонья горят — полыхают, солому огненными ключьями ветер раскидывает по селу. Светло, как днем.

На дворе подле сарая уткнулся мужик в стенку, сидит руку облизывает, кровь высасывает, а другой корчится подле бабищи каменной, захлебнулся кровью — прошла пуля в рот через темя.

Ужа на дворе поймали, — догадался топор кинуть.

Волосатик из ворот выбегал, — в догон прихватила пуля, — под ноги лошадям свалился.

Поп Гавриил в алтаре зажег свечечку, на колени стал — молится.

Бабы с девками поналезли в церковь — прячутся.

Марья Алексеевна, учительница, выбежала из школы — не знает деваться куда; увидала деда Трофима — вспомнила про амшаник, про лес темный, куда ни пути, ни дороги, напрямик через города бросилась; Уирку встретила.

— Уирка ты?

— Я, барышня.

— Бежим, Уирка, скорей бежим.

— Бежать то куда?

— К Алешке бежим, в амшаник. А то изнасилуют.

— Бежим, барышня!..

На барском дворе стихло.

Одонья горят, от флигеля зарево.

На селе догорают крайние избы.

Казачков угостили казенкою — ротмистр позабавиться разрешил.

Визжат девки; бабы вопят — казаки забавляются.

Светло бежать Уирке с учительницей коноплянником, светло и не увидит никто, — былки стоят высокие, к оврагу самому конопля мужицкая — государева подать, — а там по полям — к лесу — ни души нет.

И в лесу не темно — по всему небу зарево, — колею нашли — на душе стало легче.

Скатились от усадьбы Теплова лесных деревень мужики в овраг и тоже задами через коноплю напрямки к лесу и поползли, озираясь, топоры свесив. И по лесу шопот — назад вертаются.

— Барышня, идет кто то!

— Не бойся, Уирка, это мужики идут.

— Чаво ж нам таперь будет? — шепчутся мужики. И зашептало по стволам — будет, будет, будет...

Прислушались мужики, что лес говорит, — вздохнули, поехали...

— Всех отыщут...

Зашуршало — оты-ыщут, оты-ыщут...

Алешка всю ночь не спал, подле амшаника дожидался деда с Ужом, а как полыхнуло полосой по небу — встал и глядел, не двигаясь, в сторону Упороя, только одно думал, что, де, правда дедова, — пришел господам конец, теперь и мужик из лесу на свет выйдет — на земле осядет.

Уирка с учительницей на тропинку свернули, барышня крикнула — Алешка-а-а... и по лесу отозвалось — а-а-а...

Услыхал парень, не знал и зовет кто — откликнулся.

Светать стало к амшанику подошли.

— Алексей, спрячь нас!

— Спрятать?... С чего ж это?

— Христом Богом. Беда случилась.

Спрятал Алексей учительку с Уиркой в амшаник и вышел дожидать деда, ничего не понял, только почувствовал, что недоброе в Упорое с мужиками стряслось и за деда испугался.

А Трофим позади всех шел, — припелся конец поглядеть барский, на Ужа своего, как это он будет за него, за себя, за весь мир отвечать один. И первый слышал, как налетели казаки из темноты и притулился подле хаты чьей то, — ноги у него подкосились, подумал:

— Не успели мужики наши, всего пустяки не успели, а теперь нам конец — опять барское перевесило и Ужу конец, Григорию, — не помилует. А все она, все змея, из за бабы змеи, из за ней.

Побрел к церкви. Стал на паперти, — видно ему, как мужики мечутся, бабы простоволосыми бегают, и в церкви светло, от огня окровавела, точно кровь человеческая из стен выступила. В алтаре свет — горит свечечка и стоит поп Гавриил в ризе у жертвенника на коленях, точно ангел скорбящий о пролитой крови людской.

А над всем колыхается гул огненный — гудит от набата Упоройская церковь, в сумраке багровом гул плавает, как расплавленный ужас кровавый.

Понабились бабы с девками, с ребятишками — молятся. Подойдет новая, — только взглянут — не спрашивают, сама говорит, изливается...

— Теперь по миру... погорельцами... смело — до чиста... Катьку... изнасиловали... мужика... в сарай заперли... одна осталась... теперь по миру...

Трофим стоит слушает — не скажут ли чего про Григория, про барина, про Аленку. Старуха одна соседке сказала шопотом...

— Ужа захватили, Григория Трофимова, всю морду ему ахвицер раскровянил.

Светать стало, полымя поутихло, набат замолк, звонарь с колокольни слез и поп Гавриил очнулся и вспомнил, что не окончил всеночной—снял ризу, задернул ворота царские и вышел на амвон, — высокий, плечистый, вышел и все стихло. Постоял, помолился и запел басом — взбранной воеводе победительная — окончил всеночную под Успеньев день.

Храм не закрыл — оставил людей в нем молиться, а когда проходил с сыном Петром мимо Трофима, спросил его:

— Ты, Трофим?

— Я...

— Пойдем вместе.

— Захватили моего, Григория...

— Да, Трофим, плохо это, что захватили его.

— Конец теперь ему.

— Терпеть надо.

— Чего ж, бать, терпеть то?... Натерпелись мы...

— Рано еще, Трофим, — подожди, придет время!

— Знамо придет, когда только? — Куражились мужики, колобродили, — все без толку, а все волосатики эти, — без них бы — самим надо...

Дождался в поповском амшанике Трофим до утра, а утром опять пошел в церковь. И барин пожаловал с своей кралею, на коврик стал с детками; рядом с Аленкою ротмистр казачий, а к херувимской ударили и становой с жандармским пожаловали. Под крест подошли — поп Гавриил Теплову, по заведенному, просфору девятичинную. Народ, какой был, вышел — барин молебен служить благодарственный о чудесном своем спасении; за певчих

— поповичи Петр с Николаем. Из церкви всем собором пошли. Теплов поповича похвалил становому при всех, громко, чтоб слышали.

— Удивительно выдержанный молодой человек, не смотря, что студент.

Сзади жандармский осторожно вставил.

— Говорят, что тоже ходил с учительницей по деревням...

И будто случайно про учительницу вспомнил.

— Кстати, господа, а где эта учительница, — мы хотели ее допросить кой о чем? Произвели обыск, найти ничего не нашли, но и ее нет — исчезла куда то.

Поп Гавриил пробасил нерешительно.

— Она славная девушка, скромная... прекрасная девушка.

И не решился больше сказать. Теплов выручил: посмотрел на Петра, видит взволнован тот, как бурак красный и пожалел поповича, замолвил словечко свое настоятельно.

— Я думаю, что отзыв отца благочинного вполне для вас, господа, достаточен.

И в один голос и становой и жандармский ответили:

— Конечно, Василий Аркадьевич!

VI.

Проводил поп из церкви архангелов, вздохнул облегченно — за сына, за учительницу порадовался и опять в церковь вернулся медяки подсчитать мужички и увидел на камушке подле ограды Трофима.

— Что, Трофим?..

— Да что, бать, — порешат Григория моего...

— Никто как Бог...

— Повидать бы...

— Ступай на двор барский, сейчас там мужиков допрашивать будут — виноватых искать, и его увидишь.

Послушался Трофим, пошел на судилище. Со всех сторон мужиков согнали, — был не был — держи ответ, винись перед барином.

Глянул Трофим — подле бабицы каменной стол поставлен, а за ним восседают мучители, а посреди всех — барин Теплов.

— Так... крепостными были — перед ней расправу чинили и таперь тож перед бабицей.

Открыли сарай — мужиков вывели, — впереди Уж идет — насупился, голову свесил, глядит в землю.

Народ на дворе молчит, сумрачен, только поглядывает как за столом по бумаге перья скрипят — суд творят.

К бабице подвели, — из за стола крикнули.

— Начиная с главного!

Подхватили Ужа, положили перед бабицей каменной, портки скинули, заголили рубаху и засвистали нагайки казацкие, — с оттяжкой пороли, — взвыл мужик, света не взвидел. Всыпали порцию, отдохнуть положили на травку, чтоб отлежался, опомнился. Очнулся Григорий — лежит против окон господских и померещилось ему, что подле окна стоит кто то, поглядывает, подумал что Аленка его, похрипел через силу что-то и забылся опять, затомился от боли.

Прошку назвали — трактирщик сказал про него.

— Больше всех гомонел, больше всех разорялся...

— Да я, Ваше высокородие, ничего, — смутили меня — волосатик, тут, народ баламутил, я — разве что, — это Уж, Гришка, коноводил, мужиков мутит, да еще Касьян, что у мельника живет, в работниках, народ собирал, га-

зетки вычитывал, ево брат, Пармен, с базара их привозил под веретьями, Машка Галкина про него сказывала...

И пошел Прошка выкладывать все, что знал — всех свалил в кучу — на кого зуб точил, не поднес ему кто — и того прихватил заодно, говорил тараторил, захлебывался, лишь бы выгородиться...

Скребут перья, — на лету подхватывают имена мужички.

Но и Прошку не помиловали — пятнадцать всыпали — против других облегчили, а другим — по совести...

Так, всех по порядку до самого вечера подводили к каменной, — стоит она — глаза выпучила, рогастая да грудастая, молчит, не шелохнется.

Всех перебрали, одного Трофима не тронули, — никто не назвал старого, а Трофим как увидел, что после Ужа всех мужиков пороть стали, прямо к барину.

— Барин, вели и меня пороть, видно.

Те на него глаза вытращили.

— Вызывали тебя? Нет. Так не лезь, уходи пока цел! Казаку кивнули, подскочил, каблуками щелкнул.

— Прогнать со двора этого!

В шею Трофима до ворот гнали. Поплелся старик в берлогу свою.

Дождался Алексей деда к вечеру, — шатаясь пришел старый, против внук стоит и спросить то бонтся, а глаза спрашивают, — по словечку старик выкладывал.

— Порешили нас — мужиков — судят — Ужа — до костей гвоздили — потом всех по порядку. Суд правят. Барина не прикончили — жив сидит — радуется.

Учительница к старику подбежала, спрашивает.

— Трофим, а Петра Гаврилыча видел?

— Видал.

— Что он? Где?

— С папашей домой пошел от обедни.

— Убитые есть?

— Как не быть, есть.

— Много? Господи, да говори ж ты, дед!

— Чего говорить то? Волосатика того — пуля прикончила, опосля конями стоптали. Мужиков убили человек десять... А вы чего ж тут?

— Убежали мы, спрятаться...

— И вашего брата не милуют...

В амшанике сенца послал дед на полу гостям неожиданным, Алешка веток сухих натаскал, картошку сварил, поели — легли спозаранок.

Ворочался дед, не спалось старому, про Ужа думал, знал что не помилуют — либо пойдет по Владимирской, либо — веревку мыльную.

Чуть светать стало Марья Алексеевна вскочила, волосы наскоро закрутила узлом и подле слухового оконца, на листке, из записной книжки выдранном, в полутемноте Петру написала записочку...

— «Петр Гаврилыч, милый, прошу Вас, там, в моей комнате — Вы знаете где — кирпич, — выньте его и все, что есть там — сожгите, только поскорей. Напишите что делается, что с Вами? Я боюсь. Да скажите Уркиной матери, что она цела, только не говорите где, а то разболтает, тогда плохо будет. Жму руку. М.»

Встал дед, плеснул на лицо водой, перекрестился и пошел поглядеть колоды. Выбежала из амшаника Марья Алексеевна, упросила деда на село сходить, отнести записочку Петру Гаврилычу и ни кому не говорить, что они тут вдвоем, — а главное — ответа дожидаться, не приходить без ответа. Поежился Трофим, помялся и согласился схо-

дить — хотелось старику узнать что с Григорием — жив или нет? Пришел к попу.

— Ты что, Трофим?

— Петра Гаврилыча повидать мне.

— Зачем тебе он?

— Дело есть.

Вернулся Трофим в обед в амшаник, отдал учительнице письмо от попovichа, — прочла, успокоилась, стала ждать самого, обещал притти.

Уирка про мать вспомнила — голосить стала; домой убежать хотела да побоялась, когда ей Марья Алексеевна сказала, что ее казаки на дороге поймают.

Алешка смотрел на Уирку, не зная, что ему делать и целый день по углам тыкался.

Через два дня Петр Гаврилыч пришел в амшаник.

Говорили они с учительницей до темна, а стемнело, поужинали с Алешкой, с Трофимом, с Уиркою и опять пошли говорить. За горожу ушли Трофимову.

— Значит вам удалось все сжечь?

— Да. Только...

— Что?

— Вот эту тетрадь я не мог сжечь.

— Почему?...

Спросила, дневник у него взяла и страшно ей стало, что спросила его об этом и подумала, — а что если он прочитал про себя, про то, что она его любит, тайну ее узнал?

Подошел к ней, совсем близко, так что она дыхание его чувствовала и пошевелившись боялась, ждала — что скажет и сквозь шопот лесной — шопотом.

— Марья Алексеевна...

— Что?..

И обнял... Боялась в лицо ему посмотреть, закрыла глаза от поцелуя.

— Ты прочитал?..

— Да...

Приникла к нему, прижалась — довел до амшаника, — все спали. Сели на порожке и слушали до зари как шумят сосны, а когда туман с болота стал подыматься и сыростью потянуло, холодом, — прощаясь, целовались короткими поцелуями горячо и не долго.

VII.

Уирка вернулась домой — мать накинулась, что убежала она не спросясь, не сказавшись; за волосы ее оттаскала и засадила дома — с глаз не пускала ее.

Попович увез из села Марью Алексеевну в город большой, — женою увез ее из села Упороя.

Остался Алешка один с дедом годов своих дожидать, об Уирке думать.

Деревни лесные стоят сумрачно, мужик в них угрюм — живет думу думает, господ вспоминает, — притих, не гукает в медвежьем углу — не шелохнется, дожидает поры — времени.

И Трофим замолчал, как узнал, что Ужа по Владимирской пустили с конвоем — кандалами греметь — версты мерять.

Так и жили в амшанике подле пчел своих дед со внуком Алешкою.

Поп Гавриил на селе помер, — говорили, что от разрыва сердца, и стали мужики Николая в попы дожидать, а он как и брат — в студенты, — летом только приезжал домой ходить за пчелами.

Зимой в городе, а на лето в Упорой за пчелой ходить — развел настоящую пасеку. И не велика она была у Николая: шесть колодок, что от отца осталось еще до пятнадцати ульев, — зато пчела у него отборная — со всех стран выписывал да сводил с рассейскою; приметная у него пчела — кругом брюшка золотыми обведена кольцами. Выйдет на поле, глянет на гречиху и сразу скажет, — что его пчела тут работает, итальянка с кавказскою.

Трофим удивлялся, — мужикам говаривал.

— Молодой, а как знает пчелу то, куда ж нам старикам до него.

Алексею бывало скажет.

— Ты, Ляксея, сходи к Николай Гаврилычу, погляди на его пчелу, такой не сыскать во всей округе, на что Теплов развел пасеку и травку посеял всякую, чтоб не утруждать свою пчелку и пчеловод у его состоит городской, ученый, на жалованьи, а супротив Николаевой да лече ему!

Алешке и на пчелу поглядеть охота и Уирку повидать хочется.

Три зимы протаскался старик, на четвертую не вылез Трофим из амшаника, все на печи, а пятая подошла — помирать собрался.

Всю осень старик пересказывал Алексею тайны про всякие травы, про наговоры и зарок.

Завернул мороз, замело амшаник, — велел зажечь старик свечу четверговую.

— Помирать буду.

— Живи, чего помирать? — Поспеешь.

— Пора пришла. Я тебе напослед скажу: ежели когда Уж придет, так ты, слышь, Ляксея, не бросай его: в ам-

шанике приюти, напой, накорми, — он мужик правильный. Да еще змен двухсотлетней, что девкою оборачивается, — ее бойся.

— А мне хоть и совсем не будь девок, одна только...

— Одной то пуще всего бойся, Ляксея, — она то одна и есть двухсотлетка.

— А как же от ней избавиться?

— Спалить ее надуть, на огне спалить, останется от ей один пепел, разгреби этот пепел — найдешь камень черный — сердце змеиное, и носи ты его всегда с собою...

— Зачем?

— Сердца будешь видеть ихние, все, что сокрыто, в них знать будешь, с ним найдешь себе ясное, насквозь оно тебе видно будет, а найдешь ясное — не бойся его, бери эту девку себе — во всем свете другой по себе не сыщешь. Никогда человек ее не сыскал еще, может и нет такой, а ты поищи, попробуй, может дастся тебе.

— А как же змею то спалить, коли она девкою будет, как же человека то огнем палить?

— Тебе про это уж скажет, — он все знает, это он под печкою лежит смиренный, а он все знает...

И затих дед — на свечку поглядывал молча, а напослед еле слышно...

— Ляксея, почитай Вотчу мне...

Встал Алешка к деду лицом, начал Отчу, — третий раз начал ее — перевернулся старый к стене и закрыл глаза — заснул навеки.

Остался Алешка с ужом в амшанике под печью.

Дождлся весны — пошел по лесам, по болотам гадюку убивать, на суках распяливать по завету дедову, искать змею двухсотлетку.

Пошел по деревням, по селу слух про Алешку, — появился де в лесу парень, да такой, как ни увидит гадюку убьет ее тут же, житья им от него не стало.

Шел Алексей по лесу, видит уж ползет, он и его убить хотел, не узнал что это ужак дедов.

А тот ему говорит.

— Не трогай меня, парень, я тебе пригожусь. Жизнь тебе сохраняю.

— Как же ты это можешь так?

— Снимай рубаху, катись через меня три раза, тогда увидишь что будет.

Снял Алексей рубаху, перекатился через ужа и стал опять белым гадом. Повел его уж к Кудеярову городцу в лес темный, к лесной избушке.

Вошли в нее, стали в углушку, видит Алешка — вся избушка полна змеями, говорят они как ужалить — убить Сыромятного.

Одна змея больше всех об этом заботится, говорит другим.

— Я прикончу его, — как мужики по лесам сено скосят, тут и время, в стоги его сложат — заползу в Алешкин стожок подле амшаника и буду ждать, станет он его под Купала брать — ужалю — конец тогда будет парню.

И видит Алешка, что не змея это, а Уирка, она его ужалить хочет и не уж его привел в лесную избушку, а мужик, Григорий, что к Трофиму приходил когда то.

А тот и говорит ему.

— Теперь знаешь что с тобой будет. Как сено мужики начнут косить, и ты с ними, навей стожок подле амшаника и не трогай его пока мужики не свозят сено, а потом и зажги его, спали эту змею девку, чтоб не она над тобою властвовала, а ты над нею.

Протер глаза Алексей, глядит с печки — гладуш из лесу через порог ползет под печку.

Подумал парень.

— Ну и сон чудной...

Мужики по лесам на полянах гребут сено и Алешка подле амшаника навил стожок.

Мужики домой посвозили — Алешкин стоит не тронут.

И стал караулить он змею двухсотлетку, когда заползет она в него, каждый день подле стога ложился и почевал там и слышал как по лесу девки аukaются, как по вечерней заре гармонь разливается и казалось, что Уирка с девушками по лесу грибы собирает, к ужинам домой возвращается.

Хотелось на нее глазком хоть глянуть...

Пошел даже раз на поповку к Николаю, будто, спросить насчет пчел. Проходил мимо хаты Уиркиной, поглядел на окна — показалось, что смеется кто то, а домой возвращался — на крыльце дожидалась.

— Лексей, что ж не приходишь?...

— Некогда.

— Вместо деда знакулем стал, то то про тебя рассказывают, что ты всех гадюк в лесу поизвел, — правда?...

— Пуцай говорят.

А потом с языка у него сорвалось.

— За амшаником грибов — страсть!...

— Ладно, придем какнибудь, на хозяйство глянем.

И убежала в избу.

Стал Алексей дожидаться подле амшаника Уирку на стожке своем.

Заснул под вечер и не слышал как подошел кто, — а это Уирка от девок отбилась на Алешку поглядеть одной.

Глянула — спит парень, ворот раскрыт — грудь, как кора на дубу, загорелая — взяла из лукошки ягод и насыпала за рубаху, а сама за стожок дожидаться — что будет.

Раскатилась под рубахой суника — проснулся Алешка, подумал что змея заползла; руку засунул — ягоды. Диву дался.

— Откеда они?

И не видел, как змея заползла в стог под амшаником.

Вытряс сунiku, стал завязывать пояс, не выдержала Уирка, за стогом залилась — засмеялась.

Заползла змея, — надо стог жечь и время то под Ивана Купала — девки в лес по чернику, по грибы пришли — костры будут жечь ночью, через огонь прыгать, — быть тому и Алешке костер зажигать — стог палить, змею двухсотлетку.

— Не догадливый ты, Лексей.

— Не думал что ты это?...

— Сам же звал, — чавож тебе, видишь — одна пришла.

— Одна?

— От девок отбилась, девки наши в лесу тут то, — пойдем к девкам — костры разводить будем...

Смеется Уирка, от смеха глаза горят по особому.

У Алешки откуда взялось что: разговаривать стал и к девкам согласился итти.

Аукалась по лесу Уирка — аукались девки, — нашла их на порубках.

— Девоньки, гляньте ка, ведьмак идет!

— Откуда ты его притащила, Уирка?

— Ужли пошел?

— Не боишься его?

— Алешку то? Да он смирный. Мы еще с барышней, с учительской от казаков у него прятались, помнишь, Лексей?..

Пересмевались девки с ребятами, зубоскалили.

И Алешка смеялся и прыгало сердце у него, когда с Уиркой в паре горел, поймать не давал Упоройскому парню. Раз побежал — видит нагонит один Уирку, сил прибавил и не рассчитал — за руку ее охватил, да с разбега остановиться не мог и повалил ее на траву и сам зашумел на нее. Упал, коснулся своей грудью ее и как обожгло Алешку — почувствовал как сердце бьется у ней, как дышет она разгоревшись часто, и покраснел и девка сгорела, хорошо что еще ребята с девками не могли разглядеть — засмеяли бы.

Только потом, когда в паре стояли — руки друг другу сжимали крепко и чувствовали, что никому теперь не разнять их — гореть им до конца вместе.

Не зря по всему лесу эхо горланило, — «Гори, гори ясно, чтоб не погасло»...

Под конец крикнули ребята Алешке.

— Алешка, угощай наших девок медом. Веди в свой амшаник.

Вынес Алешка мед сотовый девкам, накроила Уирка хлеба — поужинали. Казалось он бы все отдал — не жалко было, лишь бы Уирка побыла подольше.

А потом за амшаник вышли, Уирка крикнула.

— Чего там дальше ходить, собирай, ребят, сучья, горюди костер — скакать будем, тащи, Лексей, сена, — заправляй.

Запалил Алешка стожок свой, как уж ему говорил глядуш в избушке лесной на Кудеяровом городище, — запылал стожок — разгорелся костер полымем.

— Лексей, бежим первые!

Полыхает стожок, а в стожке девка горит, прыгает через огонь яркий, шепчет Алешке.

— Не пали, парень, сердце, не томи ты меня, не губи жизнь.

Глянул он на Уирку — красивее девки нет, — обхватил ее, из огня выскочил — вынес.

Выбежал с Уиркою из костра — в темноту, в лес; за шею рукой — целовать, — не противилась, целовала его, аж сердце зашлось у обоих от огня-полымя на земле духовитой, на сыром мху.

Не искали их, не аukaли, — только сучья на костре догорали, а девки с ребятами разбежались по лесу — догорал стожок, — искать было некому.

Догорел стожок — на село возвращаться пора девкам с ребятами, заря занимается.

Пошел Алексей провожать Уирку, довел до села, прощаться стал, она и говорит ему.

— Ну, вот что, Лексей, — жена я тебе, только уговор один — как хочешь ругай меня, не называй никогда змеею, а то беда со мной будет — несчастье.

Согласился парень змеей не ругать ее.

Той же осенью Уирку за Алешку пропили.

Парня в дом приняли — стал хозяином.

На селе Алексей живет у свекрови: зимой в хате, а с весны в амшанике.

Уиркою — не нарадуется.

VIII.

Прямо с полей, в самые жнивы война прихватила мужиков Упоройских.

Собрались скоро и на чугунку.

И Алешку забрали, пошел мужик воевать.

С Уиркой прощался — приказывал.

— Николай Гаврилыч, просил мой мужик пчел глянуть, — будьте добры, ничего я не смыслю в них!

Пошел с Уиркой попович в амшаник, достали ульи, выставил грибы душляные на полянке, рассказал что без него делать и сам обещал поглядывать. И стал ходить Николай Гаврилыч на пасеку дедову досматривать пчел Алешкиных, иной раз до самого вечера с ними провозится, вдвоем и на село возвращаются.

— Скучно тебе Уирка?

— Знамо дело, Николай Гаврилыч.

Идут, думают. Вспоминает Уирка своего Алешку и на поповича поглядывает, сама думает, — вот ведь, счастье человеку, па войну не годился, сидит дома, а тут одна, — Алешку бы повидать, разок бы...

Кончил попович в Москве высшее и не захотел в городе оставаться, потянуло в село его, к пчелам своим, к дому старому, к матери вдовой, к теткам.

Мать говорила ему.

— Колинька, отчего ты не хочешь вместе с Петей устроиться?

— Здесь, мамочка, лучше, — не люблю города.

Устроился Николай учителем в школе земской, поселился в ней, и сидит на пролет вечера за книгами.

Даже господин Теплов удивлялся ему.

Никак барин понять не мог, как это можно образованному человеку пропадать в деревне, — сам то он — осел в селе Упорое хозяйствовать: пасеку развел огромную, мужикам на зависть; машин понавоз с выставки, сарай перебрал заново, лошадей накупил — хозяйствовал.

Война подошла — не стало у Теплова рабочих рук, забрали в солдаты поденщиков из деревень лесных, — без

рук барин, пришлось австрийцев брать пленных, на соблазн солдаткам.

Своих мужиков нет — с пленными стали путаться.

Барин с австрийцами на полях похаживает, а бабы сами с сохой ковыряются, да поглядывают.

Пишут письма солдатам:

— «Кончайте войну, дорогой супруг наш, Миколай Василич, потому хозяйство ваше без рук осталось, ежли еще годок — совсем порежится; побеждайте врага лютого, героем вертайтесь к супруге своей горемышной, — тоскуем без вас, без ласки мужниной»...

На другой год завопила деревня без рабочих рук, до выгребов всех призвали. Пленных бы взять, да иной светлор за невестку боится и соседу своему не советует.

— Узду что ль на нее наденешь от мужика, — без мужика озверели паскуды, на кого зря бросается — караул их, коли в доме враг заведется — удержишь ее — как-же!

И про учителя бабы между собой говорили, про Николая Гаврилыча, — посмеивались...

— Ишь, дармоед, живет не женатый, хучь бы нас принял — облегчил бы капельку, прокаженный.

Поповича в Упорое все звали Колинькой, особенно если росли вместе однолетками, — с детства Николай с ними по селу гонял, в лес бегал, с ребятами испольщиков папаши своего приятелем был, и девченки его тож звали Коленькой; выросли — девками стали — жеманными, Николай Гаврилычем стал, а замуж повышли, обабилась, распоясались и опять Коленькой без стеснения.

Пришла Гашка Зуева к Николаю.

— Коленька, напиши, дружок, моему Ваське.

— Часто ты пишешь ему...

— Терпенья моего без него не хватает...

— Что ж писать то будешь?

— Пиши, дружок, чего сам вздумаешь, а я на тебя погляжу хоть, миленочек.

Придвинулась поближе к Николаю Гашка, да так близко, что почувствовал грудь жаркую и дыхание жадное на своем лице.

— Пиши ты ему, что без мужика пропадать бабочке, некому ее приголубить — измаялась без него; да еще припиши, что на Гашку, мол, Коленька и глядеть не хочет, а она б его прияла — баба лютая.

Отодвинулся Николай от Гашки...

— Говори, что писать Василию?

Смеется сидит молодая бабенка, плечами поигрывает.

— Я те, миленок, говорю, что писать, ай не веришь?..

Встала Гашка, подошла поближе, на плечи руки голые ему положила, нагнулась сзади, обкрутила рукой за горло, — шепчет ему, а сама к себе прижимает, — щека горит, горло сдавлено, задыхается.

— Облегчи ты, Коленька, бабочку, разок хоть, не могу терпеть — сил моих нетути, потому и хожу к тебе, а ты несмышленный какой то, бесчувственный, облегчи меня, Коленька.

Целовать его стала, за шею на себя переваливать, а другой рукой руку ему схватила и повалила его со скамейки на пол; навалилась вся.

Пополовевшая встала с него, глянула — лежит еле дышит, испугалась Гашка, за водой в сенцы бросилась, голову мочить ему стала.

— Коленька, да что ж это ты, с чего ж это?

Очнулся Николай...

— Убирайся вон!

Присела Гашка подле стола на пол и заревела по бабьему в голос с причетом.

— Уходи, Гашка, от меня и чтоб не смела никогда приходить больше, — слышишь? Я Василию расскажу, когда он вернется.

— Жалости нет в тебе никакой, во што, а еще ребят учишь, пороть не велишь, жалеть их приказываешь, а у самого нет жалости. Я к тебе, Коленька, любчик ты мой, как к родному пришла, чтобы ты пожалел меня бабочку, лютость во мне укротил бабью, а ты гонишь. Я тебе ноженьки целовать буду, чего хошь сделаю — не гони ты меня, не гони, Коленька! Разве я со злобы тебя придушила, вот те хрест, и не думала, да я руки на себя наложила бы, коли случилось бы што с тобой. Прости ты меня лютую, не гони от себя, Коленька!

Молча сидел Николай у стола, положив на руки голову; медленно и тяжело дышал, гадко было ему, что может дойти до этого человек, — озвереть до насилия от своей страсти, и через силу говорил ей.

— Гашка, как ты не понимаешь — не может человек этого без любви сделать?

— Да ты полюби меня, Коленька, — ножки тебе целовать буду.

— Разве можно изменять мужу?

— То-то и горе мое, что Васьки то нет, а без него пропадать мне, так хоть ты полюби, касатик, — облегчи мою долю бабью.

— Уходи, Гашка, уходи от меня.

— Гонишь теперь, не понравилась, с Уиркой то слаще, — краля писаная, — угождает тебе, а ты, Коленька, меня тоже не гони, слышь, не гони, я угожу тебе, как хошь угожу, — ножки тебе целовать буду, во как! Пожирь со мной

малость, Уирке то тебя не убавится от того, — слышь, Коленька!

Замолчал Николай, испугался, видит — думает баба, что живет он с Уиркою.

Подошла к нему Гашка, обняла его голову, уткнулась лицом в нее и налипали слезы бабы в волосы, в темя его и холодели там.

Ничего не сказал Николай Гашке, сидел ждал, когда она отойдет от него. Выплакалась над ним баба и винюватая, присмирившая отошла к двери и ждала, когда Николай на нее обернется, скажет чтонибудь.

И сказал он ей тихо без злобы.

— Иди домой, Гаш, не мешай мне, мне надо работать, понимаешь, мне надо книжки читать!

— Так что ж, Коленька, гонишь?

— Не мешай мне сейчас, Гашка, ступай домой.

Ушла Гашка обнадеженная, что будет у пей любчик, пока Василия дожидать будет.

Задумался Николай, сам не знает, как ему от Гашки избавиться, да так, чтоб Уирку не тронула, поклепа бы на нее не взвела, — дойдет до Алешки, не помилует бабы, хоть и любит он ее — разобьет семью ни за что ни про что.

Пошел Николай после этого пчел Алешкиных глянуть и сказал Уирке, когда домой вдвоем возвращались.

— Бабы про тебя говорить будут плохое, подумают, что ты со мной живешь, не ходи ты в амшаник, когда я пчел у тебя глядеть буду.

— По мне что, — пушай чего хотят говорят, я сама себя знаю, сама за собой гляжу.

— Смотри, Уирка, Алексей и сплетням поверит!

Видела Гашка и в этот раз, как пошел Николай к лесу, сорвалась из хаты, и следом, и кралась за ним, дожидаясь

лась в лесу, когда возвращаться будут. Увидела, что с Уиркою возвращается, захватила ее злость бабы.

Вечер тихий, каждое слово по заре заверсту слышится и услыхала Гашка, как говорил Николай и заиграла мысль злобно, что вот де как, — ходить не приказывает, не скажали бы чего про нее, — значит, было дело, коли ходить не велит, Алешки боится.

Редко ходить стал Николай к амшанику, за лето побыл раз пять, на осень улыи оставили в амшаник и успокоился — подумал что и говорить про Уирку перестанут. А Гашка то все лето следила за ними, ни разу с того дня не пришла и письма написать мужу, все дожидалась, что авось прихватит Уирку и не верила, что та не живет с учителем, — прячется просто, чтоб никто не накрыл и затаила в себе зло на бабу.

Осень пришла — бабам повольней время, а тут отпущные на побывку приходиться стали — бабы с ума спятили. Придет солдат — от баб ему нет прохода.

— Отвяжитесь вы, проклятушие, что я вам, жеребец что ль?

— Что ж, твоей одной что ли праздник? У нас обществом. Когда мы своих то дождем в побывку, — ты скажи ка, когда? То-то. А мы то что ль, разве мертвые?...

Одна прибежит — усовестит, другая поплачется...

— Жана, что с бабами стало?

— Нехай их, голубок, — солдатки; изнывают без мужиков.

Иные из побывки сбегали от баб — отдохнуть бы после грязи да холодов окопных, а от баб нет покоя, — поживет, поживет, да и скажет, что срок вышел.

— Что мужичкине, что благородные — озверели проклятые. Сестрицы, те к офицерам лезут, а эти к солдату, тож не хуже сестриц, — беда от них чистая!

Осень подошла — Гашка опять писать письмо мужу к Николай Гаврилычу. Пришла, написала, уходить стала...

— Пожалел бы меня, Коленька.

— Нет, Гашка, не могу я, не вспоминай, а то не буду писем тебе писать.

— Дело ваше...

Нараспев протянула и ушла на Уирку злобная, дорогой думала — ну, если так, я ж тебе покажу, паскуда, дай Васька придет, я про тебя все выложу, он Алешке то перескажет...

IX.

Дождалась Гашка мужика своего, понатешилась вволю с ним, а злобы своей не оставила, рассказала про Уирку всякую небылицу, потому обида у ней залегла, что оттолкнул ее Николай из за Уирки, не взглянул на нее, а другое — хоть и ублагодотворил ее Васька, а хотелось приластиться к Николаю, чтоб полюбил ее; про Ваську своего и не думала, потому это свой, а Колинька вот — красавчик, да к тому ж холостой.

Сказала Василию, а он...

— Ладно, я ему посмеюсь, подожди он, а то ему земляки говорят про валпу нацию, а он все одно, — Уирка, никогда в жисть, — вот я ему про нее выложу! Ты сама то, небось, тож как все?

— Что ты, милай, что ты, Васенька, — да лопни глаза мои, что б я стала, когда...

Не поверил Васька бабе своей и подумал.

— Ладно — коль так, а не так — то ж ладно. От войны все стали зверем. Из лесов то нас выпустили, дорвались до крови — зверями стали и бабы тоже озверели без нас.

В полк вернулся, Алешке про бабу его посмеялся.

— А у тебя пчеловод то хороший, Ляксей, заботливый, до всего доглядывает и за бабой твоей — тож похаживает, — вместо хозяина стал у тебя Николай то Гаврилыч. — Так то Ляксей, что твоя, что моя — одинаковы.

Поверил Алешка земляку своему, как огнем ожгло...

— Ну, не змея ли? А тож просила змеей не называть ее. Как была змеей, так и осталась, не даром Трофим горил мне, — берегись змеи двухсотлетки, — все они — одинаковы что девки, что бабы. Заползла в стог, спалить бы ее — обольстила, гадина... Ладно, дай вернусь только...

Время прошло — к весне опять начались бон.

Упорой опять вестей дожидается, писем ждет от солдат.

Опять по селу в черед бабы голосят, — от соседок про мужей своих узнают.

И Гашка вестей дождалась про Василия, в письме написано: Гашкиного мужика прихватило гранатой — всего разнесло, клочка не нашли.

Осталась солдатка вдовой беспечальнойю, со старухой в избе своей жить, — про Уирку думала.

— Ишь, своего мало, подавай другого, а тут никак-пеньки... пожалеть некому, мой то и на семена никого не оставил. Мне бы детеночка хоть, век бы с ним занималась. Васька то мужик мужиком был, а никак не мог ребеночка сделать, может с того и я непутевая...

И еще сильнее потянуло ее к учителю: осталась вдовой, — свою волю почуяла и не знает покою себе без по-

повнча, тянет на него глянуть, — полюбила его, да так, что ползать перед ним готова.

Дело к весне — набухать стала почка в лесу и бабы зачуяли — потянуло их опять беспокойное. Гашка места себе не найдет, а как к Николаю итти? — Письма писать теперь некому; никак не забудет того раза, когда чуть не задушила его, а своего добилась, — одно только — не поцеловал даже бабу ни разу — обидно ей; поняла теперь, что и правда без любви не бывает этого, потому — хоть добилась, а не по настоящему — одна ревность да злость осталась.

Думала, думала, как пойти на него глянуть, словом перемолвить и надумала опять итти Василию писать.

Под вечер пришла к Николаю в комнату.

— Ты что?

— Письмецо написать, справиться, — может жив мой.

Посмотрел на нее Николай — красивая Гашка, здоровая баба, сильная: бровь черная, глаза с выкатом, как бахрома на кичке — ресницы выгнуты, волос каштановый заплетен змеями, и пожалел Николай бабу вдовую, — знал что вдовая, бумага была в волости, а про старое хоть и помнил, да подумал, что и правда надеется, что жив Вася — мало ли чего на войне не бывает.

— Иди, говори, что писать? Куда?

Подошла к столу, опять за свое.

— Ужли опять прогонишь?

— Говори, писать буду.

— Ай свою ждешь?...

— Никого не жду...

Уставилась Гашка на поповича, глядит на него, моргает....

— Коленька, скажи ты мне, жив али нет он? Писарь сказывал — помер, ужли правда? Что ж теперь я?

И опять не мог понять Николай, что Гашке от него нужно, но угрозу почувствовал, за Уирку ему стало страшно.

— Так что ж, уходить, значит?.. По твоему как, Коленька?

— Думаю, что убит.

— А ты и вдову пожалеть не хочешь? С чужой бабочкой путаться по лесам — это все ничего, а вдову пожалеть — жалко.

Просила Гашка, в голосе Николай слышал, что просить пришла, может в ногах будет валяться, причитывать. По селу про нее знали, что как получила из волости Гашка про своего мужа известие, так и говорит каждому, что не отдаст она Коленьку никому, особенно Уирке; за каждым шагом следит его.

Гашка еще ближе придвинулась и попотом.

— Так что ж, Коленька, пожалеешь ай нет?

Взглянул на нее — жутко стало зрачков черных. Как иглами в голове закололо, может быть можно будет Уирку спасти от наветов...

И когда она, не дождавшись ответа, поднялась, подошла к двери, за скобку взялась и спокойным голосом от обиды беспомощной, спросила его.

— Как же мне, уходить что ли?...

— Оставайся...

Оборвавшимся голосом ответил ей Николай, а сам себе не поверил, что сказал, самому стало жутко, точно одним словом жизнь репилась.

Подбежала Гашка к нему, на шее повисла, глядела в глаза, спрашивала.

— Миленок ты мой, Коленька, ужли правда?

Стиснул ее что силы в нем было. Поцеловал. Сказал коротко.

— Правда. Огонь потуши.

Потушила огонь и всю ночь до света пробыла у него.

С отяжелевшим телом заснул под утро рядом с Гашкою на узкой постели, согревался ее близостью, ее дыханием ровным и медленным. И сквозь сон ему иногда чудилось, будто смотрит она в лицо ему в темноте, мраком глаз, и обхватив руками его за шею, щекоchet подбородок и грудь волосами, пахнущими сухим и горьким, и слушает сердце. Облегченный проснулся и не было странно, что лежит рядом деревенская баба, — лежит баба, от солнца щурится глазами черными.

— Коленька ты мой, касатик ясный...

— Вставай, поздно...

— Сейчас, голубенок, — сейчас...

И как хозяйка заботливо, или нянька.

— Чаек, что ли, пить будешь?

— Иди теперь, Гаш, я опять буду книжки читать.

— Аль опять меня выгнать хочешь?

— Нет, Гашка, — нет! Потом приходи. Дай опомнюсь, одумаюсь.

— Думать то тут, чаво ж, Коленька, — мила тебе — вся тут, а нет — говори разом.

— Подожди, Гаш, подожди... Приходи вечером.

— Непонятный ты какой то, Коленька...

Пришла она вечером нерешительно, боялась, не верила своему счастью бабьему, а Николай обернулся и просто-ясным голосом попросил самовар разогреть и сел с нею чай пить, и стал говорить про то, что в книгах написано.

— Не пойму я, Коленька, мудреное это... брось ты лучше...

Засмеялся Николай и не рассказывал больше про книги, а говорил про мужицкое, про то, что от земли человек кормится и живет ею и опять в землю уходит.

Чаю напились, она убрала посуду и нерешительно остановилась у двери, не зная сама, уходить или остаться?

Спросил ее.

— Ты что, уходить хочешь?

— Куды ж мне итти, Коленька? Не гони ты меня, голубенок!

— Я не гоню тебя, оставайся Гаш!

Осталась, и огонь опять потушила, когда он уже в постели лежал и опять до утра пробыла, проснувшись раньше его, разбудить боясь, не отрываясь смотрела на него с улыбкою и опять щурилась от солнца.

— Ты не спишь?

— Нет, Коленька, рассвело уж.

Уходить собралась, но Николай попросил напоить его чаем и опять пили вместе; Гашка сны рассказала, и убрав самовар, прощаться стала, в первой с поцелуем рукой обвила за шею, как близкого, с кем перед всеми на свету дневном целоваться позволено, и спросила его.

— Коленька, можно, ай нет?

И Николай это понял, поцеловал ее сам в ответ, умиленный Гашкою, и сказал.

— Можно, Гаш, — почему ж тебе нельзя поцеловать меня? Ночью целуешь, а днем боишься?..

Подумал немного и добавил тихо.

— Знаешь что, Гаш, если хочешь — переходи жить ко мне.

— Коленька, светик ты мой, как же не хотеть этого?

— А любить меня будешь?

— По гроб, Коленька, — вот те Христос, Коленька! Лишь бы ты, касатик, меня любил...

И поселилась Гашка у Николая Гаврилыча, берегла его, угождала во всем, боялась ему помешать, когда он сидел у стола за книгами и уходила в кухню работать — пить да стряпать, а вечером самовар приносила, потом тушила огонь и согревала лаской молодость Николая, а он засыпал успокоенный, утомленный немного, просыпался живой, веселый и садился, после школы, за книги — работать. Точно проснулся от глубокого сна и жадно брал жизнь — не мудреную, простую, землей пахнущую, легко ему стало, просто, и работалось вдвое.

Слух пошел по селу, что поповича Гашка окрутить сумела и поселилась с ним, как супруга.

Бабы от зависти смеялись над Гашкою.

— Нашла себе? Дождалась?

— Вам, что ли? Подойди только! Посмей кто. Глазца то выпарапаю.

— Счастье тебе...

Попадья вдовая намекнула сыну.

— Коленька, про тебя говорят, что ты с Гашкой живешь, — дело твое конечно, ты взрослый, только смотри, чтоб после не было худо.

— Она, маменька, хорошая баба, любит меня.

— Смотри сам, Коленька.

И Гашка с Николаем степенною стала, не кидалась на солдат отпускных, как бабы безмужние; раньше при них и сама называла поповича Коленькой, а теперь при других его Николаем Гаврилычем величала и другие то при ней его иначе называть побаивались. Про Уирку забыла Гашка, — успокоилась, поверила, что понапрасну

про нее думала, а забыла, что дело то сделано — на бабу поклеп взвела, через покойника своего, Алешке, — забыло про то и думать. Потом почувствовала, что от Николая она понесла, и думала только о родинах.

— Коленька, затяжелела я.

Тяжелели от солдат отпускных Упоройские бабы — от своих, от соседей, от молодняка наборного, от пленных, лишь бы облегчить свою долю бабью.

Отяжелеет баба — остепенится, на мужика не глядит — ношу несет с важностью и пишет солдату: «Жду приплода в семью после вашей побывки, возвращайтесь домой в здравии».

Иная и опростается, если от чужого да муж грозный, и еще лютей станет после этого, на всех зря кидается и — загниет заживо, а супругу то пишет: — «Супруга любезного жду; измаялась я без вас, Пармен Василич — белесть на меня от того накинута»...

И про недостатки хозяйские писать стали чаще, про разор в хозяйстве мужицком: — «Без вас, супруг любезный, в разор все пошло, без рабочих рук не одолеваем мы в поле, — корову то нашу, бурую — продали; у нас сябер наш, Гаврилин, обезлошадил весною»...

Так и протачивались ручейки эти слезные к мужикам в сердце, в нутро самое, внушая кончать войну.

Потянуло мужиков лесных, — стали дезертиры в селе появляться. Появится чей, — шопотком бабы про него говорят, чтоб становой не узнал или урядник и прячут его на день по закутам, — он хоть и не рабочий человек в доме, — а все — глаз хозяйский, а хозяйский глаз верный, верней его нету. И в волости про него знают и старосте известно, а как про него начальству сказать? Петуха пустит. И — молчат.

Сидит он вечером в хате и бубнит свое...

— Ему то, барину, что, у него австрияки работают, а тут разве управиться бабе одной, не бабье дело... небось, сидит, откушлся, из оконушка на тебя поглядывает, а ты вшей дави по окопам...

Помоложе какой домой прибежит грамотный, да если из лазарета еще на поправку, — обживется в избе, отогреется и пойдет за газеткой к учителю на «Русское Слово» глянуть, а домой к бабам вернется и давай старикам выкладывать...

— У нас бабам Бог простит, потому баба-зверь, а им с жиру, — сестрицами стали все, ей бы по бульвару шляться — она сестрицей табе милосердной, распутствует, Распутина себе завела. Коли царица — таковская, чего ж с бабы то деревенской взять...

Так и цеплялись слова, как репы, слово за слово, и стал Упорой по углам таечком нашептывать слова наговорные про царя, про господ, про министров, им идут барыши с мужичьей смерти — продали они мужика немцам...

— Подожди, дай воротимся, всех пораспросим, почему дома сидел, подле бабы грелся... и до царя доберемся — дай срок!

Х.

Спихнули царя — вздохнул мужик, — войне конец!

И стали опять волосатики, по лазаретам, по городам да селам руками размахивать. Решил мужик, что и в правду война господам нужна: потому что волосатики из господ тех же. При царе война, без царя-тож война, про землю не говорят ни слова.

А там и про землю мужику сказали весной, а мужика то и дома нету — на фронте, — достанется она миро-

едам — и полез мужик на вагоны, сперва без винтовки ехал.

Барин Теплов почитал газетку — задумался: сперва тоже говорил, что свободней будет ему распорядиться земель — продать родовое, либо сынку передать, что от Аленки родился, и засеял поля на радости, а как стали про землю говорить волосатики, вспомнил пятый год и давай из гнездушка поскорей собираться на вылет.

Заслышали мужики, как по селу ехал...

— Прощай, милый, без тебя тут управимся.

Старики тож свое.

— Будя, повластвовал, прошло твое времячко...

Кого в пятом выпорол — те...

— Теперь у нас солдаты то свои пришли с винтовками, не тронешь теперь. Так то!..

А из дальних краев сибирских Уж выполз и то ж на село подался родное. Дома в лесах вырос и на каторге тоже по лесам бродил по тайге.

И Алешка залез на вагон с земляками: под голову — сумку, под бок — винтовку и растянулся на крыше, — весной ехал, на поля поглядывал, на землю барскую.

— Теперь наша земляца, я говорю. А я себе подле амшаника срублю хату новую, — в лесу то вольней...

— В лесу дух вольный...

— С пчелою жить буду, дедовской.

Про лес, про Уирку вспомнил, и не верилось, что спуталась баба с поповичем, знал он его за человека правильного, Трофим про него говорил, что попович то растет хоть бы кому такого. А Трофиму Алешка всегда верил, старик мудрый. И решил Алексей самому поглядеть на Уирку, правда или нет, а потом и расправу чинить.

Слез на своем полустанке, мешок вещевой вскинул, на ремень винтовку и пошел чернозем месить сапогами дырлявыми. Мужик его пеший нагоняет.

— Постой, землячек, пойдем вместе!

Обернулся Алешка, глянул, — незнакомый мужик чей то. Подошел тот поближе — признал Алешка Ужа. Ползет Уж приземистый: бородой зарос черной, волос в скобку, картуз надвинул на лоб, из под козырька седые вихры треплются. Не узнал Уж сына, сколько лет не был дома, а в шинели солдатской совсем не похож на Алешку.

— Откедова ты?

— Упоройский.

— Земляк, значит, — по фамилии как?

— Лексей Сыромятников.

— Трофимов?

И сорвалось у Алешки впервые за всю жизнь.

— Его самый, тять!

— А ты меня почему знаешь?

— Как же не знать, — Трофим помирал, тебя в амшанике приютить велел.

— Разве помер?

— Помер...

И пошли молча. В потемках к селу подходить стали.

— А ты, Лексей, тож сумрачный.

— Быть чему, так сумрачный.

— Что у тебя?

— Баба загуляла, скрутилась с учителем, — земляк говорил; я ей наказывал попросить попovichа приглядеть за пчелой, а он и за пчелами и за бабочкой.

— Не повинен — она виновна, — баба — змея; я тож думал, что барин Аленку сманил, а барин тут не причем — она сука, ее казнить.

Вспомнил Алешка слова дедовы и порешил прикончить змею двухсотлетку.

В Алешкину избу ночевать пришли к ужину.

На жену не глядит Алексей, насупился, — та к нему кинулась целовать его, — рукой отстранил бабу.

— Ты хоть свекра постыдись, — озверели тут!

— А я то, Лексей, ждала как, — все глаза проглядела, — другие домой пришли, а тебя все нет...

— Корми чем, не евши мы. Садись тять. А мать где?

— В городе, Лексей, — от обедов поехала.

Про пчелу спросил, сказала, что Николай Гаврилыч вчера еще из амшаника выставил.

— Вчера, говоришь, а?...

И опять замолчал. Спать собираться — на конике себе примостил. Подошла к нему, в глаза заглянула ласково, зашептала ему, когда Уж на двор по нужде выполз.

— Чего ж тут то, Лексей, послал? Полезай на печку, а тут то свекор. Ждала ж я тебя, Алешенька, сколько годов не видала, а ты?...

— Сама на печь полезай, когда хочешь.

На нее не глядит — в сторону, а по дедовски вобрал в плечи голову.

— Да что ты, родимый, неможется что ль?

Сел на коник; подпер руками, от холодов потрескавшимися, голову и протянул глухо.

— Неможется.

— Ложись хоть на конике, я потерплю, — сколько годов не любила, а один день потерпеть можно, — оздоравливай только.

Взглянул на ее бровь черную, на глаз ярый, затресся в шопоте...

— Гынь, чур, меня, государевой земли, гыню, выню пополам; гынь, чур меня.

— Что ты, Лексей, что с тобой сделалось?

Отмахнулся от ней.

— Уйди ты...

Повалился на коник, с головой шинелью закутался. Мучило Алешку раздумье тяжкое, что — правду, ай нет? Правда, али нет?... Поглядеть надо, что завтра будет, из огня выйдет бабою — неповинна значит, а сгорит — змеей стала.

Пополз Уж утром по селу к дому барскому, на хоромы его поглядеть, на бабищу камонную, на Аленку свою.

Алешка тож собираться стал.

— Уирка, пойдем на пчел глянем, в амшаник дедов.

Ворота закрыл, на замок сенцы и пошел к лесу.

К амшанику подошли...

— Лексей, а помнишь, как тут то мы с девками через огонь скакали?

— Как не упомянуть этого?..

В амшаник зашли — из под печки уж лезет.

— Эх, друг мой, ты еще тут, — жив? Тады ты гсдился мне, как во сне говорил, указал змею, сказал чего делать с ней, и теперь пришел, — ладно, сделаю что говорил — спасибо что напомнить приполз!

— Чевои то ты, говоришь ему, Лексей?

— Да так, старое вспомнилось про ужа этого. Пожди тут капельку, сейчас я...

Из амшаника вышел — дверь на замок и стал подпалывать амшаник с углов, — глядит что дальше будет.

Уирка в окно глянула — амшаник горит, кинулась к двери — заперта, в дверь греметь — никого нет, опять в горницу.

Заметалась Уирка по горнице, вопит.

— Лексей, рехнулся ты? Выпусти...

— Молчи, змея...

— Не называй змеей... Возьми из огня... Выведи! Рехнулся ты... За что жизнь губишь?

Не слушает Алексей, соломки к углям подкладывает, от угла к углу бежит.

Загорелся амшаник с четырех сторон; на поляне свегло — как свеча горит — полыхает крыша.

Уирка стекло выбила.

Напослед крикнул ей.

— Верность блюсти обещала?... Спуталась тут. Озверела, стерва...

— С кем, скажи?

— С поповичем.

— Не виновата я! Лексей, выведи.

Горит потолок в амшанике, Уирка от дыму кричит, задыхается.

— Кто тебе говорил? Скажи... Кто? Лексей...

— Васька Гашкин.

— С учителем Гашка живет, приплод у ей от поповича. За пчелой он ходил, взревновала Гашка, поклеп взвела. Возьми, Лексей, из огня, спаси жисть. Была верна, век буду.

Руки тянет к нему, вся тянется и глаза горят огнем радужным — переливается в них свет ярый и в дыму они, как искры.

Глядит Алешка на них — нутро они пронизали ему правдою, всколыхнули нутро—поверил, опомнился, дверь вышиб, вскочил в горницу, подхватил Уирку на руки. Горит панева на ней полымем—огорнул шинелью солдатской — затухла.

Вывел ее из огня, змею двухсотлетку, вывел бабою, хозяйкою-неповинною, а про камень подумал.

— Пускай его в огне пропадает — не достанется никому, никто чтоб истины про бабу-змею не узнал; пускай сама про нее говорит людям. Пускай ее змеей остается — со змеей жить человеку, она тебя в сердце жалит, изнывать от нее слаще, а если знать будешь — ни к чему тогда баба, стоскуешь с ней. Не должно ее человеку знать... Из огня живой вышла, — значит чистая.

Сжалился над нею Алешка: парнем был — из огня вывел девкою, мужиком стал — из хаты своей на свет вынес женой верною.

Через лес бежал — по кочкам, по пенушкам, по межам без дороги, городами — прибежал прямо к школе, — на руках принес.

— Николай Гаврилыч, приюти бабу — несчастье с ней, обгорела!

Гашка с младенцем выскочила.

Глянул на бабу Алешка...

— Каб не младенец твой, на месте б тебя порешил, гадину...

Вспомнила Гашка, в ногах у постели повалилась подле Уирки.

— Прости ты меня, бабочка, пожалей, моя вина, мой грех, взревновала я тебя к Николай Гаврилычу, как зверь была лютая без мужика — озверела, а потом полюбила я Коленьку, а Ваську убили моего—жить без Николай Гав-

рилыча не могла, ко всем я тогда взревновала его, особливо к тебе, ходил он к амшанику в лес, с глаз были на глаз там — все думала, — я виновата... ради младенчика ты прости мне, Уирка.

— Бог простит, Гашка, — я прощаю.

Еще сильнее прежнего Алексей угождать стал Уирке за любовь верную — ночи просиживал, пока та в себя пришла, поднялась с постели.

На ноги встала...

— Пойдем в лес Уирка, в лесу тихо, по дедовски жить будем в амшанике, — хату тебе срублю новую, амшаник поставлю—жить будем—в лесу дух вольный, — теперь всему мужик хозяин—и в лесу будем дома.

Стал Алексей подле ульев своих по дедовски копоться, под Егорьев день пошел гадюк в лесу заговаривать.

XI.

Поползал Уж, покрутился подле барского дома, никого не нашел—уехали господа...

— Теперь сыщем, по всей земле сыщем—наша теперь кормилица—никуда не уйдет от нас. Барыней стала!.. И барина кончим. Всех господ порешим—с корнем из земли выдернем, на племя не оставим, не уйдете теперь—наши!

И пополз по лесным деревьям мужика подымать.

Вернулись мужики с фронта в берлоги свои и сверкали глазами на добро барское—не решались к нему приступить, дожидались, что указ выйдет мужицкий, как поступать дальше, а вместо указа опять понаехали волосатики с господами, на войну звать, до конца, до победного, — до конца чтоб мужика извести, чтоб не досталась земля ему.

— Ето мы слышали, ты про землю скажи.

— Земля будет ваша, товарищи!..

— Сами знаем, что наша... Говори, как делить то ее?

Как горох из решета—сыпалось: товарищи, граждане, до победного, сперва победа, а потом...

Выполз Уж на середину, стал против барина, давай гвоздить.

— Будя, слышали, ступай сам воевать!

Солдаты поддакивают.

— По тылам околачивались.

— Распутствовали.

— Та во сами прикончили, — теперь мы с вами.

Уж глазами посверкивает.

— Дай сказать, братцы!

— Говори Уж!

— Говори...

— Поезжай, барин отколь пожаловал, пока цел; теперь и без вас обойдемся, управимся, и с землей сами управимся, — правильно говорю, товарищи?

— Правильно...

— Сами управимся...

— Без вас обойдемся.

— Указчики!..

Барин с табуретки прыг и лататы!

Уж впереди мужиков лесных—мужик каторжный—ба-тогами битый, плетью перед бабищей казаками сеченый—кандальный, всю землю насквозь прополз—впереди идет. Повел мужиков добро делить барское.

На телегах ехали мужики за добром господским со всех деревень Тепловских, всю дорогу по лесам гомонили, к селу под'езжать стали—навстречу им Упоройские вышли.

— Вы куда?

— Делить добро барское.

— Мы ближние и добро наше. Наши девки в старину на поклон к господам ходили в невинности, — мы от них патерпелись, а ваши с обманом, с из'яном паскудины.

— Ладно там, подлизы барские... А кому бато гов доставалось, — нам, кого баре забривали в солдаты — нас, и добро наше. Коли хотите — вместе, по доброму делить будем, а так все равно не дадим вам.

Напролом мужики лесные к усадьбе поехали, озлобились против Упоройских, а те—печего делать—всем селом новалили в хоромы Тепловские.

Приехали мужики к управляющему...

— Ну, господин хороший, твое дело паемное—конец твоей службе, теперь мы хозяева; собирай пожитки, ступай куда хошь—управимся без прикащиков.

Не дал от дома ключей—обухами дверь вышибли. Сперва походили по комнатам, подивились житью барскому, глазом хозяйским окинули, что к чему подойдет, а потом принялись.

Уж с топором, — приземистый, как корневище карявое; пальцы—узлы канатные, суковатые—возьмет что полегче —хрустит в руках.

Подшел Уж к роялю.

— Эта музыка нам ни к чему. Правильно говорю?

— Правильно, Григорь Трофимыч.

— Для ей для одной придется избу ставить.

Топором по клавишам, — завывала на все голоса.

— Ишь ты ведь как, проклятая...

Клавиши зазвенели, рассыпались, точно мужицкие за-трещали косточки.

Через дверь балконную со второго этажа в парк ах-нули.

Бабы с девками в кладовые поналезли. С сундуков замки сбили косарями, — ахнули, как увидели платье барское и давай тащить, кто ухватит что. Рвут из рук друг у друга, другие сзади на них налезают.

— Узяла и ступай, другим тоже надоть.

— Куды лезешь, хватит всем.

— Пусти, — глаза выдеру.

До посуды дорвались, хватают как попадя, — звенит стекло, осколки девченки по полу собирают. Рюмочками любят, а рюмочки у господ нежные, не мужицкими руками эти рюмочки держать с самогонкою, — рейнское в них полагается. Ну, да где мужику дойти до этого! Берет баба рюмочку, сама думает: «Мужику моему из ей пригодится выпить, деликатная у господ посудка, — пушай и мужик ей побалуется».

Графинчики прячут за пазуху—грудастей становятся, выносят—толкнуть бояться, не порезаться бы им нечаянно.

Тащит баба ворох растрепанный на берегах и тянется за ней полотенце шитое крепостными девками.

— Старухи работали наши, може моя бабка, — свое добро!

Мужики глядят, посмеиваются.

— Дорвались наши бабы до барского!

— Свое, мужички, свое забираем, не все же господам носить шелка-бархаты, и мы теперь носить будем, — сами барыни станем.

Пыль в кладовых старинная, — чихают от ней бабы мужицкие, а вон не уходят, до последней тряпочки забирают. Сувенирчики всякие именинные бисером шитые под святой угол несут, под иконы повесить в храмовой праздник, полотенца тканые, — бабам все пригодится, а если что, в сундуке не пролежит место.

— У господ лежало и у нас сможет.

Белье делят бабы, — разглядывают, — по десяткам лет коплено, сотни лет слепли над ним девки дворовые с утра до потемок, каждая складочка, стежок каждый следами глаз слепящих перемыто и положено лежать в сундуки не ношеным, пропахло всякими специями, чтоб моль не попортила.

С сундуками покончили—занавесы обдирают на дверях, на окнах, ковры, коврики со стен сдергивают со зверями расшитыми, с тиграми лютыми.

В спальню вошли мужики, — впереди Уж.

На постели глядит барские.

— Как угоднички почивали!

— Угоднички, что и говорить—угождали! Небось бабам памятно!?

Старик один протолкался...

— Тут барин и мою покойницу пробовал.

Стоит Уж, насупился, исподлобья амурчиков вырезных разглядывает, что над головами господскими, как ангельчики, улыбаясь, караулили сны барские про девок залученных; а в ручках у них цветочки-лилии, коими невинность по ночам приветствовали, а кругом них завитки вырезанные, фистончики.

И отяжелела рука у Григория, налилась кровью, топор сжимает.

— Моя тож прохлаждалась тут!

И всадил топорище в амурчика, — раскололся он на двое, головка покатила на пол, легла подле ног Ужовых и посмеивается, точно сказать ему хочет, — а я все видел, я все знаю, знаю и то, как с барином Аленка твоя по ночам целовалась, уж так крепко, да сладко, что нехотя улыбнешся на любчиков, а еще видел, как Трофимова

Марья из под барина убежала и по полу в слезах у господских ног ползала и как барин ее под живот ножками своими толкал оскорбленный, — я все видел, и братец мой — тоже видел, — всех девок, всех молодых барынь встречали мы здесь с радостью...

И Уж стоит про тоже думает, — смотрит на щечки пухленькие, на глазки с хитрецей, улыбающиеся, а у самого глаза наливаются кровью — звереет Уж; топоричем рубить стал — в щепочки размолот амурчика, а за ним и мужики топорами по спинкам гвоздить. Из перин пух полетел по всем комнатам, бабы увидели — набежали.

— Что вы тут, анафемы, — не троньте перины то!

— А вам полежать что ль не пришлось с барином, — жалко стало?

— Чего брешете зря...

— То-то...

Выбежал Уж из спальни как пьяный — мечется с топором по комнатам, мужики следом: увидели портреты господские в крестах да медалях с лентами и давай поносить.

— Живых бы вас...

— Косточки б не оставили...

— В кусочки б всех...

Звенят зеркала, осколки прыгают по стенам зайчиками.

Уж впереди всех — коноводит.

Вбежал в кабинет барский и стал, как обухом по голове его садалули, — во весь рост Аленка его как живая стоит — на патрете писана. Сердце зашло у Григория.

Не видал он Аленку свою барыней в шелках да мехах...

— Ишь ты — совсем барыня, не признаешь, коли встретишься. Вот те и Аленка — совсем живая! Скажите Алена

Васильевна, промолвите с патретики, хоть одно словечко... Сладко вам жилось с барином? И чем вы только обольстить смогли его милость? Не хотите ответить мне, супругу законному? Ай отвечать нечего? Улыбаетесь? Ух, паскуда, еще улыбается. Змея!

Сверху донизу разодрал топором полотно. И в кушочки, на ленточки изодрал портрет Аленкин. Как безумный, кусочки собрал все и на паркете их топором рубил озверевший. Как живую рубил, из паркета щепки в стороны отлетали.

Услышали мужики — помочь прибежали.

До вечера нагружали телеги добром барским, до последнего гвоздика позабрали; коней увели, коров дойных, пасеку барскую по дворам развезли пчеловоды и Алешка повез на поляну дедову, — две телеги уставил и назад не вернулся — в лесу лесовать остался с Уиркою, по дедовски, по Трофимовски, по заветному.

По лесу ехал — одно думал, что пуля его не достала, а теперь и вовсе никто не тронет, — конец теперь.

— И бабище каменной — тож конец, — через нее крестьяне терпели надругателей бар — теперь кончено, и бабам полегчеет без этой змеи каменной и камень черный из под ее никому не надобен — порешат ее нынче. А Трофиму с отцом пришлось от змеи притерпеть, и самого смутила тогда, как пришел к Уирке с отцом в хате, конец бы Уирке был — повели б его к змее каменной. Порешат ее мужики лесные, — кончено!

Метался по двору пух лебяжий, разносил ветер листы книг порванных, грудой лежали они, выброшенные из окон.

Попович пришел собирать их, ребятешек заставил в школу таскать.

— Бери, Николай Гаврилыч. Мы себе тож на цыгарки взяли.

До вечера мужики буйствовали, до вечера учитель книги с ребятишками таскал в школу, а под вечер напоял кто то :

— Небось у господ и винцо было ?..

— Поглядеть надо.

— В подвале, должно.

Пил Уж из горлушка, тоску заливал, поминки справлял по Тепловым, по всем барам, — пил — не пьянел; не из бакальчиков, не из рюмочек, а из горлушка прямо, как все мужики подле казенки пили.

Отбивали мужики о камень горла бутылочные, угощали баб.

— Попробуй, сладкая !

— Уфф... и крепкая...

Крепок мужик лесной, а захмелел таки вечером, к бабам жолез целоваться.

— Теперь наши...

— Погосподствовали... попили кровушки... Будя !

Только Уж крепок, и шампанья его не свалила приземистого да плечистого, только вихры растрепались да глаза налились кровью. Хозяином по двору ходит, поглядывает—жизнь свою вспоминает, поминки справляет за деда Трофима, за всех мужиков; на окна без стекол, без рам поглядывает, бурчит сумрачный.

— Век ползал, сколько годов под окошками на житье их поглядывал, теперь кончено—все порешили, всему конец !

Подошел к бабище каменной...

— Еще тут стоишь ? Бельмы выпучила, стерва грудастая. Конец теперь твоей власти, — кончено. Змея бабища... И тебе конец, порешим теперь !

Во всю мочь крикнул.

— Ребята, товарищи, змею порешим, подле ей мужу приняли, от нее приняли — поклонялись, молились, — теперь будя, кончено это дело, — до них то мы еще доберемся, теперь земля наша, а с земли никуды не денутся — сквозь пройдем — всех отыщем, дай сперва с этою порешим, со змеей бабищей. В пруду ее утопить, чтоб ни следа, ни помину не было !

Веревками обкрутили, — уперлась каменная, в землю вросла идолице, — всем миром сдвинули; за концы взялись с бабами, с ребятишками — сдвинули, понатужились мужики—поволокли в пруд барский через парк, по той самой аллее главной, по какой невесты на поклон ходили к барину через мосточек — поволокли змею-бабу.

Волокнут. Светло... Полыхает дом господский—дорогу бабище освещает, головки по всему саду разносит, — разгулялось нутро мужицкое — в сколько веков — один такой празднуют — с неволей своей кончают.

И вольную, по лесам, по амшарам прадедами сложенную затанули всем миром мужики лютые, — Чуркины с Кудерами певали ее — «В лееесу бору—у дремучем, разбойнички-идут, и на плеча-ах могучих товарища несут... Все тучки, тучки понависли, а в поле па-ал туман, скажи о чем-е задумал, скажи наш атаман ?»...

И с берега, ко дну ухнули, — разошлись круги от того места по озеру, разошлись и пропали—будто и не было на свете змеи-бабы, и по лесам в деревни лесные разбрелись вельные; без дороги шли—светло было от дома барского. — по колеем скрип тележный разносился по лесу.

А сзади всех Сыромятнов Григорий с пригорка спускается, с топором идет Уж—последним ползет—молча—только назад все оборачивается. И легла от него тень вихрастая до самого леса—по всей земле легла тень черная—обволокла собою все поле—голова в лес уперлась...

Владислав Ходасевич

ПЕСНЯ ТУРКА

Прислали мне кинжал, шнурок
И белый, белый порошок.
Как умереть? Не знаю.
Я жить хочу — и умираю.

Не надеваю я шнурка,
Не принимаю порошка,
Кинжала не вонзаю, —
От горести я умираю.

★

ДАЧНОЕ

Уродики, уродища, уроды
Весь день озерные мutilи воды.

Теперь над озером ненастье, мрак,
В траве — лягушачий зеленый квак.

Огни на дачах гаснут понемногу,
Клубки червей полезли на дорогу,

А вдалеке, где все затерла мгла,
Тупая граммофонная игла

Шатается по рытвинам царалин,
И из трубы еще рычит Шаляпин.

На мокрый мир нисходит угомон...
Лишь кое-где, топча сырой газон,

Блудливые невесты с женихами
Слипаются, накрытые зонтами,

А к ним под юбки лазит с фонарем
Полуслепой, ширококоротый гном.

★

Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Бесстрашно вверх болтливым струнам
Ее святые мятежи.

Будь нетерпим и ненавистен,
Провозглашая и трубя
Завоеванья новых истин, —
Они ведь новы для тебя.

Потом, когда в своем наитьи
Разочаруешься слегка,
Воспой простое чаепитие,
Пыльцу на крыльях мотылька.

Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни,
И мир, обдуманый спокойно,
Благослови иль прокляни.

А под конец узнай, как чудно
Все вдруг по новому понять,
Как упоительно и трудно
Привыкши к слову — замолчать.

Панайот Истрати

КОДИН

Перевод с французского

Прежде чем поселиться на этом дворе, мы прожили несколько — наиболее сознательных лет моего детства, — в части города называемой «Комаровка». Моя мать такой человек: как только вокруг нее начинают сплетаться интриги, она немедленно переселяется на другое место.

Стоит ли говорить о том, как эти перемены местожительства были богаты для меня впечатлениями? Даже праздники Пасхи и Рождества являлись в моих глазах событиями менее значительными. Так узнал я самые характерные улицы и кварталы нашего города: русский, еврейский, греческий и цыганский, везде наблюдая новые нравы и обычаи. Мать же моя сообщая мне радостную для меня, и всегда печальную для нее весть о новом переселении, говорила, наученная горьким опытом:

«Различные народы разны молятся Богу, но все одинаково оскорбляют Его».

Каждая перемена жилища стоила маме три дня пропущенной поденной работы, и это удручало ее, не говоря уже об утомлении, ломке вещей и других неприят-

К о д и н

143

ностях. За несколько недель до истечения срока найма квартиры она рыскала по городу, ловя глазами билетки с надписью «сдается»; они были для нее также понятны, как и для грамотного человека. Затем наступал канун переезда, трудный день чистки двух нанятых комнат, которые почти всегда оказывались оставленными предыдущим жильцом в невероятно грязном виде. Она мыла горячей водой панели, выводила клопов, вытаскивала из стен множество гвоздей, затыкала мылом, серой и отравленным тестом все щели и мышинные дыры, белила стены известью и покрывала пол желтой глиной, смешанной с коровьим навозом; мать моя не доверяла деревянным полам, служащим гнездами для клопов. Наконец, наступал день забавного путешествия за тележкой, нагруженной пожитками, когда мама с большими предосторожностями несла наши две великолепные керосиновые лампы, а я будильник, — единственные предметы, которые она не решалась укладывать после одного злополучного переезда, когда она нашла свои лампы разбитыми, а будильник испорченным.

Мне исполнилось 12 лет; в дождливый день в конце апреля мы устраивали наше новое жилище. Поздно вечером, когда все вещи были кое как расставлены по местам, моя мать в изнеможении опустилась на край своей постели в прихожей, служившей одновременно и кухней:

«Вот, дитя мое. Дело сделано... Мы спустились ступенью ниже... Мы в «Комаровке», — это квартал с худшей репутацией во всем округе. Да хранит нас Бог от злых людей; но я должна была перебраться сюда,

чтобы сэкономить два франка в месяц на квартирной плате. Это составляет 24 франка в год, а на эти деньги я могу одеть тебя. Постарайся быть умницей, — каким ты был до сих пор... В этом квартале люди свирепы и лучше не иметь с ними дела: мужчины убивают друг друга, мальчишки проламывают один другому черепа и рвут друг на друге то небольшое, что на них надето. Ты не станешь огорчать меня принимая участие в их играх и драках: я умерла бы с горя, если бы ты делал это...»

У мамы тогда было мало денег; в течение предыдущей зимы болезнь, явившаяся последствием простуды, продержала ее больше месяца в постели и заставила издержать все сбережения. Одна беда всегда влечет за собой другую, и, когда мама поправилась, оказалось, что в нескольких домах, где она стирала поденно, ее заменили другие прачки; таким образом одну неделю в месяц она оставалась без работы, что для нас означало много лишений, так как моя мать ни за что не хотела забирать в долг у бакалейного торговца и никогда ни у кого не занимала «охапку дров» или немного кукурузной муки, — долги, которые обыкновенно забывают платить. При всем этом она считала своей обязанностью одевать меня опрятно и никогда не пускала босиком на улицу. Хотя мы были «недалеки от сумы», она всегда ухитрялась отыскать хозяина, соглашавшегося пустить ее в квартиру с ребенком, который «не делает шума» и с несущимися курами, «которые всегда сидят взаперти». Я должен вам сказать, что для моей матери все радости жизни заключались, — кроме ее мальчика, — в курах и цыплятах, которых она кормила остатками хлеба, собранными в домах, где работала, а также в многочисленных горшках с цветами, за которыми она ухаживала утром и вечером,

подолгу беседуя с ними, расхваливая красоту цветов или спрашивая их о причинах непонятной грусти.

Нас навещали раз в месяц дядя Дими, и раз в полгода дядя Анжел, принося кто что мог: немного дров, кукурузной муки, фасоли, тыкв или картофеля, вина и водки. Дядя Анжел, который был побогаче, спрашивал маму, не нужно ли ей денег, но она неизменно отвечала:

«Нет, брат; благодаря Бога, когда трудящийся здоров, он не терпит нужды».

Таково было наше положение в то время, но тем не менее оно было еще много выше общественного уровня «Комаровки».

Этот квартал представлял собой скопление всей городской нищеты и являлся единственным пригородом, в который полиция не рисковала появляться ночью. Я это узнал в первый же день по переезде.

Наша соседка справа, подруга детства моей матери и владелица дома, а также вдова, сдавшая нам комнаты, пришли помочь нам устроиваться, разделили с нами трапезу и рассказали вполне достаточно для того, чтобы дать мне понятие об ужасной жизни, окружающей нас. Они жалели мою мать.

«Жаль, Зонца, что ты дошла до этого... Правда, что у тебя нет дочери невесты, или взрослого сына, которому пришлось бы с ножом в руках отбивать местных красавиц у всех этих негодяев. Но право, это не место, чтобы воспитывать ребенка, хотя бы такого умницу, как твой... Представь себе, дорогая, что здешние сорванцы с гордостью подражают примеру старших: в тринадцать

лет они уже курят, воруют в порту, напиваются, растлевают девченок и орудуют ножом».

Весь день рассказывали они про Комаровку, и моя мать, боясь, что я услышу вещи не предназначенные для детских ушей, то и дело хмурила брови и толкала своих приятельниц локтем или ногой, чтобы заставить их замолчать.

Мое любопытство было особенно возбуждено, когда за вечерним чаем они начали в пол-голоса говорить о наших соседях слева. Обе кумушки делали страшные лица, широко раскрыв глаза и кусая губы, и качали головой, предвещая беду. В их тихом говоре постоянно повторялись слова: «мать Анастасия», «Кодин», «бедная женщина», «убийца». И я понял, что злой человек, по имени Кодин, только что вышел из тюрьмы, что этот человек переворачивал вверх дном весь квартал, придирался ко всем и пускал в ход нож.

В этот вечер я лег спать полный страхов, и долго не мог заснуть. От пола, слишком обильно смазанного навозом, подымался смрад; меня мучило.

Я ходил в школу, она была далеко, и оставался обедать в классе вместе с бедными детьми, живущими, как и я, в слободе. Но в следующее воскресенье я пошел на разведку и перед моими глазами открылся новый мир.

Площадь Комаровки представляла собой большое пространство, в форме овального амфитеатра, с выходами по обоим концам: один, обычно безлюдный, вел к бойне, другой к казармам кавалерии, в город и порт. Площадь занимала по крайней мере две десятины и вокруг нее беспорядочными рядами теснились маленькие домики, по-

крытые белой или желтой, забрызганной грязью, известкой, с двумя окнами на фасаде, ставни их выкрашены в ультрамариновый или ярко-зеленый цвет. Посередине изрытых дворов высились горы грязи, отбросов, стояли лужи зеленой воды, в которых валялись трупы кошек, собак, кур и поросят; их пожирали большие голодные свиньи.

О, все это мало радовало меня.

Наш дом стоял в том конце овала, который вел в город. Почти прямо против наших окон, на противоположной стороне большого круга, служившего учебным полем для кавалерии, находился знаменитый кабаk вдовы Анжелины, стяжавший себе известность благодаря Кодину и закрытый полицией после его преступления. Там пьянствовали молодые люди, отплясывая под звуки завывающей шарманки; а перед кабаком мальчишки всех возрастов курили папиросы и грызли семечки, завидуя тем, кто мог танцевать и напиваться.

Солнце, которое я до сих пор привык считать щедрым другом человека, зарождало здесь заразные миазмы, которые распространялись главным образом грудями прогнившей кислой капусты, целыми бочками выбрасываемой на улицу с наступлением весны. В сторону бойни, за которой виднелась зеленая даль, вдоль разбитой дороги почти перед каждой дверью сидели на корточках женщины, болтая и грызя семечки, которые торговки липованки высыпали им в передник. На меня они глазели, как на чудо; я был единственный мальчик, одетый опрятно, я носил сапоги и белый воротничек. Десятки играющих мальчишек носились босиком по пустырю, простоволосые, грязные, в отрепьях, худые и злые на вид.

Лишь только я миновал последние дома слободы, на меня пахнуло теплом ранней весны и обвеяло душистым дыханием еще не просохших полей. Повсюду мощно и радостно росли дикие травы. Тут я заметил, что меня отделяет от бойни широкий ров, — остаток древних укреплений Браилова; по дну рва между двух зеленых, испещренных тропинками, откосов пролежала железная дорожка.

В то же мгновение я услышал свист за своей спиной. Я обернулся: в ложбинке лежал человек и подзывал меня знаками. Я приблизился к нему.

Это был слобожанин, лет тридцати, атлетического сложения. Он был чисто одет в праздничное платье, я сказал бы даже одет с известной роскошью, простонародной и причудливой; облакачиваясь на локоть, он любезно улыбался. Его лицо уродовали следы свежих порезов бритвы, заклеенные кусочками папиросной бумаги. Черные усы закручены, волосы, намазанные маслом, ловко причесаны. Куртка его лежала на земле, он щеголял рубашкой с пластроном и манжетами в желтую и белую полоску, а также жилетом и башмаками, украшенными ручной вышивкой из пестрой шерсти. Вокруг его исполинского туловища был обмотан в несколько рядов широкий белый шерстяной пояс, плохо скрывающий большой нож в кожаном футляре. Около него валялась новая шляпа и узловатая дубина из обожженного кизила. Если бы не свирепый взгляд его глаз, я бы подумал, что передо мной находится один из тех портовых рабочих, которых называют «вагонщиками», и которые, по праздникам, превращаются в неистовых гуляк и диких любовников.

Не знаю почему, я меньше боялся таких людей, чем мальчишек, ловко кидавших камнями, меня притягивала

тайна их беспокойного существования, но до сих пор я не релался приблизиться к ним.

Я храбро подошел к человеку и снял шляпу.

«Скажи-ка, малыш», проговорил он, не подымаясь, «не будешь ли ты так любезен отнести эту записку в тот дом?»

Не дождавшись моего ответа, он стал объяснять:

«Там, налево, третий с угла; спроси Ирину, подожди пока она прочтет и ответит: да или нет. Вот и все. Иди, молодец, иди скорей»...

Я с радостью побежал. Во дворе указанного дома появилась вызванная мной молодая девушка, одетая празднично, очень красивая, но с заплаканными глазами и злым, угрюмым взглядом. Она быстро прочитала записку и, уже повернувшись, отвечала на ходу:

«Я посмотрю. Не знаю. Скажи ему, что я не знаю».

Я вернулся с ответом. Он прикусил губу, заскрежетав зубами; но затем немедленно черты его осветила улыбка добродушного палача и он проговорил тихим голосом:

«Постой, я дам тебе грош!»

Он вытащил из кармана один из тех кошельков с бусами и бахромой, которые фабрикуются в тюрьмах, и протянул мне медную монету.

«Благодарю сударь: я не могу это взять».

Пораженный, он опустил руку.

«Ты не можешь взять? Почему?»

«Потому что моя мать говорит, что ничего не следует брать за оказанную услугу».

«Вот так штука! Это недурно». Он сел. «Скажи ка мне, мой мальчик, ты не заблудился ли случайно в Ко-

маровке? Кто такая, твоя мать? Где вы живете? А как твое имя?»

Мне хотелось засмеяться в ответ на этот град вопросов и при виде его удивленной физиономии. Я отвечал ему без колебаний. Когда я назвал имя нашей хозяйки, он хлопнул тяжелой рукой по траве, воскликнув:

«Чорт возьми! Мы соседи. Меня зовут Кодин. Ты слышал про Кодина?»

Не знаю, назвал ли он свое знаменитое имя с целью доставить мне удовольствие; но услышав это имя, я невольно попятился. Кодин? Да, наружность его соответствовала репутации! Мне стало совестно за свое невольное движение, я постарался принять непринужденно-спокойный вид. Он заметил это.

«Ага!» воскликнул он, поднимаясь, и выпрямился подобно фабричной трубе. — «Ты тоже плохого мнения обо мне? А почему, ну-ка? Скажи, малыш, почему? Сделал я тебе что нибудь — тебе или твоей матери?»

Я не мог сказать ему, что его называют убийцей. Он взял меня за подбородок:

«Знаешь ли ты, что это значит: сделать зло человеку?»

«Это значит заставить его страдать», промолвил я.

«Нет, простофиля. Ты не угадал. Зло, единственное зло, это несправедливость: например, если ты поймаешь птицу и посадишь ее в клетку, или станешь бить свою лошадь вместо того, чтобы дать ей овса. Вот это несправедливость. Есть еще много других. Значит, ты испугался, узнав, что я Кодин? Видишь ли, мальчуган, ты мне кажешься другим, чем наши мальчики: ты первый ребенок, который сказал мне, что не следует брать денег за услугу!

Да будет твоя мать счастлива, малыш, но знаешь ли ты, как красиво то, чему она учит тебя? Здесь, у нас, происходит обратное: у того, кто дает один грош, требуют второй. Мне приятно быть твоим соседом. Такой деликатный маленький человечек. Такие встречаются в нашем квартале еще реже, чем слоны! Ты сказал, что тебя зовут Адрианом? Хочешь, Адриан, будем друзьями? Ты научишь меня тому, чему тебя учит твоя мать, а я расскажу тебе то, что я знаю, а знаю я многое, Адриан, но я зверь. Итак, хочешь ли ты, Адриан, чтоб мы были друзьями?»

Кодин вращал маленькими, живыми и умными глазами, и хотя не было ничего мягкого в выражении его грубого, с резкими чертами, лица, оно все же притягивало меня к себе силой, против которой я не мог бороться. Одни только зубы, до совершенства правильные и белые, смягчали жесткость этого мужественного лица с челюстями хищного зверя, и придавали ему, — если можно так выразиться, — человеческое выражение. Когда во время короткого, искреннего смеха вдруг показывались эти зубы, они неожиданно освещали все лицо, рассеивая страх и внушая доверие.

То, что он говорил мне про мои манеры, не являлось для меня новостью. Но вот, что было ново и поразило меня: его желание приобрести мою дружбу, а также потребность казаться в моих глазах другим, чем его все считали. Я был развязным мальчиком, развитым для своих лет и не робким. Я отвечал ему:

«Я ничего не могу обещать вам, не спросив совета моей матери».

Он показался огорченным.

«Нет!» — молвил он. — «В таком случае лучше ничего не говорить ей; мне хотелось бы, чтобы ты рассуждал

самостоятельно. Мать твоя не может думать иначе, чем все. Ну, прощай, Адриан! И спасибо за услугу!»

Он удалился, волоча за собой дубину, перекинув куртку через плечо и держа руки точно атлет из цирка.

Я ничего не сказал матери, но смущение мое было велико. От природы меня всегда тянуло к людям старше моих лет. Дружба с мальчиками моего возраста, цель которой была обыкновенно формирование воюющих между собой отрядов, была мне противна. Чувство враждебности настолько присуще им, что достаточно незнакомому мальчику пройти по улице, чтобы в него тотчас же полетел камень. Мать моя была в ужасе от этого, а я — еще более.

Мне казалось вполне естественным быть другом человека в три раза старше меня, и таким образом появление Кодина было кстати. Но у него-то, которого называли убийцей, — откуда взялось у него желание нежной дружбы, когда все его прошлое полно жестокости и насилий? Это не может быть выдумкой, раз все это утверждают! Для чего нужна ему моя дружба? ... И какое ему дело до того, груб-ли какой то мальчик, или нет? Еще вопрос: каким образом мог он разгадать мой характер по такому незначительному поступку?

Я тщетно мучился над этими вопросами, но желание разрешить загадку было так сильно, что в течение последовавших за тем воскресением дней, я принялся следить за жизнью Кодина. Это продолжалось больше месяца.

Вечером, до возвращения моей матери с работы, я был уже на дворе. К вечеру кабак Анжелины наполнялся пор-

твыми рабочими, которые приходили «подкрепляться». Сгорбленные, покрытые пылью, с исцарапанными плечами, но молодые и коренастые с вырубкой в кармане, превышающей в четыре раза самую высокую поденную плату, — они «подкреплялись», поглощая стакан за стаканом огненной водки или сомнительного вина. На жаровню непрерывно подбрасывались груды живых рыб, распространявших далеко вокруг вкусный чад поджаренного масла. С появлением звезд на небе приходили скрипачи-цыгане, и часть гуляк, самых заядлых и беспашных, предавалась безудержному, неистовому пьянству. Тогда, в разгаре песен и плясок, от которых дрожала земля, опрокидывались столы, ломались тарелки, «друзья» неожиданно припоминали забытые оскорбления, старые обиды и неудавшуюся месть, как будто спохватившись, что нет настоящего веселья без нескольких вывихнутых челюстей, рассеченного бутылкой черепа или изувеченного до неузнаваемости лица. Воскресные и праздничные дни отмечались более обильным пролитием крови, чем будни, — крови, бьющей фонтаном из пронзенного ножом бока или вытекающей из распоротого живота.

Конечно, эти попойки не обходились без Кодина. Но участвовал он в них своеобразно. Он был «исполнин порта»; он назывался так благодаря своему саженому росту, своей работоспособности, силе и проведенным в тюрьме годам; но тоже и благодаря своей «мудрости», своей «нравственной доблести».

Эта «нравственная доблесть» толковалась характерным для нашего предместья образом. Компетентные люди говорили: — «Никто не сумеет распороть живот или нанести удар в сердце более «открыто и честно», чем Ко-

дин. Говорили еще: «Кодина нечего бояться: он не во-лсчит пояса»¹⁾).

Мрачный, как медведь, сказочный Кодин, который «пил и ел как семь человек», стоял перед кабаком, поставив ногу на стул, с цветком герани за ухом, чистый и опрятный, несмотря на «два вагона зерна, выгруженные им одним», он отправлял в свой рот, похожий на пасть шимпанзе, дюжины маленьких рыбок и куски поджаренной печенки, поглощал пять литров вина, — все это в промежуток времени нужный для того, чтобы «вычистить скребницей лошадь» или «поколотить женщину», он жевал не пропуская при этом ни одного звука скрипки, монотонно наигрывающей ему в ухо слащавую мелодию, ни одного напева жалобной песни, которую пел его друг Алексис.

Алексис? Известность его не могла сравняться со славой Кодина, но он справедливо считался знаменитостью, благодаря дружбе с Кодином. Нельзя было произнести имени одного, чтобы не подумать о другом. Более того: как гремучая змея выдает свое присутствие шумом хвоста, так Кодин, в безмолвии летних вечеров предупреждал мирных прохожих о своем появлении посредством высокого, женственного, звучного и красивого голоса Алексиса, — ибо все знали, что Алексис поет только для Кодина.

Хилый, хитрый и живой, как белка, гораздо моложе своего друга, Алексис обладал приторной, лишенной мужественности красотой; во время пения он застывал не-

¹⁾ По румынски: *țirîe brîn*, — забияка, который развязывает свой широкий шерстяной пояс и оставляет конец волочиться по земле, чтобы дать возможность комунибудь нечаянно наступить на него: способ вызвать ссору

подвижно, прислонившись к плечу Кодина. Глаза его закрывались, шея вытягивалась, забытая папироса догорала между пальцами, ничто не двигалось в теле кроме губ, подбородка и кадыка, похожего на изгиб тромбона.

Его поза была так забавна, что многие из присутствующих не могли подавить в себе желание посмеяться; впрочем, это желание обыкновенно быстро исчезало после первого стакана вина, который Кодин выплескивал им в лицо в виде предупреждения; в противном случае, после этого первого великодушного по отношению к обидчику жеста, Кодин бросал в него все, что находил на столе.

Не один вояка хвастал дружбой Кодина; действительно, когда он находил это пугным, он многим помогал своим кулаком, иногда страшной дубиной, но никогда кинжалом. Однако никто не помнил, чтобы за его столом — почетным столом, — сидел ктонибудь другой кроме его единственного друга Алексиса. Самое большее, если удавалось чокнуться с Кодином, сидя за соседним столом с ним.

Замешавшись в толпу мальчишек нашего квартала, хотя и не принадлежа к их компании, я ходил на даровое зрелище, которое представляли для меня эти люди, проводившие жизни в тяжелом труде и ужасных забавах. Но цели у меня с мальчиками были разные. Они шли учиться, как надо пить, ругаться и сражаться. А я, — чего искал я среди героев? Я тогда сам хорошо не знал этого, но меня можно было видеть каждый вечер, прислонившимся к одной из больших акаций, окаймлявших тротуар у кабака, и следящим за Кодином. Первый раз, когда он заметил меня, он подмигнул мне глазом с улыбкой добродушного быка и поднес указательный палец к губам как будто говоря: «Пусть то, что ты знаешь, останется между

нами!» Затем все также незаметно для других он ловко поклонился мне, поднеся палец к полям своей шляпы. Но раз когда я осмелился сесть на конец одной из скамеек, считавшихся собственностью зевак, один из бездельников схватил меня и сбросил на землю ударом ноги. О, горе! Кодин прыгнул, как тигр, на моего обидчика, одной рукой высоко поднял на воздухе бедного парня, и бросил его на острые камни дороги. Я сразу стал знаменит в нашем квартале: Кодин, великий Кодин, обратил на меня внимание! Меня надо было опасаться!..

Необходимо было выразить благодарность визитом, — что я и сделал.

В моей жизни школьника один только четверг был лучше воскресенья, в этот день я всецело предоставлен самому себе. Не то, чтобы моя мать мешала мне идти куда я хочу, но я знал, что по воскресеньям и праздникам она любит проводить часы досуга со мной; поэтому я оставался с ней в эти дни и только по четвергам мог вдыхать полной грудью неземное блаженство, которое дает сознание полной свободы, — даже от уз материнской любви.

Обыкновенно целью страстно любимых мною прогулок по четвергам были порт и Дунай.

Я вышел через «Дунайский брод» и пошел вдоль бесчисленных «постов» на грузки, где люди-муравьи переносили зерно в плавучие дома; я внимательно осматривал все эти места, но не находил Кодина. Не работал ли он в других пакгаузах? Мне не хотелось искать его там и я разочарованно уселся на чурбане около последнего «поста», повернувшись спиной к рабочим и лицом к реке. Погода была чудная; я подремывал следя сонным взором

за медведкой, которая Бог знает как попала сюда из какого-то сада и теперь неловко передвигалась у меня под ногами; — вдруг маленький речной камешек подкатился и ударился о мою ногу. Я обернулся и видел в десяти шагах от себя Кодина, но, Бог мой! на что он был похож! Я с трудом узнал его. Он был в кальсонах, как большая часть «вагонщиков», и босиком, голова его была обвязана большим пестрым платком, — туловище, руки и шея, поросшие волосами, делали его скорее похожим на медведя, чем на человека.

Я встал. Он быстро подошел, видимо довольный выражением моего лица, и протянул мне лапу, в которой исчезла моя рука:

«Привет, fratello»¹⁾, промолвил он ластивым голосом, и в устах его слова эти прозвучали как будто он говорил: «Я ягненок, который питается волками».

«Я пришел поговорить с вами, г. Кодин», быстро выпалил я, боясь, что не выдержу и удеру.

«Ага!» воскликнул он, схватив свой платок и обтирая им пот с шеи и груди. «Ты хочешь говорить со мной? Ну-с: я не согласен!»

Я был удивлен. Я смотрел на него, и хотя был велик для своих лет, но он был так высок, что у меня заболела шея.

«Вы не согласны? Почему?»

«Потому что, если твоя мать учит тебя хорошим вещам, то моя мать, т. е. жизнь моя, тоже учит меня многому хорошему; например тому, что не следует обращаться к другу, как судебный следователь, — как делаешь это ты, называя меня «господином» и на вы».

«Я не знал».

¹⁾ Братиска

«Знай, *fratello*! На каторге, в тюрьме и между друзьями не говорят «вы». Говори теперь, но называй меня просто: Кордин».

Сказав это, он обнял меня и отшел подальше. Я почти не чувствовал его руки на своих плечах; можно было подумать, что это рука ребенка.

«Зачем ты искал меня, Адриан? Я спрашиваю, а сам поджидал тебя!»

«Правда?» спросил я, счастливый. «Из-за того вчераш?»

«Из-за многих причин: ты слаб там, где я силен, и силен там, где я слаб. Не правда ли, *fratello*?»

Я засмеялся, кивнув головой в знак согласия, но мне эти слова показались шуткой. Если бы к этому он еще прибавил: «Мы должны опереться друг на друга», — я увидел-бы себя раздавленным его тяжестью.

Мы стояли у воды. Он вымыл ноги и туловище до пояса, затем вытащил из под перевернутой лодки свое платье, завернутое в большой платок, и оделся.

«Ты больше не будешь работать, Кордин?» спросил я, смело говоря ему «ты».

«Нет, я передал свой мешок другому». Он причесывался, смотрясь в карманное зеркальце.

«Ты уже передаешь свой мешок в 9 часов?»

«Да, иногда. Это тебя удивляет?»

Действительно меня это удивляло. «Мешок» — это работа, которая лучше всего оплачивается. Я знал, что на рассвете происходит борьба, чтобы получить ее и что слабые остаются без работы, если кто-нибудь не передаст им случайно свой «мешок». Но кто же передавал его в 9 часов, получив его на заре?

Я искал объяснение в горящих глазах Кодина. Он отвечал мне не без хитрости, расчесывая свои усы:

«Я люблю работать пока прохладно».

«Не в этом дело; скажи мне правду, Кордин»...

«Эге, цыпленок! Если ты ищешь правду, приходи как-нибудь со мной в часа четыре утра, и ты увидишь раздачу мешков... Тогда ты согласишься жизни в лицо и узнаешь то, чему тебя не учат в школе».

Я закричал возбужденно:

«Я хочу видеть это завтра же!»

Затем, подумав немного, я прибавил:

«Есть одно затруднение, как выйти так, чтобы меня не заметила мать, так как мне приходится проходить через ее комнату?»

Кордин спросил:

«Ты спишь в комнате на улице, не правда ли? Ну, так я выпущу тебя через окно!»

«Но в нем есть решетка».

«Ну, решетка!» ответил он с пренебрежительным жестом. — «Лишь бы твоя мать не имела привычки заглядывать к тебе раньше, чем идти на работу».

«Нет, она всегда боится меня разбудить».

«Отлично! Итак, до завтра, *fratello*! Но, ты ведь хотел что-то сказать мне?»

«Да, в другой раз, когда ты не будешь так торопиться...»

«Ладно! И ты знаешь? Молчание!»

Говоря это, он приложил указательный палец левой руки к губам, а правой горячо и осторожно пожал мою руку.

Страх не проснуться во-время, мешал мне спать спокойно в эту ночь. Я почти каждый час слышал, как били часы, слышал пение петухов и крики пьяных. Я был уже одет, когда окна посветлели; вскоре громадная черная фигура Кодина загородила собой окно. Я открыл его и попытался высунуть голову сквозь решетку. Надо было слегка раздвинуть две перекладины. Кодин прикоснулся к ним и они поддались, как-будто были сделаны из резины. Когда я пролез, он снова выпрямил их.

Было свежо. Повсюду открывались двери и работники направлялись крупными шагами к порту. Издали доносился ритмичный и внушительный шум сотен тачек.

Кодин свернул с Карантинной улицы; он стал взбираться по тропинке, которая пролегалла за казармами окаймляя высокий мыс, где воняло навозом и домашними отбросами. В этом месте плоскогорье отвесно обрывалось в долину Дуная. На нем расположены были обширные конюшни и склады фуража.

Часовые, с ружьями через плечо, молча стояли на своем посту. Кодин остановился.

«Подождем здесь минутку», тихо промолвил он. «Сейчас придет Алексис. Ты знаешь Алексиса? Вот уже три года, как щеголяет в чортовом наряде. К счастью он служит в территориальных войсках, — это не так тяжело; только одну неделю в месяц приходится проводить в казармах. Алексису нужно, может быть, денег или табаку. Ты понимаешь, старина: рот главное несчастье человека, — он всегда чего-нибудь требует!»

Он говорил тепло, но выражение лица его стало жестким.

Был разгар июня. Перед нами бледнело на востоке багряное небо, заливая мир мягким, нежным светом. Вни-

зу уже обрисовывался во всех подробностях порт. Вдруг, металлический звук трубы рассек воздух. Трубач, стоя посередине двора, держал свой инструмент, и каждый звук бесконечных модуляций сигнала зори, звучал хвалой рождающемуся дню. Этот утренний гимн заставлял все мое существо трепетать. Солдат представлялся мне гением и чудилось, что звук его призыва так преобладает в эту минуту над всеми звуками земли, что вся вселенная слушает его. Когда сигнал смолк, мне показалось, что сердце мое разрывается и я лечу в пропасть. Я разразился слезами.

Досадуя на присутствие свидетеля, который наверно станет смеяться надо мной, я повернулся спиной к Кодину. Но, о удивление! Рука его опустилась на мое плечо, — страшно тяжелая, увесистая рука, которую я едва мог вынести, — и я услышал его прерывающийся от слез голос:

«Fratello... Fratello, видишь ли? Я тебе говорил, вчера, что я тоже... слабый человек! Fratello, не отворачивайся от меня!...»

Когда мы пришли к темным фасадам и запертым на запор дверям обширных хлебных амбаров пути № 3 в порту, загроможденному бесконечным рядом груженных хлебом вагонов, приемщики обрезали пломбы, лихорадочно раздвигали двери и перепрыгивали от одного вагона к другому, как белки. Перед одним из складов с широко раскрытыми дверями волновалась нетерпеливая, густая толпа рабочих, которые требовали, чтобы их наняли, с ревом, напомнившим мне неистовое хрюканье голодных

свиной вокруг корыта. Человек с хмурым видом и громовым голосом, взобравшись на кучу мешков составлял партии и посылал их к «постам». Более сильные, выкрикивая непристойные ругательства, расчищали себе дорогу жестокими ударами локтей, навязывались и добивались, чтобы их наняли, между тем как слабые и тщедушные, бессильно топтались вокруг, крича, что они давно уже без работы, и что им это стало невтерпех.

Кодин дал мне посмотреть несколько минут на эту толкотню, затем, схватив за руку, прошептал на ухо:

«Здесь набор рабочих делается почти исключительно среди друзей надсмотрщика, которые ему льстят и угощают его. Много несчастных ждет своей очереди с двух часов ночи. Ты понимаешь, им приходится довольствоваться крохами, потому что они слабы. У них видишь ли, недостаточно тяжелый кулак, чтоб сделать вот так!»

И выпустив мою руку, он направился медленными шагами, стиснув зубы, к ревушей толпе. Я живо влез на подножку вагона и стал смотреть. Не говоря ни слова, он прокладывал себе дорогу, раздвигая человеческие тела с такой же легкостью, как будто пробирался через тростник. Завидя его, надсмотрщик смягчил свой голос и жесты, и лицо его как будто улыбнулось. Я видел, как он протянул Кодину руку, к которой тот едва притронулся, но я не мог разобрать их слов, такой оглушительный стоял шум. С растущим изумлением увидел я, что Кодин подозвал к себе несколько бедных рабочих и заставил принять их в формирующиеся партии. Он проделал все это сухо, с таким свирепым видом, что сердце мое больно сжалось.

Затем он вышел из толпы и отошел вместе со мной в пустынное место.

«Ну, старина, ты можешь пойти в школу и сообщить твоему учителю то, что ты видел здесь. В четверть часа ты узнал больше, чем за десять лет сиденья в классе! Ты увидел настоящее лицо мира!..»

Он хотел покинуть меня. Я взял его за руку:

«Кодин, ты доволен?»

«Чем?»

«Что можешь делать добро?»

Он наклонил свой узкий, сморщенный лоб и мрачно промолвил:

«Почему ты это спрашиваешь?»

«Чтоб знать, добр ли ты».

«Нет я не добр, и не доволен».

«Но тебя ведь любят за добро, которое ты делаешь, и это должно делать тебя добрым».

«Чорт возьми!» — заревел он. «Ты дурак!... Добро, сделанное по принуждению, ничего не стоит, а корыстная любовь не греет. Меня не любят, нет, никто не любит. Напротив: я затравлен ненавистью, слышишь?»

Он поднял руку к красному, гневному лицу и прикрыл его, как-бы подавленный стыдом; через минуту он спокойно продолжал:

«Ах, бедняга, прости меня! Я тебя раздосадовал, не правда-ли? Меня взбесило, что ты ничего не понял».

Нет, я не понимал; я был смущен. Кодин скрутил папироску, зажег ее, сильно затянулся и, выпуская дым, открыл огромный и ужасный рот, что придавало ему вид оранг-утанга. Резким движением, как будто собираясь побить меня, он схватил одной рукой мое плечо, а другой указал мне болотистую ивовую рощу, вырисовывающуюся на другом берегу, и сказал:

«Посмотри вон туда... Так вот, чтоб быть справедливым, я должен сказать, что там, кажется, есть люди, которые добры ко мне совершенно бескорыстно».

Он произнес эти два слова с ударением, но я снова не понял почему это было важно. Любить бескорыстно или наоборот, для меня это был китайский язык, — я никогда об этом не думал. Я знал, что моя мать любит меня, — с меня этого было довольно.

«Ты не понял?» спросил он.

«Я хотел бы видеть как эти люди добры к тебе».

«Когда хочешь, fratello!»

«Сейчас-же!»

«А школа?»

«Я не пойду в школу»

Через час мы были по середине реки. В лодке лежала большая плетеная бутылка с десятью литрами вина «клу-дир», с полутора литрами сливовой водки и три кило кукурузной муки. Кодин греб, в одной рубашке, с засученными до плеч рукавами и с непокрытой головой; мы плыли против течения быстрее чем лодки, которые спускались по реке. Весла гнулись. Я ждал каждую минуту, что они сломаются.

Но больше всего пугало меня его сияющее лицо, на нем сияло выражение почти звериной радости. Порой его глаза, — обыкновенно живые, как две капли ртути, — останавливались на мне в страшной неподвижности, и мне казалось тогда, что я сделался жертвой лесного чудища и буду с'еден одним из тех «огров» из сказок моей бабушки, которые откармливают своих пленников орехами

и хлебным мякишем, перед тем как изжарить их на вертеле. Тогда, испуганный, я закричал ему:

«Засмейся, Кодин!»

Он смеялся; мой страх исчезал при виде чудных зубов, придававших более человеческое выражение его лицу.

Кодин, направив лодку в «Макинский рукав», греб еще с четверть часа, и пристал в пустынном месте берега Гетчета, где мы и высадились. Затем, с видом ребенка, который тащит за собой игрушечную лошадку, он схватил одной рукой цепь, прикрепленную к носу лодки, и, втащив ее на сушу, привязал там.

При нашем приближении к маленькой хижине, дремлющей на солнце в ста шагах от берега, мы были встречены сворой собак, которые разорвали бы нас, если-бы во время не вмешались их хозяева, мужчина и женщина лет пятидесяти нищенски одетые. Оба восклицали, с радостным выражением на добродушных, морщинистых лицах, один почти так же как другой:

«Видишь, Кодин: собаки больше не узнают тебя!... Это доказывает, что ты нас забыл».

Затем, пока все обменивались рукопожатиями, женщина, более словоохотливая, воскликнула, глядя меня с материнской лаской по волосам:

«А это чей жеребенок?»

«Новой соседки: это должно быть святая женщина!» вскричал Кодин. «Да хранит ее Создатель!»

Нас усадили за стол, стоявший между тремя плакучими ивами, стволы которых склонялись в трех разных направлениях, как будто умоляя даль послать им руку. Кодин вытащил из своего мешка бутылку с водкой и налил всем. Я не решался пить.

«Пей, fratello!» закричал Кодин. «Пей без страха. Если ты глуп, ты станешь еще глупее, и об этом не стоит жалеть; но если у тебя огненное сердце, от этой влаги оно только пуще разгорится. Пей, fratello!»

Я выпил; пока они обменивались вопросами, я рассматривал двор, кипащий курами, свиньями и утками, — и выпил еще, но затем остановился, когда заметил, что ивы передвинулись к реке и я почувствовал желание обнять свиней и уток в их грязном пруде.

Женщина встала, — говоря:

«Я оставляю вас, дети мои... У меня есть корова, которую трудно доить, потому что теленок искушал ей вымя; оно распухло. Я еще попробую подоить ее, беднягу...»

«Я тоже пойду», сказал я.

В конюшне она принялась за работу, разговаривая сама с собой:

«Значит мать твоя прачка. И она может так мило одевать тебя? Бедная женщина! Она должно быть много лишает себя. Эх, сколько на свете страданий!...»

Она сидела на корточках под брюхом коровы, смазывая вымя салом, и затем осторожно выжимала струю в ведро.

«Видишь ли, мой мальчик. Надо быть благодарным твоей матери. Не всем везет, как тебе. Чтоб не искать далеко, возьмем Кодина: вот кого били и мучили в детстве! Его родители не были бедны, о, нет! У них были земли... но «дьявол держал их за шиворот»: они были до того скупы, что готовы были «есть грязь из под пог-

тей». И бедный мальчуган страдал еще от того, что его родители и жители всего округа говорили ему, что он безобразен. Да, он был очень безобразен! У него была обезьянья голова, раздутая, как волынка, но, Бог мой, это не была его вина! Его с утра до вечера все посылали к чорту. Это больно, и наконец он озлобился. Когда ему минуло 13 лет, родители не могли больше бить его, — наступила их очередь быть битыми, ибо Бог никогда не оставляет проступков без наказания. Оба были высохшие, сморщенные старики; Кодин хватал их за волосы и выбрасывал зимой в снег по-пояс. Я ходила к мальчику и умоляла его: «Кодин, дитя мое, пожалей тех, кто дал тебе жизнь!.. Правда, они злы, но Богу не угодно, чтобы ты был таким же. Будь добр, мой ягненок, будь милосерд!» Он был добр, он всегда впускал их.

«Потом мы на несколько лет потеряли его из виду; нас постигло несчастье: наш первенец влюбился в красавицу, которая вышла замуж за другого, а он застрелился из охотничьего ружья! Тогда мы переселились сюда. И вот Кодин вернулся в наше соседство! Ему было тогда восемнадцать лет, он был так здоров и силен, что, казалось, лопнет от избытка крови, и работал в партии землекопов на постройке дороги. — Эх, дитя мое! Как много вокруг нас грустного!... Все его ненавидели! За его силу! Были еще такие, что глумились над его безобразием. Боже мой! Он одним ударом ломал им ребра. Но в то же время он знал, что многие выслеживают его для того, чтоб убить! Тогда, чтоб не быть застигнутым во время сна, он перебирался через «рукав» вплавь, держа узел с платьем над водой, и ночевал в болотах. Раз ночью четверо его врагов перешли реку, разыскивая Кодина, чтоб убить его. На другой день,

мой мальчик, одного из них нашли с распоротым животом и выпущенными кишками. Кодин подкараулил их при свете луны и убил одного! Судьи оправдали его, найдя невиновным. Но послушай дальше: через два года он пронзил ножом сердце другого человека, на этот раз за то, что нашел его в постели своей любовницы! Тогда Бог наказал Кодина. Десять лет копал он соль в копях. Люди зовут его «каторжником». Они не правы. Видно, Бог хочет показать ему свое благоволение, если послал ему такого невинного ангела, как ты»...

Кодин звал меня, чтобы идти искать утиные яйца в болотах. Мы вернулись в полдень, искушенные комарами. Тогда начался обильный завтрак: 16 утиных яиц, жареных в топленом свином сале, суп из рыбы, щука, пойманная хозяином хижины, курица с чесноком и 10 литров вина, — половину которого поглотил Кодин; затем мы распростились и в час переплывали Дунай обратно.

С Кодина крупными каплями струился пот. В разрезе раздувавшейся от ветра рубашки я увидел его открытую черными волосами грудь. В это мгновение он выпустил весла и глубоко вздохнул. Я сказал, глядя прямо на него:

«Кодин, эти люди очень добры!»...

«Не правда-ли?» воскликнул он. «Между тем я не оказал им никакой услуги, никакой. Другим, — да, — как сегодня утром; им — никакой».

«И ты не знаешь за что они тебя любят?»

«Нет! Я не знаю, за что они меня любят!»

Наступили каникулы. У нас с Кодином было условлено никогда не показываться в нашем квартале вместе ради моей матери, которая ничего не подозревала. Но теперь я мог свободно садиться на скамьи перед кабаком Анжелины и спокойно наблюдать за моим другом; никто больше не смел меня трогать после его неожиданной защиты. И таким образом, как-то в воскресенье вечером я был свидетелем самой неистовой драки, которую когда либо видела слобода.

В пять часов кабак был переполнен пьющими людьми. Большинство из них продолжали начатый накануне «загул»: между ними и Кодин. Человек десять приятелей составляли его свиту, но он был, как всегда, один за своим столом с Алексисом. Вино лилось; от жаровень к столам разносились груды жареных рыб; два усталых цыгана тихо пиликали на скрипке и бренчали на кобзе, иногда дополняя игру ценьем. По городу в то время ходила новая песня, которая соответствовала отношению Кодина к его угрюмой и красивой любовнице. Алексис повторял ее до бесконечности:

Напрасно твои брови густы, ,
Если ты вечно хмуришь их!
Пусть лучше-б были они редки,
Но улыбались мне глаза твои!

Не к чему спешить домой:
Там не ждет меня жена!
Ни жены нет, ни детей, —
Ну какой-же это муж!

Кодин слушал, опершись на свою кизилковую дубину и продев руку в ремень рукоятки: он молчал, но ему было

приятно, когда среди свиты поднимались радостные крики в его честь. Все были хорошо одеты, но платья были за пачканы. Шляпы были сдвинуты на затылок или на лоб, на одно или на другое ухо, и повсюду были цветы. У многих виднелись ножи, — некоторые прятали их за жилет. Однако настроение было спокойное, когда, о удивление: из-за угла улицы Гривица завернули четыре экипажа с двенадцатью молодыми людьми, в сопровождении трех несчастных музыкантов, и важно под'ехали. Все вышли. Шум, произведенный их появлением, всполюшил слободу; собрались женщины.

Было ясно, как день: «друзья из Атарнаци», такой-же знаменитый квартал, как и Комаровка, явились мстить за какую-нибудь драку, оставшуюся неотомщенной. Они не скрывали этого. Наглые и циничные, они вызывающе потребовали пить. Не было больше свободных столов, и слуги подали им требуемое на табуретах. Они возмутились и направились к одному из столов, за которыми восседала банда Кодина. Кодин кашлянул и принял оборонительную позу. Два молодца, которые повидимому командовали вновь прибывшими, — последовали его примеру, ибо предводители всегда держатся с большим достоинством. Между тем остальная сволочь кричала цыганам:

«Играйте, прокаженные! Мы как у себя дома, хотя и находимся в гнезде этих оборванцев!»

Кодин продолжал молчать. Глаза всех друзей устремились на него, как на того, кто первый должен был принять вызов. Кто-то сказал: «Будет жарко!»

Трусые исчезли. Оставались лишь обе, готовые на все партии, да еще мальчишки, которые, впрочем, отошли немного в сторону, чтобы очистить нужное пространство. Ан-желина на-скоро собирала стаканы и бутылки, между тем

как кучера и музыканты ожидали только сигнала, чтобы обратиться в бегство.

На этот раз сигнал был дан — к вящей славе репутации Кодина, слывущего человеком прямодушным, — самым необычайным образом.

По середине улицы невозмутимо прохаживались, глаза по сторонам два английских матроса с трубками в зубах; Бог знает в силу каких злых вдохновений забрели они сюда, ибо улица публичных домов расположена была далеко от нашей трущобы.

От группы из Атернаци отделились два молодца и с вызывающим видом подошли к англичанам. Те остановились, вежливо поклонясь.

«Вы чего это шпаетесь тут? Нашим девкам морды свои показывать, что-ли?»

Матросы, не поняв ни слова, переглянулись. Кодин выпрямился во весь рост, и в этом движении было столько величия, что я затрепетал. Все смолкло кругом, как по волшебству. Среди жуткой тишины прогремел его голос, обращенный к соперникам:

«Если ваши собаки посмеют здесь, у меня, тронуть иностранцев, то вы будете иметь дело...»

Раньше, чем он успел окончить фразу, англичане были сбиты с ног и в ту-же секунду дубина Кодина взметнулась в воздухе. Одно мгновение ничего нельзя было разобрать: возницы шелкали бичами, цыгане обеих сторон поспешно прятали свои инструменты, а матросы, схватившись за рукоятки револьверов, ударили со всех ног. В то-же время среди улицы, в тучах поднятой клубами пыли, сплелась в ожесточенной схватке гряда человеческих тел. Дубины скрещивались и с треском ломались; ножи выпадали из перебитых рук, угрожающе свер-

кали, готовые вонзиться в сердце или живот; обезоруженные противники, сцепившись друг с другом, катались по земле. Матери и жены дерущихся сбегались на помощь и тоже наносили удары, оступаясь и спотыкаясь.

Центром всеобщего внимания была борьба между Кодином и предводителем приехавшей банды. Этот последний, хотя и уступал своему противнику в росте, однако держал его в почтительном отдалении с помощью длинной, страшной дубины, на конец которой был насажен железный шип. Битва разыгрывалась на кругу, служившем учебным полем для кавалерии, и через каких-нибудь четверть часа на нем оставались лишь оба чемпиона. Земля была усеяна телами раненых, шляпами, куртками, ножами и сломанными дубинами. В стороне дрался друг Кодина Алексис, плохой борец — он сцепился с равным себе противником. Они боролись, не уступая друг другу, когда вдруг Алексис закричал слезливым голосом: «Кодин... Меня убивают...» Кодин сделал прыжок в сторону и нанес сильный удар в спину противнику Алексиса, который со стоном повалился на землю; но в то же мгновение ужасный шип, угрожавший Кодинову, обрушился на его голову, — к счастью защищенную надвинутой на уши фетровой шляпой.

В течение нескольких секунд мне казалось, что Кодин рухнет на землю... Того же ожидал повидимому и его противник, он замер на месте в нерешительной позе с занесенной палкой. Кодин, задрожав под ударом, обхватил свою дубину обеими руками и, закружив ее вихрем над головой, ринулся на соперника, который думал, отступая, отразить нападение, но резкий удар выбил из рук его палку, отлетевшую за десять метров, а дубина Кодина сломалась пополам; тогда, обезоруженный, он бро-

сился бежать, между тем, как Кодин, раскрывая нож, бросился за ним в догонку. Преследуемый бежал мелкими, быстрыми шагами, описывая зигзаги, чтобы сбить с толку Кодина, который неся по его пятам, прыгая как горилла, заносил руку для удара и дышал ему в затылок дыханием смерти.

Тогда я понял, что среди всех этих людей, толпящихся у дверей, не найдется никого кто-бы вмешался и спас человека от смерти, — никого, кто-бы избавил бывшего каторжника от вторичной каторги. Во время этой погоны, — этой травли на-смерть, — лица несчастных безумцев утратили человеческий облик: затылок и правое ухо Кодина залиты кровью, струящейся из под шляпы; преследуемый бледен как воск, рот его открыт, глаза молят о пощаде и спасении. Пронесаясь у самого края панели, на которой я стою, Кодин вытягивает руку и наносит удар своей жертве... Толпа зрителей вскрикивает, как один человек... Беременная женщина падает в обморок. Однако на этот раз удар ножа разрезал лишь куртку сверху до-низу, — и сукно и подкладку, — и преследуемый несет дальше, с развевающимися сзади двумя половинками куртки. У него вид обреченной жертвы, он задыхается, — шатается... В моем воображении еще раз промелькнул Кодин в кандалах, окруженный четырьмя штыками, вedomый в суд слушать «тех господ, которые не говорят на «ты»».

И я тоже вылетаю на арену, — и в тот момент, когда оба одержимые проносятся мимо меня, я кидаюсь под ноги Кодинову. Тяжелый сапог ударяется об мое тело; я кричу, — кричу громче, чем надо, кричу раньше, чем получил удар, — Кодин падает головой в пыль...

Я смотрю вслед убегающему; он уже далеко, он бежит и оглядывается на ходу, ничего не понимая; но я до-

волен, что он далеко. Зрители, собравшиеся пестрыми группами у дверей и застывшие от ужаса, повидимому тоже ничего не понимают.

Один человек, однако, понял.

Мы оба лежали на земле; я прижимал руку к ушибленному боку; Кодин снял шляпу: под ней, вместо волос, оказалась ярко красная масса, похожая на желе. Ощупывая затылок он посмотрел мне в лицо. Налитые кровью глаза, вылезшие из орбит, мутные и с остановившимся взглядом, напоминали глаза бешеной собаки. С трудом разжав стиснутые злобой челюсти, он проговорил:

«Ты все видел?»

Я ответил: «да»,

«Разве я виноват?»

Я отрицательно покачал головой. Я не был в состоянии говорить: на расстоянии не более 10 шагов от нас, с самого начала драки лежали без всяких признаков жизни, три тела.

Кодин подобрал нож и тяжело поднялся на ноги. Мы с ним осмотрели лежащие вокруг нас тела: двое несчастных еще хрипели в предсмертной агонии, — третий лежал ничком в луже крови; глаза его были закрыты. Указав мне на него пальцем, Кодин сказал:

«Этому ничего больше не нужно».

Мертвый был молодой человек из нашего квартала, преданный Кодиному; те, что еще хрипели, принадлежали к враждебной партии.

Мы направились с Кодином к бульвару Куза, где он хотел нанять экипаж, чтобы ехать к доктору. Удаляясь, я еще раз взглянул на место побоища: на нем начали появляться группы испуганных местных жителей, но нигде

не было заметно признаков полиции или санитарной помощи.

Люди вольны убивать друг друга...

Кодин находился на пути к полному выздоровлению, когда последовало его освобождение от суда и следствия на основании единогласных показаний свидетелей. Мы разгуливали с ним теперь совершенно открыто, и это было похоже на прогулку слона с жеребенком.

И вот, в одно прекрасное утро распространилось известие, что холера, свирепствовавшая в России, докатилась до Рини, что на Дунае. Переполох был большой: начальство вспомнило, наконец, что Комаровка представляет собой очаг заразы и прислало санитаров, которым было поручено затопить весь наш квартал известью и карболом.

Мать хотела отправить меня в деревню к дядям, но я воспротивился: Кодин интересовал меня гораздо больше чем деревня. Теперь он каждый вечер бил свою мать, выбрасывая ее на-ночь на улицу. Ночи стояли жаркие и старуха до рассвета просиживала скорчившись на большом камне возле двери. Выходя из дому по утрам, Кодин заставлял ее там спящей, опрокидывал ударом ноги и уходил, не обращая внимания на ее стоны.

Я был потрясен подобным варварством. Молва объясняла его тем, что тете Анастасии принадлежало много земли, которую сын хотел принудить ее продать. Такое объяснение меня не удовлетворяло; Кодин же не говорил со мной об этом. Слободские женщины, не исключая моей матери, относились к этому истязанию с изумительным

спокойствием: все к нему привыкли. Гораздо больше удивления выражалось в тех случаях, когда старухе случилось с неделю почевать в своей комнате.

Черствость окружающих объяснялась главным образом тем, что тетка Анастасия отличалась какой-то свирепой молчаливостью. Соседки утверждали, что им не знаком звук ее голоса. Ростом с наперсток, — жадная до отвращения, угрюмая и нелюдимая, — она иначе не передвигалась, как посреди улицы, пробираясь между телегами и экипажами для того, чтобы не встречаться с людьми. Никто никогда не знал, куда она бредет, откуда возвращается, и Кодин, сколько ни обшаривал и ни обыскивал ее лохмотья, ни разу не обнаружил на ней ни гроша. Она покорно следовала за женщинами, которые иногда давали ей приют на одну ночь и, если ей предлагали тарелку супа, она ее съедала. Но уже на другой день она этих женщин больше не узнавала. Глаза ее всегда шарили на земле в поисках ржавых гвоздей, всякого тряпья, костей, пустых спичечных коробок. Когда ее спрашивали: «Слушай-ка, Анастасия, почему-бы тебе не продать хоть часть твоей земли?» она неизменно отвечала едва внятным голосом: «Каждый сам знает, что ему делать».

В те дни, когда заговорили о холере, Кодин окончательно перестал с ней церемониться. Это было презабавно! Уткнувшись носом в скважину забора, разделявшего наши дворы, я видел все, что у них происходило. Появлялся Кодин, и, застав свою мать на «присра», награждал ее несколькими ударами ногой; затем он брал ее, как паршивую кошку, за шиворот и выбрасывал на улицу.

Они как будто распределили между собой вечерние обязанности: он должен был награждать старуху тумакami и выставлять ее за дверь; ей же полагалось ожидать его на своем посту и, приняв обычную порцию побоев, усесться, поохав немного, на камне. Все это происходило молча, — без криков или объяснений. Оба понимали в чем дело.

Моя мать никогда не вмешивалась в чужие дела; однако как-то вечером, — считая это, быть может, своим долгом, — она привела с собой в дом Анастасию; старуха следовала за ней, как собаченка, и, забившись в угол кухни, молчаливо уселась там на корточках. Мне до сих пор было незнакомо выражение ее глаз и я тщетно пытался рассмотреть их. Она сидела опустив голову, как идиотка, из-под-лобья украдкой озираясь по сторонам.

В углу горела лампа, но я мог разглядеть только рот старухи со сморщенными и вытянутыми вперед губами, напоминавшими куриный зад. Мать дала ей поесть кусок мяса из супа, затем, пододвинувшись к ней со своим стулом, сказала :

«К чему ты мучаешься, бедная моя Анастасия? Продай бы ты лучше несколько гектаров земли ради собственного спокойствия!»

Всеим был известен ее обычный ответ в подобных случаях, но к нашему удивлению на этот раз она заговорила, и то, что мы слышали от нее, было ужасно. Уставившись на нас, как сова, и едва шевеля губами, она лепетала слабым голосом :

«Ты говоришь, что лучше было бы продать! Продать, продать. Вам-то легко говорить... А я тебе скажу, что твой сын лучше бы сделал в тот раз, если бы дал каторжнику убить человека. Он попал-бы на каторгу, а я избавилась-бы, наконец, от него».

Мы с матерью в ужасе переглянулись. Не хотелось верить своим ушам. Мною овладела бешенная ярость — хотелось взять лампу и разбить ее об голову старухи; но в это время в темном квадрате открытой двери появился Кодин. Моя мать вскочила на ноги и бросилась ему навстречу, готовая грудью защитить гостя. Стоя прямо перед ним, глядя твердо ему в глаза, она сказала:

«Кодин!.. Вы не тронете ее в моем доме иначе, как перешагнув через меня...»

Кодин, с непокрытой головой, в рубашке и туфлях, опустил голову, коснувшись подбородком груди, в знак согласия. Затем, выпрямившись, он заговорил:

«Мать Зонца! Я пришел не для того, чтоб бить ее, но чтоб посоветовать вам не держать под своей кровлей эту сволочь... Это не мать, — это чума».

«Кодин», прервала его моя мать, «она носила вас под сердцем!»

Он поднял руку ко лбу:

«Не напоминайте мне об этом!.. Мне стыдно! Она вскормила меня ядом».

И он вышел, закрыв лицо рукой.

Мать моя повернулась к «чуме».

«И что-же ты хочешь делать с этой землей? Все равно она ему достанется после твоей смерти!..»

«Нет! Ничего ему не достанется!.. Я все пожертвовала в церковь, все, на-кось!..»

Моя мать больше не удерживала ее и Анастасия отправилась гнить на своем камне.

Уже несколько дней готовился Кодин отправиться очень далеко на охоту на уток и гусей в болотистых тростниковых зарослях. У него было хорошее ружье центрального боя и когда я смотрел, как он набивает патроны, у меня слюнки текли. Были однако большие затруднения: выступать надо было на-ночь, ночевать в болотах, продираться целые километры через кусты и шлепать по трясинам, кишашим пиявками и комарами.

«Там царство белых водяных лилий и ежевики с бархатистой кожицей, величиной с вишню!» говорил мне Кодин, подмигивая глазом.

Этого было вполне достаточно для того, чтобы я потерял голову, и вечером, — умолчав обо всем, что могло бы ее испугать, — я заявил матери, что «завтра иду на охоту с Кодином». Она знала, что это означает: хотя я вообще был благоразумен и послушен, бывали однако случаи, когда я настаивал на своем. Она попыталась-было возражать, но в конце концов должна была уступить.

Торжественные проводы Кодина состоялись перед кабаком Анжелины, где он запасся напитками в дорогу; после этого мы отправились за собакой, которая радостно прыгнула Кодиному на грудь, словно признав в нем хозяина; а с наступлением ночи наша лодка уже далеко затерялась среди так называемого «Старого Дуная», откуда мы завернули в очень узкий проток и где я сразу потерял всякую возможность ориентироваться.

Мы все еще находились среди плакучих ив, скрывавших от нас звездное небо —единственный путеводитель в этих местах. Тем не менее Кодин уверенно подвигался вперед. По временам, на мелких местах, лодка скребла дно. Тогда приходилось проталкиваться, ухватившись руками за ивовые ветки, или упершись веслами в оба

берега, а когда и это не помогало, Кодин вылезал из лодки и, бредя по колено в воде, толкал ее руками.

«Вода, видишь ли, ниже чем я думал», говорил он.

Вскоре ивы расступились, небо распростерлось над нами во всем своем ночном великолепии, и вокруг нас раскинулись необозримые пространства черной земли. Мы находились в настоящем лабиринте естественных каналов, от которых несло илом и рыбой. Мне тоже пришлось вылезть, чтобы облегчить лодку, и пока Кодин тащил ее за цепь, я весело бегал по мягкому, как бархат, берегу, держа собаку.

После бесконечных заворотов мы в'ехали, наконец, в очень широкий и глубокий канал и без усилий поплыли дальше. В трепетном безмолвии тихой июльской ночи я впервые ощутил блаженство быть затерянным среди болот, не слышать ни единого звука, кроме легкого шума весел, всплеска рыбы или крика совы в ночной темноте.

Яркий диск луны уже стоял над горизонтом, когда Кодин, нагруженный всеми своими охотничьими доспехами, и я, с собакой на своре, оставили лодку и направились пешком к царству диких гусей и уток.

«Ну, добрались наконец!..» Кодин сбросил на-землю свое снаряжение.

Перед нами растиалось водное пространство в несколько гектаров, значительно обширнее тех, которые нам пришлось до сих пор пересекать. Противоположные берега едва заметно обрисовывались в тумане лунной ночи.

Кодин тотчас вынул из сумки небольшой серп грубой работы и, повернувшись к чаще тростника, принялся лихо радочно срезать его.

«Что ты будешь делать со всем этим тростником?» спросил я.

«Остров, старина, — остров и шалаш для того, чтобы обмануть этих маленьких животных. Ты скоро сам увидишь... Собирай, если хочешь, и складывай. Когда я кончу, буду вязать фашины».

Час спустя на неглубоком месте виднелся островок, сложенный из шести рядов вязанок тростника. Мы расположились в середине четырех стенок зеленой изгороди. Небо служило нам потолком. Такое сооружение называется «pânda».

Окружавшее нас огромное водное пространство, слегка дрожащее при свете луны и окаймленное таинственными берегами, заставило меня вообразить, что на земле опять потоп и что мы, на своем острове, единственные оставшиеся в живых существа. Меня охватил прилив счастья, — неудержимое желание кричать, плакать, даже броситься в воду.

Дрожа от волнения, я схватил руки Кодина, который добродушно во весь рот смеялся, и горячо проговорил:

«Я люблю тебя, Кодин!»

«Я знаю, Адриан, что ты меня любишь... и мне грустно слышать это от тебя».

«Почему — грустно, Кодин?»

«Мне грустно, что ты не старше лет на пять или десять, потому что тогда ты мог бы стать моим крестовым братом».

«Но у тебя ведь есть же крестовый брат: Алексис». Кодин глубоко вздохнул и нахмурился.

«Алексис мне не крестовый брат... мы побратались с ним по глупости, — но это не то. Он не отличается от других, которые меня боятся и подлизываются ко мне, про-

тому что знают мою силу. Лишись я завтра этой силы, — эге! они плюнули-бы мне в лицо, — в первую очередь Алексис. Я сделал его своим другом так, — с досады, да и поет он больно уж хорошо! Он же сошелся со мной из тщеславия, так же как и красавица Ирина: ей льстит называться любовницей Кодина, но если бы она этого Кодина не так боялась, она изменила бы ему сегодня-же ночью!»

Он поднял лицо к стоявшему в небе серебристому диску, который облил его своим бледным сиянием, и с горечью воскликнул:

«Друг мой Адриан! Брат крестовый, — это другое дело!.. Это, то, что, может быть, не существует вовсе!.. Крестовый брат, это — когда кто нибудь ценится сам по себе, а не через другого, и тогда его любовь, — сильная и бескорыстная, — дорога нашему сердцу! Ибо, видишь-ли, легко заставить полюбить себя, оказывая услуги. А вот теперь я дошел до того, что спрашиваю себя: тот, кто ценится сам по себе, — способен-ли он еще сильно любить?»

Кодин провел рукой по лицу и закурил папиросу. Он собирался с мыслями, не зная, понимаю-ли я его, и затем сказал:

«Я тебе объясняю, как это бывает у людей. — Ты слышал, что двенадцать лет тому назад я убил человека, — среди ив, против Гетштета: он был моим крестовым братом, — да по-настоящему. Перед тем, как рассориться на смерть, мы любили друг друга... Что касается меня — я в первый раз узнал любовь друга. Мне было 17 лет: только что кончилось мое детство, — детство затравленной собаченки. Родители мои были хуже гадов!.. Они колотили меня и заставляли воровать всякую всячину:

и торбы пшеницы в порту, и курицу у соседа. В виде ласки, они мне говорили, что я до того уродлив, что при виде меня беременная женщина может выкинуть. В таком же духе меня ласкали и мои уличные товарищи, но это продолжалось недолго и на 14-ом году я стал сам ласкать их по-своему! Тогда кровь моя заразилась ядом всех змей, какие есть на земле! Я ломал ребра всем, кто только заикался о моем безобразии... Кажется, и отец мой отправился на тот свет не без моей помощи. Тогда-то и появился на моем пути Танас и сразу полюбил меня! Сильный и великодушный, он был при том хорош, как Алексис. Нам обоим было по 17 лет. Ах, братец мой, Адриан! Великое чудо — любовь человека! Когда я впервые опутил его дружеский поцелуй, я увидел весь мир в новом свете! Я перестал драться и терпеливо выслушивал замечания о своем безобразии! Мы сделали крестовыми братьями и полюбили друг друга бескорыстно, — в этом не было сомнения. Восемь месяцев спустя зависть своим ядовитым жалом отравила кровь Танасу: моя сила не давала ему покоя и взгляд его стал лживый, завистливый. Он уже больше не обнимал меня. Я молчал, — я прощал, и, чтобы вернуть его дружбу, выказывал ему еще больше любви и избегал обнаруживать свою силу... ибо она-то и была причиной его зависти. Между тем он отходил, отходил все дальше от меня, до того ужасного дня, когда в присутствии наших приятелей его уста, которые я недавно еще целовал, обозвали меня: «обезьянья морда!». В первый раз в жизни я заплакал. Я простил. Танас ускользал все дальше, дальше от меня. Не было человека, который с большим искусством высмеивал-бы мое уродство, чем он. Наконец, он попробовал бить меня! Я все еще сдерживал себя. И вот однажды мой брат Та-

нас, в сопровождении трех бродяг, пришел ночью в ивовую рощу с целью убить меня во время сна. Убил же я его. Послушай-ка теперь, как судят люди: они меня оправдали, а я был преступен, ибо достаточно мне было взять в руки сук от дерева, чтобы всех их обратить в бегство. Но я **хотел**, твердо хотел убить Танаса, и мне это удалось! Напротив, два года спустя господа судьи признали меня виновным, когда я убил человека в постели моей любовницы! Я тогда способен был убить собственных детей, родителей и самого Бога, который так скверно правит землей! Слушай, Адриан, — ты, который не знаешь еще муки обманутой любви, — знай, что это хуже голода, грызущего внутренности, хуже ожога раскаленным железом, хуже самой смерти!.. Это я был убит тогда, и меня же послали на каторгу!.. Вбей себе это в голову, Адриан, и вспомни при случае: люди не способны любить, — люди не умеют судить!..»

«Я, с'умею тебя любить, Кодин, воскликнул я. «Я хочу стать твоим крестовым братом!»

Кодин гладил меня по волосам, и вид у него был восхищенный, расстроенный. После долгого молчания он заговорил:

«Я тоже думаю, Адриан, что ты один способен полюбить каторжника и сделать хорошего человека из преступника, но ты еще слишком молод, чтобы распоряжаться своим словом. Кроме того, ты знаешь: крестовые братья делают крестообразный надрез на левой руке ниже локтя и каждый из них пьет кровь из сердца другого. Я накажу смертью брата, который, — выпив мою кровь, предаст меня».

«Так вот, Кодин: я выпью твою кровь, и ты убьешь меня, если я тебя предам».

Кодин вскочил, как дикий зверь, и весь наш островок закачался. Собака залаяла. Не вставая с места, я глядел на Кодина, который так высоко поднял руки, что, — казалось мне, — он сейчас коснется ими луны. Он звонко ударил себя по лбу.

«Бог Всемогущий», взревел он, раскидывая руками, «значит стоит еще жить на свете, — даже с такой обезьяней мордой, как моя, — если можно заставить ребенка так сильно полюбить себя».

Навалившись на меня, он придавил меня своей тяжестью и, взяв мою голову в обе свои лапы, посмотрел мне в глаза. Мы смотрели друг на друга — я никогда в жизни не видал более красивого человека, чем Кодин в эту минуту.

«Друг!» воскликнул он, «хватит-ли у тебя смелости дать оцарапать свою руку, чтобы я мог выпить каплю твоей невинной крови?»

«Да... вот тебе рука, — режь!»

Я протянул ему левую руку; я думал, что умру от чувства радости. Он присел на корточки передо мной, вынул нож. Одно мгновение он держал его передо мной, словно готовясь вопзять мне его в грудь... Сталь блестяла у самых моих глаз... Я не шелохнулся.

«Режь, Кодин!»

Тогда, затаив дыхание, он обнажил голову и трижды перекрестился. Он взял мою левую руку своей левой рукой... она горела... Правой рукой он наставил острый нож в мою руку ниже локтя, и остановился... Улыбаясь ему в лицо, к которому вернулось зверское выражение, я проговорил:

«Смейся погромче, Кодин, и режь!»

Он громко рассмеялся и пока он упорно смотрел мне в глаза, я ощутил легкий ожог вдоль и поперек руки. Кодин опустил свои дрожащие руки. Его нижняя губа тоже дрожала, и мы оба взглянули на свежий порез: из двух крестообразных царапин слегка сочилась кровь. Он впился в них остановившимся взглядом... Затем голова его наклонилась к моей руке, его губы прильнули к ранке, и от их жара мне стало больно.

Долго оставался Кодин в таком положении. Он не певелился. Казалось, что он спит. Огромное тело его застыло в неподвижности. Тогда я поцеловал его в макушку головы, как часто, бывало, целовал свою мать.

Кодин выпрямился и глаза его блеснули в полумраке. Как будто машинально взял он нож и нанес им два резких крестообразных удара по своей левой руке ниже локтя. Кровь хлынула. Он поднес рану к моим губам:

«Пей, брат, и твое маленькое сердце узнает, что такое любовь каторжника, — так-же как мое унесет с собой в могилу любовь ребенка!»

Я пил кровь Кодина, пока собака следила за нами терпеливыми глазами.

Чудная ночь подходила к концу.

С первым проблеском рассвета две стаи уток низко пролетели мимо нас и из них четыре кувырнулись в озеро, откуда их вытащила собака. За ними появились гуси, но этих удалось лишь ранить и они нырнули в воду. Затем пронеслись, с характерным треском крыльев, пугалыцы, из которых нам удалось взять шесть штук. Солнце станови-

лось невыносимым, комары немилосердно кусали. Около десяти часов утра мы уже возвращались в порт, — измученные, грязные, покрытые волдырями, но упоенные поэзией ночи и чувством братства.

Было воскресенье; порт безмолвствовал, погруженный в сон. Мы выбрали дорогу через «Комаровский брод». Ребяташки узнали нас и Кодин показал им нашу добычу. Этого было достаточно, чтобы заставить детвору со всего окологда итти за нами; но мне было стыдно показаться таким грязным, да еще в воскресный день, и я предложил брату пройти к нашему дому со стороны бойни. Он уступил, хотя таким образом мы должны были пройти мимо жилища его прекрасной возлюбленной, Ирины, которая, как все жители слободы, наверно стояла сейчас на пороге своего дома.

«Если она увидит меня в этом наряде, она будет еще лучшего мнения о моей красоте», шутил Кодин.

Тогда один из малышей, подойдя к нему, закричал среди общего смеха:

«Знаешь, Кодин, «Кот» уже с рассвета бродит под окнами твоей красавицы».

«Кот» — было прозвище, данное в насмешку молодому парню, который бродил по ночам, вечно влюбленный в кого-нибудь, и был очарователен и смешон в одно и то же время. Полученные им за его любовную карьеру побой были бесчисленны, а стоицизм, с которым он их переносил, — вошел в поговорку. Одна только Ирина, возлюбленная Кодина, была до сих пор избавлена от его серенад.

«Кодин» — взмолился я, «обещай, что ты его не убьешь!»

«Ах», вздохнул он, «я обещаю тебе это, мой маленький брат. Но знай, что я погибну из-за женщины. Я уже чувствую, как кровь моя приливает к голове».

Я пожал ему руку, промолвив:

«Не забывай, что мы теперь крестовые братья! Не надо убивать!»

Дойдя до первых домов, Котин заставил ребятшек отступить назад и окинул площадь взглядом. Иринин дом, где я в первый раз увидал ее, когда носил ей записку, был третий в ряду домов. Котин побледнел: перед домом стоял злосчастный «Кот» в воскресном наряде, со шляпой на бекрень, и пел под аккомпанимент скрипки:

Зеленый лист акации!

Я не люблю стариков,

И не по мне любовники,

Что пьют одну лишь воду,

И не охота мне полоть в жару!

Но я люблю, чтобы вечером и утром

Котенок мой держал меня

В своих объятьях!

Под «стариком» «Кот» подразумевал очевидно Котина, который был уже не так молод, как он сам.

Котин, подобный шимпанзе, в три прыжка очутился на нем и держал его за шиворот вместе с аккомпаньатором! Последний вырывался изо всех сил из рук Котина и умолял его о пощаде.

«Тебе я ничего не сделаю...» кричал Котин, «но ты получишь хороший на-чай, если споешь ей сейчас еще раз эту песню!»

И он потащил их обоих во двор. Я стал смотреть через забор. Котин, с кнутом в руках, заставлял «Кота» раз-

деваться; тот, в одной рубашке и кальсонах, умолял, чтобы его не позорили, но Котин подгонял его ударами кнута, приговаривая:

«Ну, поворачивайся живей! Если бы я захотел, ты подбирал-бы теперь свои зубы в пыли!»

Когда «Кот» разделся до-гола, Котин взял арбуз фунта в два веса и привязал ему его веревкой к детородному члену. Затем он вытолкал его на площадь Комаровки. Голый «Кот», с болтающимся между ляшками арбузом, пошел, понукаемый Котином с кнутом в руках, а рядом шествовал скрипач, который играл на своем инструменте и пел:

Зеленый лист акации...

«До дома Ирины и обратно!» ревел Котин.

Население слободы продолжало еще со смехом вспоминать этот забавный эпизод, когда в одно прекрасное августовское утро пронеслось ошеломляющее известие: один из жителей, умерший накануне, был признан «умершим от холеры».

Был объявлен карантин и двор холерного изолировали; в течение следующих дней врач и его помощники, которые переступали карантинный кордон для того, чтобы осматривать слободу, — удалили несколько подозрительных больных. Не прошло и недели, как свалились еще два человека. Через день еще один. Затем нагрянуло настоящее бедствие: все предместье было заражено, а за ним вскоре и весь город. Потерявшее голову санитарное управление подбирало холерных, — живых и мертвых, — сортировало их в госпиталях и зарывало умерших, заливая их извсью. С раннего утра и до поздней ночи улицы го-

рода об'езжал страшный черный фургон. Он забирал по ошибке и пьяниц, которые не находили ничего лучшего, как напиваться для предотвращения болезни.

Когда бедствие стало всеобщим, карантин был снят и началось бегство жителей, которые следовали примеру богачей, дезертировавших первыми. Путешествие бедняков не было далеким. Жители Комаровки разбили свои палатки на обширном плоскогорье на расстоянии одного километра от бойни.

Кодин первый подал сигнал к бегству и на мою долю выпала честь идти впереди Ирины и даже Алексиса. В тот же день на самом защищенном месте плоскогорья, под ясным августовским небом, были разбиты три палатки (наша с мамой, Кодиной с Ириной, и Алексиса), грубо сделанные Кодином с помощью жердей и одеял.

На следующий день больше двадцати палаток разместились на том-же плоскогорье: Кодин не подпускал их слишком близко к нам.

Несмотря на трагизм положения, шутки не были забыты и лучшую вымолвил Кодин:

«Вы увидите, что холера испугается моей матери и на бросится на нас. Надо было взять ее сюда в виде пугала!»

Он был прав.

Как-то, — на четвертый или пятый день, — я сопровождал Кодиного в его обходе; мы нашли двух женщин и ребенка, лежащих в собственных испражнениях и рвотах! Их скрывали их родители, которые, читая молитвы, натирали себе нос шариком камфары, висевшим на шее, и служившим талисманом против холеры.

Кодин повернулся, как ужаленный, и, возвратившись к нашим палаткам, в один миг сложил их и мы снова пустились в путь, — нагруженные, как ослы, — в поисках другого места, где не было-бы холеры.

У Алексиса была тележка, с которой он работал в порту; мы сложили в нее весь наш скраб и отправились на этот раз на самый край плоскогорья, в четырех километрах от города, где росла ивовая рощица, отражавшаяся в водах Дуная.

В этом убежище, где все дышало дикой, чуждой культуре жизнью, я на другой-же день забыл и холеру, и чеснок, который надо было есть, и камфару, которую надо было носить на шее, и уксус для натирания тела. Ивовая роща с ее птичьим миром представлялась мне уголком рая; вид Дуная в темные, звездные ночи, при свете луны, осуществлял, как мне казалось, любимую мечту моего детства: жизнь под открытым небом, в шалашах, с одеялом вместо постели и котелком на разведенном огне... Словом, все то, о чем я читал в разбойничьих рассказах.

Но вот, моя мать сделалась вялой, ее стало мутить и заболела голова. Кодин, побледнев еще больше чем я, ударил себя по щекам и закричал Ирине:

«Раздень-ка ее до гола и разотри до крови! Но, чорт возьми, если я замечу, что ты только щекочешь ее, я плюну на то, что я мужчина, и буду только помнить, что она мать моего Адриана: я покажу вам, как надо растирать холерных!»

Я заливался слезами перед опущенным полотнищем входа в палатку, между тем как Кодин, заглядывая украдкой внутрь, с трудом сдерживал свое неудовольствие. Наконец он закричал, не выдержав:

«Мать Зонца, если вы не хотите оставить Адриана одного на этом свете, то закройте все, что вам совестно показывать и отдайтесь в мои лапы!»

Не дожидаясь ответа, он ворвался в палатку и в течение следующего часа моя мать вопила под его руками, как овца в волчьей пасти.

«Радуйся, Адриан! Она согревается, согревается! Она спасена!..»

На другой день моя мать уже могла сидеть, ее не тошнило больше, но она была слаба и как бы ошеломлена и непрерывно зевала. Кодин еще раз хорошенько растер ее укусом и поставил кипятить ее одежду. Затем, сев на лошадь Алексиса, он поехал в город за продуктами.

Мне было запрещено входить к моей матери и трогать ее. В щелку полога палатки я увидел ее голову и красные, как огонь, ноги. Она улыбнулась мне и призвала «милость Божию на всех нас». Мне захотелось побегать в роще и спустившись с откоса я побрел вдоль берега; вдруг я заметил в кустах знакомый мне платок с буквами Ирины. Трава в этом месте была смята и на ней валялись отломанные веточки ивы. Я улыбнулся, представив себе выражение лица Кодина, когда я ему покажу платок, — доказательство того, что несмотря на холеру, он умел выбирать укромные уголки для отдыха от забот...

Но выходя из кустарника с платком в кармане я сделал открытие, которое доказало мне как я ошибался: я увидел, как в маленькой ложбинке, скрытой растущими на плоской горе ивами, страстно целовались Ирина с Алексисом.

Я был ошеломлен. Так значит не с Кодином приходила в рощу Ирина, а с его крестовым братом! Быстро бро-

сил я платок на то место, где я его нашел и ушел незамеченным.

Я поднялся обратно на откос, обмирая от волнения, с бьющимся сердцем и полный самых мрачных предчувствий; я бросился на землю перед палаткой моей матери и мне стало легче от ее уверений, что она чувствует себя гораздо лучше. Теперь мне хотелось уехать отсюда, не оставаясь больше в этом месте, где в воздухе чуялась надвигающаяся гроза.

Ирина и Алексис вернулись, появившись с разных сторон. Ах!... как выражение их лиц плохо скрывало их тайну! Глядя в глаза Алексиса я потерял всякую иллюзию относительно искренности крестовых братьев.

Едва только они вернулись, как прискакал бешеным галопом Кодин. Он кричал, слезая с лошади:

«Санитары увозят больных из первого лагеря... Им сообщили, что мы скрываемся здесь и они могут появиться с минуты на минуту! Я спрячу мать Адриана и ее вещи. Если они явятся в мое отсутствие, скажите, что нас трое взрослых и один ребенок, и что все мы здоровы!... Поняли? Лишнего не болтайте! Они пугают людей, как судебные следователи!»

И, входя в нашу палатку, он спросил со смехом:

«Ну, мать, слыхала? Как бы вам не познакомиться с фургоном! Как вы себя чувствуете?»

Вместо ответа моя мать встала на-ноги.

«Превосходно!» воскликнул Кодин; «однако, для того, чтоб избежать гостеприимства братской могилы мы отправимся с вами вдвоем попутешествовать и постараемся обойтись без посторонней помощи!»

Говоря это, он поднял мою мать на руки, как ребенка, и стал спускаться по откосу плоскогорья; я шел за ними, неся на спине мокрую еще одежду моей матери.

Кто сумеет передать тревогу, которую я испытал, увидя, что он направляется в сторону кустарника? У меня закружилась голова от одной мысли, что в сердце Кодина могло закрасться подозрение, — и я волнуясь, постарался заставить его избрать другой путь.

«Сюда, Коди́н, сюда! Вот тут есть укромный уголок!»

«Что ты, старина, ведь там топко. К тому-же, смотри, вот этот кустарник, залитый солнцем, как будто сам направляется на то, чтобы приютить нас».

Он направился к нему. Тогда меня охватил страх, что платок не был поднят, и я побежал вперед. К счастью его там уже не было. Но Коди́н заметил притоптанную траву и валявшиеся на ней свежие полоски кожи, содранной с ивовой ветки. Он поднял одну из них, пощупал сырое лыко, задумался, огляделся испытующим взглядом и проговорил, смущенно смотря на меня:

«Кто-то был здесь сейчас... Не ты?»

Я ответил, не подумав: «нет», и сейчас-же пожалел, что не сказал «да».

«Знаете-ли», обратился он к моей матери, «здесь очень хорошо, но местечко это уже известно кому-то, и я скоро открою — кому. Раз попав в овчарню, волк всегда возвращается туда».

Он собирался снова поднять мою мать на-руки, чтобы нести ее дальше, как вдруг взгляд его, упав на траву, остановился на одной точке; он нагнулся и поднял с земли не-

спровержимое доказательство измены: камфорный шарик, который Ирина носила обыкновенно на красной шерстинке вокруг шеи и который она потеряла в пылу любовных утех! Коди́н, застыв на месте, держал с таким видом шарик в руках, как будто просил: «Возьмите, возьмите его! Он жлет мою руку!» Затем взгляд его снова перешел на брошенные полоски ивовой коры; руки его опустились с таким напряжением, как будто он собирался поднять с земли тяжелую балку, и он положил несколько обрезков лыка в карман.

Вернувшись к палаткам, Коди́н подошел к своей любовнице, которая беседовала с Алексисом, и взгляд его скользил несколько раз с голой шеи Ирины на руки Алексиса. Тот вертел в руках ободранную веточку ивы. Коди́н спросил очень спокойно:

«А где-же твоя ладанка, Ирина?»

«Я потеряла ее, Коди́н».

Санитары, действительно, явились в течение утра и констатировали присутствие четырех здоровых людей.

«Теперь можно вернуть мать, Адриан», весело сказал Коди́н.

«Я тоже пойду, чтобы посмотреть, куда вы ее запрятали», и Ирина пошла за нами.

Коди́н посмотрел на меня странным взглядом и ответил, не оборачиваясь к ней:

«Э! Почему же нет? И ты тоже можешь идти, брат Алексис».

Коди́н курил, идя молча рядом со мной. Когда мы спустились с откоса, Алексис шел за нами по пятам, а Ирина, замедлив шаг, пропустила его перед собой. Коди́н сде-

лал вид, что ничего не заметил, но возвращаясь затем с моей матерью, которая шла без посторонней помощи, он крикнул: «Эй, Ирина?»

«Ну, что?» ответила она из злосчастного кустарника. Она вероятно искала свою ладанку.

Кодин, посмотрев на меня, промолвил: «Ты видишь, как волк возвращается в овчарню?» — и снова остановившись:

«Что ты там делаешь?»

«Чорт возьми, м... если хочешь знать!»

«А ты, Алексис, не хочешь-ли и ты?»

Алексис глупо рассмеялся, — он ничего не понял. Этим ограничилось расследование Кодина.

Я не знал что думать. В полдень мы обедали все вместе, что случалось каждый день. Кодин, который обыкновенно поглощал целое кило котлет — на этот раз ел мало. Он избегал смотреть на меня и много говорил. Он даже заставлял нас смеяться и сумел усыпить бдительность тех, кому особенно следовало бы быть на чеку. Моя мать, однако, не дала себя обмануть, а я еще менее.

«Адриан, здесь дело не важно: Кодин замышляет недоброе!... Как только мне станет лучше, мы с тобой поедем к дяде Диме. И да хранит Господь этих трех несчастных!»

Моя мать всегда предоставляла Богу улаживать сложные обстоятельства; но я, крестовый брат Кодина, я не мог понимать, как Бог сможет остановить его занесенную для смертельного удара руку, и рассуждал совсем иначе. Я решил ни на шаг не отходить от Кодина.

Ему, однако, очень хотелось, чтобы я его оставил в покое. Он пошел один прилечь в тени большой ивы, где мы с ним ежедневно отдыхали днем. Обыкновенно он сам звал меня с собой; на этот раз я пошел за ним без приглашения: разве мы с ним не были крестовыми братьями?

«Хорошо, что ты пришел». Голос его изменился. «Я как раз хотел спросить тебя: что ты думаешь об этой потерянной ладанке и о кусках лыка, брошенных в кустах?»

Он вытащил из кармана камфорный шарик и полоску ивовой коры, которую стал наматывать вокруг своего пальца, как ленту.

«Я думаю», сказал я, «что Ирина обронила свою ладанку».

«Ишь какой хитрый! Нетрудно придти к такому заключению, когда я держу ладанку в руке, а Ирина признается, что потеряла ее! Но что ты скажешь об этих полосках коры, найденных рядом с ладанкой?»

«Коры, брат, коры... С той ободранной ветки, что в руках Алексиса. Ну-ка? Ты ведь видел ветку?»

«Да...»

«Что же ты скажешь об этом совпадении?»

Я не мог вынести его жгучего, пронизывающего взгляда и, чтобы уклониться от дальнейших вопросов, бросился на мягкую траву и вытянулся на животе. Он последовал моему примеру, опустил голову на скрещенные руки, уткнулся носом в траву и, тяжело вздохнув, заговорил с мольбой в голосе:

«Скажи мне, маленький брат, что ты думаешь об этом совпадении... И я тебе поверю».

«Но что же ты хочешь, чтобы я думал, Кодин? Они гуляли вместе, вот и все...»

«Как друзья, да?...»

«Да... Почему же нет?...»

«И они пошли в рощу, смяли там траву, погериали ладанку, так что даже не заметили... Все это, братишка, как друзья?...»

«?...»

«Говори же, мой маленький брат, отвечай... Заставь меня верить, что все, что я думаю — неправда! И... спаси меня, если можешь, но только не такими глупыми ответами!...»

Он говорил лежа все в том же положении, уткнувшись лицом в траву.

Перед нами, поодаль, в тени, испещренной яркими пятнами просвечивающего сквозь листву деревьев солнца лежали неподвижные фигуры моей матери, Алексиса и Ирины; они отдыхали, растянувшись каждый перед своей палаткой. По обнаженным до колен загорелым ногам Ирины скользили серебристые солнечные блики. Козин поднял голову и, упершись подбородком на руки, уставился зверским взглядом на эти неподвижные ноги, и лицо его искажилось. Меня обуял страх, — безумный страх; я коснулся его руки:

«Козин, брат мой, что ты делаешь?... О чем ты думаешь?...»

Он приподнялся, словно приходя в себя, после страшного сна, и сел, отвернувшись от пугавшего его видения. Он туго посмотрел на меня и проговорил:

«Мой славный Адриан, лучше было бы порвать наш договор... Да...»

«Какой договор, Козин?»

«Который мы заключили в болотах, почью, на охоте...»

«Перестать быть крестовыми братьями, Козин?»

«Да... не быть больше братьями...»

«Как?... Почему же?» воскликнул я с болью в сердце.

«Потому что; потому что нет братства на земле... Ах, оставь, оставь меня в покое!... Я скоро отправлюсь жить к волкам!...»

Его лицо побледнело и снова приняло спокойное выражение. Он проворно вскочил на ноги, и я, как верная собака, последовал его примеру; он направился быстрыми шагами к Алексису и весело крикнул ему:

«Брат Алексис!... Запрягай-ка лошадь! Давишенько, чорт возьми, не пили мы у Анжелины!»

Алексис вяло поднялся с места:

«Понятно: из за холеры...»

«Ну ее!... Холера еще далеко не худшее из зол, которое взвалили на шею нашего бедного мира!»

Пока Алексис запрягал, Козин вертелся вокруг Ирины, все еще лежавшей на траве и смотревшей на него из под своих длинных ресниц; вдруг он резким движением наклонился к ней и стал вертеть перед ее носом камфорный шарик. Молодая женщина выпыхнула и затем сразу побледнела, как мел. Козин посмеивался:

«Ты узнаешь это, милая?»

«Где ты это нашел?» спросила женщина сдавленным голосом.

«Там где ты потеряла.»

Услышав голос Алексиса, который звал его, стоя на тележке с возжами в руках, Козин выпустил из пальцев ладанку; она упала на лицо Ирины.

«Оставь ее себе, моя красавица! Она еще может пригодиться тебе против холеры и... чтобы убить человека...»

Ирина закрыла лицо рукой. Кодин побежал к тележке, вскочил в нее, обняв Алексиса, и я вскочил за ним, в свою очередь обхватив его рукой... Лошадь пошла рысью и мы поехали, стоя все трое во весь рост.

Ни одного играющего ребенка, ни одного занятого своим делом человека, ни одной женщины на пороге дома. Пустыня... Холера...

Тележка остановилась у кабака. В нем не было посетителей, кроме старого чистильщика вагонов, которого холера не хотела избавить ни от жизни, ни от пьянства.

Внутри было прохладно. За стойкой сидела Анжелина немного бледная и печальная, как всегда ко всему равнодушная. Рядом с ней, на стуле, ее мать по обыкновению чинила старье.

Мы уселись по середине комнаты за круглым столом. Подали вино. Мне тоже налили, но я не мог пить. Я не в силах был отвести глаз от Кодина, который вливал в себя стакан за стаканом. Алексис тоже пил, но не так безудержно.

Первые несколько литров были поглощены при общем молчании и почти без движения. Кодин спросил:

«Куда девался слуга?»

«Холера», отвечала Анжелина.

Этого слова было достаточно в то время, чтобы объяснить исчезновение человека.

Я вижу вновь перед собой всю сцену.

Чистильщик вагонов, перед которым стоит полуопрошенный стаканчик водки, дремлет, опустив голову на

грудь. Алексис, стараясь развеселить Кодина, плюет вином в старика, который ворчит, вытирая лицо; Кодин не смеется, — напротив, он становится все мрачнее. Алексис смеется за всех и, желая проявить перед Кодином свою угодливость, идет к тележке и возвращается с ободранной ивовой веточкой, которую он привез с собой.

Кодин, который в это время сидел спиной к двери, не видел входящего Алексиса; тот подходит к дремлющему старику и звонко ударяет прутом по его столу; неожиданный удар пугает пьяницу и заставляет всех нас подскокнуть; но более всех взволнован Кодин. Взгляд его падает на ивовый прут. Он бледнеет. Собираясь пить, он опрокидывает стакан. Алексис, продолжая держать хлыстик в руке, смущается:

«Это тебя так испугало... Удар по столу?..»

«Очень... удар пришелся мне в сердце!..» отвечает Кодин могильным голосом.

И, не отводя от него взгляда, который не мог на этот раз обмануть ни меня, ни Алексиса, ни даже равнодушную ко всему Анжелину, Кодин берет руку своего друга, заставляя его пощупать большой шрам на своем затылке, и говорит:

«Видишь ли, Алексис?.. Удар твоего хлыста причинил мне больше страданий, чем дубина, которая ошеломила меня, когда я спасал твою жизнь».

Алексис, продолжая стоять, с удивлением смотрит на своего друга и не знает что отвечать, но когда Кодин поднимается с места и встает перед ним, как каланча, — он становится желтым, как лимон. Взгляд его перебегаёт от Анжелины ко мне и обратно, как бы спрашивая:

«Он знает?»

«Каким ножом срезал ты кожу с ветки, дорогой Алексис?» спрашивает Кодиш, ставя одну ногу на табуретку.

«Вот этим»... бормочет Алексис, вытаскивая нож из за пояса.

Кодиш берет его, проводит большим пальцем по лезвию, пробует острие и говорит:

«Он не годится для того, чтобы вонзить в сердце, — разве, чтобы разрезать луковицу!.. Если хочешь, чтобы этот нож стал опасным, надо окупить его острие в отраву, — смотри, какой яд лучше всего!»

Он растегивает свой рукав и всаживает нож на сантиметр в нижнюю часть руки.

Я вскрикиваю, и Анжелипа тоже, Алексис говорит:

«Брат Кодиш!... Что с тобой?»

«Ах, брат Алексис!» отвечает тот, возвращая ему нож и не останавливая кровь, которая струится по его руке — «Ах... меня ужалила сегодня утром змея!... Анжелипа, неси вина!... А ты, Алексис, спой чтонибудь, спой, мой брат!... Садись на этот стул... Я люблю, чтоб ты сидел. Спой, например: «Дорога в Тангарац».

Луч радости промелькнул по лицу Алексиса, с которого крупными каплями катился пот: он знал, что его пение всегда чарует Кодиша.

«Почему ты выбрал эту грустную песню?» решает он спросить.

«Так, брат... Чтоб вспомнить то, что я успел забыть...»

Пока его крестовый брат ходит, как лев по клетке, вокруг табурета, Алексис садится и начинает петь дрожащим голосом:

«По дороге в Тангарац
Идут солдаты,
Которые ведут осужденных...
Когда видишь, как они волочат цепи,
Тяжело становится на душе!....

Королева!... Ваше Высочество!...
Облегчите немного их страдания!
Страдания обреченных!...

Кодиш с горящим, налитым кровью лицом, — как в день знаменитой драки, подойдя сзади запрокидывает голову Алексиса и говорит ему с ужасающей нежностью:

«Ах, брат мой Алексис! Я люблю эту песню! Но дернул же тебя чорт сегодня утром срезать ветку ивы?... Пожалуй, ты каждое утро срезал хлысты, пока я ездил за провиантом, скажи ка?»

Голова Алексиса лежит на руках Кодиша, глаза его смотрят в его глаза, пока он отвечает сдавленным голосом:

«Я не понимаю, Кодиш...»

«Ты не понимаешь, Алексис?... А не узнаешь ли ты эту кору?»

Тело несчастного подбрасывает судорога. Кодиш вытащил из кармана полоски ивовой коры и глаза его налились кровью.

Вдруг Кодиш выпускает из рук голову друга, отскакивает, как ошпаренный, и Алексис, опьяневший от вина и горя, падает лбом на стол. Я помню, что в наступившей тишине старуха проговорила сама себе:

«Прости меня, Создатель!... Я забыла, что завтра пятница, — глупая моя голова!...»

И обернувшись к дочери, прибавляет:

«Мы не затеплили лампы милосердной Св. Винерии!...»

Она поспешно уходит, возвращается со стаканом и принимается налаживать лампаду, прибавляя масла и меняя фитиль.

Глаза Кодина останавливаются на лампадке. Он стоит прислонившись к стене, с'ежившись и положив руки в карманы; его налитые кровью глаза переходят от лампадки к плечам Алексиса. Сняв шляпу, он крестится три раза. Затем, надевая опять шляпу, он кричит:

«Пой, Алексис!... Пой еще!... А ты, Адриан, пойдешь, отнеси стакан водки старику...»

Анжелина наливает водку, я беру стакан из ее рук и иду с ним к чистильщику вагонов, между тем как старуха зажигает лампадку.

Я слышу короткий стон в то время, что ставлю стакан на стол перед стариком; обернувшись, я вижу, как Кодин, опираясь всем телом на спину придавленного его тяжестью Алексиса, обнимает его, повторяя ему на-ухо голосом, похожим на предсмертный крик:

«Пой, Алексис!... Пой, брат мой!...»

Сначала я ничего не понимаю, но вижу, что тело Алексиса дергается, отбываясь. Видя, что никто ничего не говорит, я подхожу ближе; движением локтя Кодин отталкивает меня и в то же время делает прыжок назад. На моих глазах из левого плеча Алексиса вырывается струя крови и он валится на пол!... Я вижу еще, как сквозь туман, что Кодин вскакивает в тележку Алексиса и исчезает. Анжелина, без единого возгласа, поворачивается

спиной к происшествию, а старуха, затеплив лампаду Св. Винерии, на мгновение опускается на колени и затем спокойно ставит ее на пол, возле головы покойника.

Ноябрь заливал землю ледяным дождем. Избавившись от эпидемии, слобода, казалось, медленно оживала, копошась в топкой грязи площади. Я одиноко и грустно сидел с книгой около своей лампы, когда, часов в восемь вечера, едва слышный стук в окно, выходящее на улицу, заставил меня оторваться от книги и выйти на двор.

Моей матери не было дома. На дворе царила темнота, стояла непролазная грязь и дождь лил, как из ведра. Накинув мешок на голову и с трудом волоча свои деревянные башмаки, я открыл ворота — и невольно попятился: передо мной стоял, сгорбившись, Кодин.

Я не мог разглядеть его лица, но легко было узнать его по фигуре; сердце мое больно рванулось в груди.

«Молчи!... идем ко мне!...» прошептал он, обдавая меня отвратительным винным перегаром и запахом табака.

Он взял меня за руку и от прикосновения этой холодной, как у мертвеца, руки, во мне застыла кровь. Если бы не громадная жалость, наполнявшая мою душу и наболевшее сердце, я не пошел бы за этим человеком, которого разыскивала полиция и который так мало походил на моего Кодина прошлого лета.

«Я пришел из болот!» говорил он, идя по двору. «Из болот, где я жил с волками! Но у волков есть шкура, которой нет у меня. Я околел и стал безобразнее, чем когда либо; не пугайся!... Что делать, я всегда бежал от своего безобразия, боролся с ним, но теперь — довольно!... Теперь я помирился с ним, мы живем с ним в мире».

Он толкнул дверь своей комнаты. Тетка Анастасия сидела перед огнем, спиной к двери; при появлении сына, она сделала от испуга такой прыжок, как будто увидела чорта. Действительно, Кодин, не брившийся два месяца, покрытый грязью, в лохмотьях, огрубелый и в добавок пьяный, — перестал походить на человека.

Он с порога указал мне на свою мать, с насмешкой оскалив зубы, как дикий зверь:

«Что за пугало! Понятно, что сама холера побоялась ее! И она еще смеет пугаться меня!...»

С этими словами он бросился, как был, на постель, между тем как тетка Анастасия усаживалась снова на свое место.

«Закрой дверь и садись на скамеечку», сказал он. Я не буду долго задерживать тебя... Я и не стал бы тебя беспокоить, если бы воспоминание о тебе не преследовало бы меня... Но раньше, чем предать себя суду людскому я подумал, что имею еще... может быть... право на земле позвать руку ребенка, — брата!... — Дай мне твою маленькую руку, Адриан, дай мне почувствовать тепло твоей крови! — Ах, эта кровь! Та капля крови, которую я выпил в ночь охоты, помнишь? не смогла уничтожить яда, которым эта гадина вскормила меня!... Кровь моя была отравлена на-всегда!... Я прошу тебя, Адриан, — когда будешь вспоминать меня, думай обо мне с состраданием... Ибо, если жизнь моя и была преступной, — я всегда стремился делать добро... Но все отвернулись от меня».

Он помолчал с минуту. Его веки, отяжелевшие от сна, были полузакрыты. Затем он снова заговорил, почти не открывая глаз:

«Слушай теперь, что я тебе скажу: представь себе, что я во что бы то ни стало хочу еще пожить... Но жить иначе... Я молод... Тридцать два года... Я знаю, что на душе моей лежит тяжелый грех; но за деньги «бояре» не откажут поговорить. Все дело в том, чтоб пригласить одного или двух знаменитых адвокатов из Бухареста, хорошо им заплатить и предоставить им говорить на суде!... Чорт возьми!... Судьи тоже люди, у них тоже есть свои маленькне слабости. И они могут, если они захотят, запутать свод законов и свои доводы... Завтра, на рассвете я так придавлю коленом шею этой старой ведьмы, которая греет там свою задницу у огня, что выдавлю из нее, чорт возьми, не только деньги, которые она бережет для попов, но еще в придачу и то молоко, которое она высосала у своей матери!... Потом... впрочем... увидим... Через 10 лет я еще не буду стариком... Может быть пойду в монастырь, на Монт-Антос, или еще куданибудь... Там хорошо живут... Одним словом... Дело в том... дело... в том... чтобы... чтобы...»

Кодин заснул. И тотчас же поднялся невероятный храп, его огромный раскрытый рот зиял, обросший по краям щетиной.

Я заметил в это мгновение, что тетка Анастасия сурово насторожилась. Ее обыкновенно бегающие глаза усталились на меня с презрением. Она принялась без толку топтаться, — взяла кастрюлю и снова отставила ее, — помешала огонь и стала шарить под кроватью, без всякого опасения разбудить Кодина. Затем она нагло усталилась на меня, как будто говоря: «Чего ты тут торчишь? Убейся вон!...»

Я встал и еще раз взглянул на Кодина: положительно невозможно было бы спать в одной комнате с этим чудо-

вицем, которое, отрыв пасть, хранило так, что весь дом дрожал. Шлепая по лужам в темноте под дождем, я пробрался обратно домой.

Прошел час, — час, полный для меня несказанных терзаний: сожалений, жалости, опасений, горечи, воспоминаний трагедии минувшего лета. Мне хотелось сказать ему несколько слов упрека, но его пьяное состояние помешало мне сделать это...

Моей матери не было еще дома, когда часы пробили девять часов и в то же мгновение ужасный крик, похожий на крик убиваемого зверя, нарушил тишину.

За ним раздался второй такой же страшный вопль, и затем послышалось ужасное предсмертное хрипение, от которого задрожали стекла в окнах.

Я побежал в кухню, чтобы выйти на улицу посмотреть в чем дело. Хрипы, все слабея, доносились не с улицы, а со двора. В голове моей промелькнула мысль, что тетка Анастасия могла убить Кодина ударом топора: но нет, это не было возможно: такой недоносок!

Я быстро всунул опять ноги в башмаки, схватил свой мешок и открыл дверь. Навстречу мне неслись голоса мужчин и женщин, — возгласы ужаса... Я очутился во дворе. — Наша хозяйка была уже там и кроме нее разные люди, которые входили и выходили к Кодину через брешь в заборе.

«Что такое? Что случилось?»

«Мой бедный мальчик!» воскликнула хозяйка, закрыв лицо руками.

И я узнал, в чем дело:

«Тетка Анастасия влила в рот спящего Кодина литр кипящего масла».

Я бросился к бреше в заборе, но человек, который тут стоял, остановил меня, ласково сказав:

«Не ходи туда, малыш, — смотреть страшно!...

Еле волоча дрожащие ноги, я вошел в дом Кодина с улицы. Двор тетки Анастасии был переполнен народом. Меня не пускали смотреть. Я влез на забор. Оттуда я увидел мешок; на тело Кодина, наполовину вытащенное из комнаты, был брошен мешок. Он больше не двигался. Рядом, на «grispa», тетка Анастасия сидела на корточках около трупа своего сына с грошевой свечей в руке. Она спокойно смотрела на него. Пламя свечи колебалось от ветра.

П. П. Муратов

ПОСЛАННИК

Непрекращающиеся в последние годы землетрясения заставили многих государственных людей Европы и Америки подумать об установлении некоего практического *modus vivendi* с самой преисподней. Рассказывали, что английский премьер, сидя в своем деловом кабинете, воскликнул после тревожного размышления: «в один прекрасный день мы полетим все вверх тормашками!» Приблизившийся секретарь собирался подать реплику, предполагая что дело идет о скором голосовании в Палате Общин, но к удивлению увидал, что премьер тычет пальцем в то место *Times*, где было описано последнее землетрясение на Балеарских островах.

В финансовых и индустриальных кругах вопрос встретил благоприятное отношение к себе. Порученный специалистам подсчет продуктов возможной эксплуатации открыл в высшей степени заманчивые перспективы. Земные недра обещали уголь, руду, серу и, главное, нефть. По догадкам некоторых ученых надо было ожидать открытия целых рек и озер драгоценного **жидкого** топлива, столько веков нерасчетливо **тратившегося там** внизу для поддержания уже устарелого в идее адского пламени. Помимо того промышленность могла завоевать новый обшир-

ный рынок, и умеренные социалисты не отрицали, что репительная политика в этом направлении вообще способствовала бы уменьшению безработицы. Германская тяжелая индустрия со свойственной ей дальновидностью, пока еще только начиналась газетная кампания, уже оборудовала несколько заводов для изготовления стальных решеток для поджаривания на медленном огне и эмалированных сковород для лизания.

Газетная кампания была финансирована несколькими нефтяными и металлургическими трестами. В широких кругах общества отнеслись к этому с большим любопытством, которого впрочем хватило ровно на две недели, не взирая на многие столбцы специальных корреспондентов, озаглавленные «По стопам Данте» или «На берегах Стикса» и помеченные городом Дите. Правда, злые языки уверяли, что несмотря на все эти заголовки и подписи впечатления корреспондентов сочинялись в стенах редакций.

Довольно острая полемика возникла по поводу кратчайшего пути в преисподнюю. Здесь с серьезными историческими претензиями выступил Неаполь. Не были ли Флегрейские поля, так сказать, классическим местом схода в Тартар? И не представлялось ли возможным соответствующим образом оборудовать Везувий, разбив построенный Куком фуникулер до вершины и снабдив кратер небывалой мощности лифтом? Партенопея мечтала о превращении своем в крупнейший промышленный центр Европы, и воображению передовых итальянцев уже рисовались доменные печи и нефтяные цистерны на берегах залива у Поццуоли, прославленного видом Искки и заводских труб Армстронга. Другие, напротив, настаивали на Исландии и в доказательство, странно сказать, ссылались на «Путешествие к центру земли» Жюль Верна.

Когда их укоряли в этом они пожимали плечами и указывали на то, что, нравятся ли это кому или нет, факт остается фактом: именно Жюль Верн, а не кто либо другой оказался пророком нашего гениального века.

Что касается дипломатической стороны вопроса, то здесь задачи реальной политики легко восторжествовали над доводами моральными или, вернее, сантиментальными. Весьма различные между собой правительства выказали в этом вопросе удивительное единодушие. Хотя иерархическое устройство, наличие каст и обилие титулов несколько шокировали русскую республику, она все же обратила «братский привет к трудящимся ада», и третий интернационал открыл соответствующую секцию среди народов Востока. Правительства Англии и Франции, не столь свободные от религиозных предрассудков, заняли более осторожную позицию и дали понять очень тонко, что готовы принять официального посланника, однако как совершенно частное лицо. Что же до Германии, то здесь уже давно была в ходу упрощенная формула: «Ради восстановления отечества хоть с самим дьяволом!». Литераторы и философы вспомнили весьма кстати о Гете и Мефистофеле. А один бывший генерал, произнеся речь, дружелюбно упомянул о «старом немецком чорте полей сражений».

Так или иначе вскоре пришло известие, что официальный и в то же время совершенно частным образом путешествующий посланник ада, князь Бельфегор намерен посетить Лондон, Париж, Нью-Йорк, Берлин и Москву, заинтересованный в установлении экономических и культурных связей, а также готовый к обсуждению беспокующей подземные сферы крайне усилившейся в последние годы иммиграции из восточной Европы. В противопо-

ложность всем предположениям, князь Бельфегор вышел на поверхность земли сквозь кратер потухшего вулкана на одном из маленьких островов голландской Индии. Появление его на территории нейтрального государства было сейчас же оценено как дипломатическая тонкость Ст. Джемсом, Quai d'Orsay и Wilhelmstrasse. Голландским купцам опять повезло: от этого дела пахло Библией и хорошими барышами.

Князь Бельфегор, в сопровождении порядочной свиты, совершил переезд на комфортабельном пароходе Восточной Голландской компании. Любопытство пассажиров было сильно затронуто таинственностью и замкнутостью этикета, окружавшего высокого путешественника. Больше всего, это было похоже на выезд в Европу какого нибудь владетельного индийского раджи. И тем не менее, первые журналисты, слетевшиеся в Роттердам интервьюировать странного гостя, были жестоко разочарованы в своих экзотических надеждах. В отеле их встретили и передали с рук на руки безупречно дрессированные секретари трех ступеней. Затем их заставили дожидаться около получаса в приемной запятых князем апартаментов. Интервью им было дано наконец с несколько азиатской небрежностью. Посланник принимал их в шелковом пестром халате и во время разговора, продолжавшегося ровно двенадцать минут, старательно оттачивал пилкою ногти. Он произнес несколько сладких учтивостей по адресу европейской и американской прессы и охотно распространялся о дорожных своих впечатлениях. Когда же кто то задал ему вопрос о политике он остановил это решительным жестом. «Поговорим лучше о литературе» воскликнул он и, обратившись к сотруднику Temps, улыбнулся: «Что нового в Париже?» Корреспонденты принуждены были протеле-

графировать в тот вечер редакциям, что князь Бельфегор был усердным читателем даже не Пьер Лоти, но Анатоль Франса.

Наружность посланника ада, разумеется, прежде всего интересовала газетчиков и их читателей. Кое кто из болес наивных конфереров, боясь в том сознаться, все же втихомолку подумывал о рогах, о когтях, о хвосте и о раздвоенных копытах. Но где там! Повидимому весь этот устарелый арсенал даже не был искусно припрятан, как прячут цивилизованные китайцы косу, но по просту давно сдан был в архив. Пытались осторожно заговорить о том лишь с самым низшим из секретарей, но тот сделал такое непонимающее лицо, что стало неловко его собеседникам.

Наружность князя была элегантна: высокий рост, породистая худоба, чуть чуть сутулые плечи и очень характерная длинная голова с узким лбом и острым подбородком. Выдающийся нос с сильной горбинкой разделял круглые темные, мерцающие желтым огоньком глаза под сросшимися черными бровями. Линия скул была резко очерчена, плотно сжатый тонкий рот часто змеился саркастической усмешкой. О жарком климате свидетельствовала смуглота кожи. Князь Бельфегор не носил по дипломатической традиции ни бороды, ни усов, но, как признавался приближенный к нему парикмахер, ему приходилось по крайнй мере четыре раза в день бороться с предательски быстрой растительностью. Портрет посланника был напечатан через два дня во всех газетах. В антисемитской почати немедленно появились соответствующие намеки, имевшие впрочем некоторое основание, ибо кто стал бы отрицать, что князь Бельфегор принадлежал все таки к библейской расе!

В Голландии посланник жил несколько дней, соблюдая полнейшее официальное инкогнито. Полицейским агентам и журналистам удалось выследить, однако, его поездку на автомобиле в Рурскую область. Князь Бельфегор несомненно имел там несколько деловых и сердечных встреч с немецкими индустриалами. Но, во избежание кривотолков, была пущена в печать маленькая заметка о том, что поездка в Рур была вызвана лишь обуювшей князя ностальгией по пейзажам ада. Пейзажем в окрестностях Эссена остался он совершенно удовлетворен.

Вскоре после того подземная миссия выехала через Хук Фан Холланд в Англию. Как будто повинувясь данному кем то сигналу, английская печать и английское общественное мнение встретило приезд Бельфегора не то благодарным, не то стыдливым молчанием. Не то государственный такт сказался в этом, не то привычное лицемерие. Так или иначе в атмосфере условного небытия князь Бельфегор развил особенно успешную деловую деятельность. В начале не обошлось, впрочем, без некоторых курьезов. Рассказывали, что посланник ожидался впервые на очень важном совещании представителях крупных нефтяных трестов. За столом, покрытым драгоценным ковром, собрались двенадцать крайне денежных христиан и евреев. Но когда лакей распахнул дверь, называя имя посланника, когда уже послышались в наступившей внезапно тишине его шаги, как христиане так и евреи мгновенно очутились под столом, крепко держась за его массивные ножки и выглядывая апопектическими лицами из под роскошного ковра. Войдя в зал князь Бельфегор увидел тринадцать пустых стульев, тринадцать листов бумаги и тринадцать карандашей на столе. Он сразу

все понял и улыбнулся, негромко воскликнув: «Протестантская страна, ветхозаветные предрассудки!».

Все обошлось однако в скорости самым благополучным образом, и посланник преисподней покинул Лондон очень довольный достигнутыми результатами. Парижская печать, в противоположность лондонской, подняла вокруг его приезда некоторый шум. В хоре голосов, приветственных и равнодушных, слышались и голоса негодующие, совершенно необходимые во всяком торжественном хоре общественного мнения. Проглядывая иные листки в отеле, князь Бельфегор все же слегка морщился. Его секретарь имел конфиденциальные беседы с несколькими опытными журналистами, которые, к их удивлению, кончались не совсем банальным образом. В тот момент, когда принято подписывать чек, секретарь вынимал из пестрого шкапа хорошенький мешечек из цветного шелка. Улыбаясь докладывал он, что создание inferнального банка еще не настолько подвинулось вперед, чтобы они могли отказаться от дедовских и восточных обычаев. Один недоверчивый журналист развязал мешечек тут же в приемной. Он полон был самыми настоящими золотыми, горячими однако, как если бы кто то только что вытащил их из огня!

Еще в своем первом парижском интервью князь Бельфегор заявил во всеуслышание, что намерен прежде всего отдыхать и наслаждаться жизнью. Париж, оказывается, всегда был его пламенной мечтой. Приезд миссии явился сенсацией весеннего сезона. Было много толков, много острот, много любопытствований и немало пророчеств. Ничто, однако, не изменилось в Париже хоть сколько нибудь видимым образом. Лишь один художник, поднявшийся на Нотр-Дам в самый день встречи

редкого гостя, заметил с удивлением, что химеры казались помолодевшими и слегка зарумянившимися. Но он не читал газет и ничего не слышал о прибытии миссии.

Сенсация первых дней улеглась быстро; она вновь возникла вместе с известием о создании собственной резиденции князя, соорудившейся с необыкновенной быстротой. Было выбрано место подальше от Елисейских полей на rue d'Enfer, ныне Denfert Rochereau. Для сооружения, которое устраивалось там, на европейских языках не нашлось термина. Оставалось выдумать новое слово, которое по русски можно было бы перевести нелепым словом «земледыр» — не более впрочем нелепым, чем пресловутое «небоскреб».

Семнадцать этажей удивительной резиденции вели один за другим глубоко под землю. Все много и мало известные чудеса техники были призваны для их обслуживания. Посланник строго предписал, однако, своим инженерам не увлекаться чудесами и оставаться в пределах естественного и правдоподобного. «Поменьше магии, побольше математического расчета» — таков был его девиз. Ничего не боялся он в такой степени, как показаться парижанам претидижитатором и шарлатаном: времена Калиостро и Сен-Жермена прошли. Секретарям было сделано торжественное внушение избегать компрометирующих знакомств. «Никаких черпых месс, никаких шабашей, никаких эликсиров, пилюль, философских камней и расписок писанных кровью. Одним словом никакого Александра Дюма. Мы не на ярмарке и не в балагане».

В соответствии с этим убранство всех этажей, соединенных бесчисленными лифтами и освещенными, то сильными дуговыми фонарями, то нежными лампочками, отли-

чалось крайней сдержанностью. Корректность и хороший вкус — вот то, чем завоевал князь Бельфегор внимание общества. Романтическая и фантастическая сторона его появления стала, благодаря этому, легко забываться. Послани-
 ник был принят и принимал. Те, кто встречались с ним, не могли не признать его в высшей степени заниматель-
 ным собеседником. Сохраняя традиции своей расы, ка-
 зался он скептическим и разочарованным, неся на высо-
 ком челе полагающуюся печать мировой скуки, что со-
 четалось, однако, с необыкновенной деловой пронизатель-
 ностью, и в этом сочетании князь Бельфегор выказывал
 себя вполне дьяволом нашего времени.

Он цитировал *poetes maudits* с такою же точностью, с
 какой знал, в чьих руках находились контрольные пакеты
 всех акций. Под *gue d'Enfer* изящно вели дела, плели
 интриги, непринужденно ужинали и танцевали. Несколько
 привратников довольно мрачного вида охраняли вход, го-
 товые вместе с агентами полиции к подавлению каких либо
 враждебных манифестаций. Но никаких манифестаций и
 не было. На парижской улице чины миссии чувствовали
 себя так же, как у себя дома на улицах Дите. Они поль-
 зовались великим покровительством цивилизации и на-
 слаждались всеми ее благами от разноцветных жидкостей
 и цинковых прилавков бара, до вагонов метро, снискав-
 шего их особенное расположение.

Лишь два раза князь Бельфегор едва не сделался
 жертвой неприятного инцидента. Собираясь совершить
 прогулку в лесу он ловко вскочил на лошадь; та, дико
 храпя и прижав уши, поднялась на дыбы, затем упала на
 передние ноги и, ударив задом, сбросила всадника. В
 другой раз на прогулке пешком огромный дог кинулся на
 посланника с явным желанием схватить его за горло.

Князю пришлось бы плохо, если бы на пса не был по му-
 нципальным правилам надет намордник. Оба эти слу-
 чая произвели на *gue d'Enfer* неприятное впечатление.
 Посланиник предпочитал после того прогуливаться в ав-
 томобиле, питавшемся еще невиданной по термическим
 свойствам нефтяной смесью, которую называли техники «ад-
 ским маслом».

Само собой разумеется, что князь Бельфегор, с его
 корректностью и с его сарказмами, с его «адской кух-
 ней» и «адскими танцами», не содержащими впрочем
 решительно ничего адского в старинном смысле, пользо-
 вался большим расположением женщин. Но и здесь он
 выказал большую долю вполне современной умеренности.
 Никаких оргий, никаких козлований, никаких в общем
 скандалов! В свете лишь улыбались, замечая на шеях
 многих прелестных дам ожерелья из небывалых черных
 жемчужин и на их платьях целые созвездия из дотоле не-
 виданных огненных бриллиантов. Посланиник, когда ему
 говорили об этом, молчал и дискретно сам улыбался.

Были конечно и неблагоприятные толки. Говорили о
 том, что толстого банкира Бопу слишком быстро хватил
 удар, после слишком частых ужинов под *gue d'Enfer*, и что
 явно оспаривавшие одна у другой князя мадам М и мадам
 Н куда то исчезли вдруг после понадобившихся им по-
 дозрительных операций. Модный новеллист Дартенн со-
 всем запросто принятый в посольстве, заговорил однажды
 об этом с князем. Они сидели в кожаных креслах и ку-
 рили перед стаканами отвратительной жидкости, называс-
 мой виски и сода. Дартенн рассуждал о пережитках ро-
 романтизма, еще сказывающегося в болтовне нашего, в об-
 щем, трезво глядящего на вещи, общества. Князь Бель-
 фегор слушал его рассеянно и не прерывая. В тот день

он казался несколько хмурым и раздраженным. Внезапно он поднялся и сделал знак новеллисту следовать за ним. «Я покажу вам то, о чем вы не подозреваете», коротко сказал он. «Надеюсь умеете вы держать язык за зубами». Дартенн вспомнил о скудости литературных тем и побегал за ним с величайшей охотой. Они спустились в лифте до семнадцатого этажа и прошли несколько корридоров. Посланник шагал быстро и повеллист еле поспевал за ним. Его ухо вдруг различило за толстой стеной заглушенные вопли и рев пожара. Посланник толкнул дверь, отступать было поздно. Дартенн увидал голые плечи мадам М. и голый зад мадам Н. Самый вульгарный чорт, поросший всклокоченный рыжей шерстью, с хвостом и с рогами, стегал их попеременно просмоленной плетью. И тут же увидел француз в свистящем у самых ног огне, банкира Бопу, лизавшего на сковороде кипящее адское масло. Посланник глядел на это зрелище с презрительной улыбкой на лице, картинно освещенном красным отблеском пламени.

Все это были так сказать дела приватные. Но князь Бельфегор сделался мрачен от переполнявших его забот более общих. В тот же день к вечеру вызванный им секретарь застал его валяющимся на софе с выражением на лице разочарования. На полу подле него белела скомканная депеша особой важности. Посланник показал на нее пальцем. «Вот», сказал он, «прочтите». Он заговорил, не дожидаясь, пока секретарь окончит чтение документа, переписанного на машинке со специально заказанным клинообразным шрифтом. «Они не понимают», вздохнул князь, «они не хотят понять! Как можно работать в таких условиях? На каждом шагу встречаете вы недоверие, недомыслие, косность; вами хотят руководить от туда, как

маленьким чертенком. Перед вами вываливают на самой дороге весь хлам изжитой идеологии, которую давно пора сдать в архив. Рим! Ватикан! Небо! Вселенная! Эти пустые слова еще звучат в их ушах заманчивой музыкой. Я посылаю рапорт за рапортом, но кто их читает, спрашиваю я вас. Париж, Лондон, Берлин в наших руках, с Нью-Йорком и Москвой, я уверен, мы сговоримся без особенных затруднений. Прекрасный результат: все это, видите ли, ничто! Там предпочитают бряцать оружием, там чистят покрытые ржавчиной щиты и напяливают на себя дырявые латы. Там все еще мечтают о войне с небом, и это после того, как я доказал им, что небо теперь только физический факт!»

Князь Бельфегор вскочил с софы и прошелся по комнате, секретарь почтительно слушал его. Посланник вновь полулег, продолжая усталым голосом. «Им нужны жесты, одни только жесты, а не дела. И, потом, кто им сказал, что я не подумал о Ватикане? Я осторожно нащупывал почву и должен сказать, что встретил к себе, во всяком случае, вполне серьезное, вполне современное отношение! Вы помните ученого археолога, которому была здесь дважды дана весьма продолжительная секретная аудиенция? Monsieur Anguy называется иначе Père Anguy, милостивые государи!» произнес посланник отчеканивая каждое слово, как будто обращался к невидимым собеседникам. «И в такой момент, как раз, когда я жду ответа»... Князь усмехнулся, умолк. «Но чего же они хотят?» спросил секретарь с тревогой в голосе. «Очень просто», сказал Бельфегор уже более спокойным тоном. «Мы выезжаем в Рим». — «Штурмовать церковь», прибавил он сквозь зубы, после некоторого молчания. «Мы совершаем величайшую безтактность, величайшую глупость, сопряженную, не скрою от

вас, с некоторым риском». Секретарь, оставаясь стоять неподвижно, замето побледнел. Посланник взглянул на него и сразу развеселился. «Ах, мой милый», вскричал он «в карьере *diplomatus diaboli* надо быть готовым ко всяким случайностям!»

Было объявлено официально, что князь Бельфегор выезжает в Сицилию, чтобы на месте ознакомиться с добытанием серы в Джирдженти, а также практически установить пропускную способность Этны и Стромболи для налаживающихся экономических сношений. Поездка совершалась самым современным и самым комфортабельным способом, в трех великолепных автомобилях с моторами Roll Royce, специально работавшими на адском масле. Автомобили следовали один за другим, в первом — князь Бельфегор с главным секретарем, во втором — остальной состав миссии, в третьем — техники и эксперты. Путешествие шло очень гладко. Лишь при переезде через Альпы обитатели преисподней испытали очень неприятное чувство, что впрочем легко объяснялось, как непривычкой к холодному горному климату, так и незнакомыми им условиями атмосферы. Один из молодых секретарей позволил себе неуместную шутку. Заметив, как тяжело дышал на перевале его шеф, он сказал потихоньку соседу: «На несколько километров мы ближе здесь к небу». Тот принял это всерьез и поглядел на него с испугом.

Путешественники почувствовали себя легче на ломбардской равнине. Во время короткой остановки в Милане, их чествовала делегация местной масонской ложи. На следующее утро путешествие продолжалось. С высот Пистойи показалась внизу Флоренция. Посланнику неожиданно пришла в голову новая мысль. Оставив своих спутников дожидаться его за Порта Ромала, он, в совершенном

одиночестве и строжайшем инкогнито, совершил беглый обезд флорентийских музеев. Вернулся он очень оживленным, помолодевшим, как еслибы совершил трудный спортивный подвиг. Глаза его блестели. Когда автомобили тронулись, первый секретарь посмотрел на него вопросительно. Посланник слегка ударил его по плечу и засмеялся почти торжествующе. «Все видел» сказал он. «Чимабуэ, Джотто, Фра Анджелико. Уффици и Питти. Сан Марко и Сан Лоренцо». Секретарь подпрыгнул на мягком сиденьи от понятного удивления. Князь Бельфегор расхохотался. «Да ведь это же все музеи, поймите вы это», сказал он. — «Только музеи. Я так, впрочем, и думал».

На развертывающиеся вокруг пейзажи Тосканы смотрели чины адской миссии с худо скрытым недоброжелательством. Кипарисы, зубчатые замки, нежные холмы, мирные родеге, и церкви, церкви, слишком много церквей. Князь Бельфегор зевнул и закрыл глаза. «Средневековье», пробормотал он презрительно. Тем временем пронеслась Сиена, и уже удлинились тени ее тонких башен. Километры за километрами сжигались в дружной работе моторов Roll Royce и адского масла. Ударили колокола сельских кампаниле. Посланник и его секретари поеживались. Их поезд влетел в маленький темный городок и здесь произошел катастрофа. Белые волы, тащившие повозку, парашнулись от передовой машины с таким проворством, которого нельзя было ожидать от этих животных. Шоффер круто поворотил во избежание столкновения и ударил о каменную стенку. Толчек, поломка, погнутое шасси. Посланник и секретарь благополучно выскочили, задние автомобили остановились. Князь Бельфегор слегка оскалил зубы. «Как называется это милое селение?» спросил сг с яростью. «Буонконвенто», ответили ему.

В тот самый вечер после Ave Maria пришел в Буонконvento Дон Серафино, приходский священник церкви Сант Анджело ин Кампанья, стоявшей в нескольких километрах к югу от городка на разветвлении двух дорог. Дон Серафино спешил, поглощенный заботами о своем хозяйстве. Придя в городок, он направился к пьяцце, кое что купил, кой с кем поговорил. Когда он окончил дела, уже стемнело. Он вышел на пьяццу, отирая платком лицо, вспотевшее от нелегких побед над тосканским упрямством. В конце единственной улицы увидел он яркий белый свет, услышал голоса, стук молотков, лязг железа. Привлеченный любопытством, Дон Серафино направился туда.

Белый свет проливали сильные ацетиленовые фонари, и от них еще чернее казалась кучка горожан, обступивших поломанную машину. Вокруг приезжих образовали они почтительное кольцо, украшенное одним карабином. В яркой полосе света выделялись резкие профили, чернели впадины глаз, блестели зрачки и зубы, открытые улыбкой: князь Бельфегор, окруженный секретарями самолично наблюдал за починкой. У колес работали, стучал молоток, визжал напильник, гудела паяльная трубка. Как это всегда оказывается в Италии, явился бывалый находчивый человек, который ловко взялся за дело, не слушая тех советов, которые давали ему господа эксперты и инженеры. Жители Буонконvento с восхищением созерцали работу своего согражданина.

Дон Серафино робко пробрался вперед, касаясь шляпы, чтобы иной раз ответить на поклоны. На работающих и на дожидавшихся взирали он с почтением к богатству и к общественной иерархии. Мальчишки пролезли вперед, потрагивая пальцем лак кузова и медные ручки. Дон Серафино вдруг захотелось тоже во что бы то ни стало кос-

нуться машины. Он незаметно ступил и положил свою тяжелую руку на слегка согнувшееся под ее тяжестью упругое крыло. Внезапно отдернул он руку и отступил назад. Ему показалось, что на него смотрят приезжие. На короткое мгновение его глаза встретились с многими светящимися желтым огоньком и насмешливостью глазами. Дон Серафино сконфузился, опустил голову и выбрался из толпы.

Он направлялся домой, когда его догнал и окликнул аптекарь, синьор Траппола. Синьор Траппола был вольнодумцем и республиканцем, и простоватый священник Сант Анджело служил мишенью многих его шуток. «Дон Серафино», звал аптекарь. «Дон Серафино, какова новость, каковы времена!» — «Добрый вечер, синьор Траппола», сказал священник «что случилось?» Он оглядел с некоторой осторожностью возбужденное лицо аптекаря, его с'ехавшую на затылок шляпу, его сбившийся черный галстук. «Дон Серафино, вы знаете мои убеждения, но я вам скажу, что это уже слишком. Basta!» Священник выслушал затем с возрастающим удивлением все, что синьору Траппола удалось прочитать в газетах и услышать в толпе о путешествии посланника преисподней. В конце речь аптекаря стала бессвязной, он повторял только: «У нас в Буонконvento? Нет, basta!» Дон Серафино недоверчиво поглядывал на него с высоты своего высокого роста, боясь какого либо подвоха. «Вы опять шутите синьор Траппола?» сказал он и попытался даже улыбнуться и пригрозить пальцем. «Я шучу?» — заревел республиканец, «я шучу?» — Он схватил за рукав Дон Серафино и потащил его в дверь аптеки.

Дверь звякнула колокольчиком, аптекарь зажег вторую лампочку, которая сейчас же отразилась в голубых и

красных стеклянных шарах. «Я шучу!» повторял синьор Траппола. Он сунул в руки священника развернутый лист *Giornale d'Italia*. На первой странице был напечатан большой неразборчивый портрет важного господина иностранной наружности с крупным заголовком. «Князь мира сего на пути в Рим». Дон Серафино глядел, читал, думал. Рука аптекаря машинально налиwała тем временем в два стаканчика настойку из облепленной липким и сладким бутылки. «Мы этого не позволим, basta!» кричал синьор Траппола. «Ваше здоровье Дон Серафино. Вы знаете мои убеждения, но на это я им скажу решительно нет. Теперь вы видите, каково наше правительство? Что же вы молчите, Дон Серафино?» — «Ваше здоровье, ваше здоровье, синьор Траппола. Поистине удивительные новости я от вас слышу. И подумать, что я видел их собственными глазами и трогал машину их, как трогаю вот этот стол. Покойной вам ночи, завтра рано вставать, весна, сами знаете, какое сейчас дорогое время». Дон Серафино подробно перечислил сегодняшние дела и покупки, попрощался и вышел. После его ухода республиканец и вольнодумец Буонконвенто осушил еще два стаканчика в одиночестве, разразился проклятиями по адресу всех ханжей и, заперев аптеку, побежал туда, где все еще светились белые фонари. Работа продолжалась всю ночь; князю Гельфегору, побрезговавшему скромной гостиницей, пришлось заночевать в автомобиле свиты.

Дон Серафино тяжело шагал по вечерней дороге; светили звезды. Дон Серафино вздыхал и думал, он начал думать еще в аптеке, но там из застенчивости скрыл свои мысли. Событие вечера переполнило его почти восторженным изумлением. Он вспомнил неясный портрет, занимавший газетный лист. Вместе с этим листом вторглись ка-

кие то огромные, невмещающиеся в его деревенском разуме, дела: Париж и Рим, послы, правительства, огни городов, шум автомобилей. Он до сих пор еще слышал острый запах диковинных машин — запах нефти и власти, казавшийся ему запахом серы и преисподней. Он вспомнил желтые огоньки обращенных на него глаз. О князе ада он думал меньше со страхом и больше с почтением. Как ни как — титул, свита, важный пост и, видимо, большое богатство. «Значит так надо» вздохнул он. «Синьор Траппола уже решил, что Церкви пришел конец. Не рано ли? Сказано в Писании: врата адовы не одолеют ее». Дон Серафино вспомнил, что слышал о необычайном искусстве кардинала, который ворочал теперь всем Ватиканом. Тут наверно была загвоздка, которую деревенским людям где же понять! «Так надо, так надо», твердо повторял про себя Дон Серафино.

Он возвратился в дом на разветвлении дорог рассеянным и усталым. Старуха Маргерита, служившая ему, после того как пережила трех священников, зажгла свечу и подала ужин. Дон Серафино машинально прочитал молитву и поел с привычным аппетитом. Задумавшись, пил он вино стакан за стаканом и осушил целый литр. Маргерита сердито поглядывала на него, стоя у дверей и сложив руки. Она как будто нарочно дала ему превзойти положенную меру. «Что это вы пьете, смотрю я на вас? Где это видано? Завтра рано вставать, сами позвали работника. Э, когда только уведет меня Бог из этого дома на кладбище». Старуха рванула со стола пустую тарелку и вышла, хлопнув дверью. Она продолжала еще ворчать по лестнице, голос все замирал, спускаясь в кухню, потом слышно было, как брякнула и разбилась тарелка. «Дурной характер»

подумал Дон Серафино. «Теперь и завтра не успокоится». Его руки слегка дрожали, он встал и старательно вытер рот салфеткой. На сон грядущий прочитал он молитву против нечистой силы. Собираясь ложиться, озабоченно подошел к полке, где помещалось несколько книг. Он постоял в нерешительности. Чтобы почитать, надо было заправить лампу, но керосин хранился внизу, в кухне, и Дон Серафино побоялся вновь рассердить Маргериту. Он лег в постель, ворочался и не спал. Прокричал петух. Ах, никогда не кричали так петухи, как в эту ночь! Совершенно ясная мысль представилась вдруг Дон Серафино. «Наступал конец, конец света. И ведь это тоже было предсказано в Писании». Так велика была эта мысль, что голова его закружилась. Все поплыло вокруг, и сам он поплыл, вступая в круги тяжелого и тревожного сна.

Проснулся он на рассвете, по многолетней привычке. Полежал немного на спине и все вспомнил. Прокричал последний петух. «И Петр трижды отрекся, и это тоже было в Писании», подумал Дон Серафино. Он начал спешно одеваться. Маргерита уже шумела внизу, затопляя печь и готовя харчи для него и работника. Священник встал на колени и долго молился с каким то новым чувством. Он сошел вниз, поздоровался с Маргеритой, смотревшей в сторону, стыдясь за вчерашнее. Потом прошел на свой участок, находившийся как раз на разветвлении двух дорог. Занималось теплое и облачное весеннее утро, нели птицы, проснулся ветер и шевельнул листвою оливок; на деревьях лежала влажная дымка. Дон Серафино стоял в винограднике, где еще торчали одни колья. Он смотрел на дорогу, поджидая заказанного вчера работника. «Зачем работник?» вдруг подумал он. «Зачем сад, зачем ви-

ноградник, если всему конец. Вот они последние времена, судилище живых и мертвых». Ему стало до боли жалко этой весны, этих птиц, этой смиренной и тихой земной жизни. Он наклонился и взял на ладонь немного красноватой земли таившей в себе прах бытия и зерно Воскресения. «Отведи руку, повремени Господи» молился он и вдруг настороженно прислушался.

Гудели моторы Roll Roусе, беря крутой подъем от Буонконvento. Вчерашние путешественники тронулись в путь. Дон Серафино стоял как вкопанный, машины почти поровнялись с ним и замедлили ход. Из дверей высовывались жестикулировали, размахивали руками, тыкали пальцами. Как вчера, зрачки многих глаз, горящих желтым огнем и насмешливостью, были устремлены к нему. «В Рим? В Ром? А Roma?» спрашивали многие голоса, нетерпеливые перед разветвлением двух дорог. Дон Серафино решился и сделал в воздухе перед собой широкое крестное знамение.

В это утро изрядный толчек землетрясения поколебал всю провинцию Сиены. Люди выбежали из жилищ, в домах образовались трещины. Колокольня Санто Анджело покосилась, сам собой зазвонил ее колокол. Но церковь на разветвлении двух дорог не упала. В этом месте расселась земля, зияя одним из тех странных провалов, которые нередки в южной Тоскане. В воспоминание о чуде провал отмечен деревянным крестом. Здесь исчез первый посланник преисподней, в своей дерзости посягнувший на Рим. Был ли он вместе с тем и последний? О том ничего не знают ни в Буонконvento, ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Риме.

Мэй Синклер

ОТКРЫТИЕ АБСОЛЮТА

Р а с с к а з

Перевод с английского

I.

Мистер Спольдинг вышел в сад в поисках душевного равновесия, но не обрел его и там. Сгорбившись и уныло опустив голову, он сидел на скамье в лучах весеннего солнца; черная кошечка Джерри приглашала его поиграть с ней; она танцевала, стоя на задних лапках, раскачивая туловище и махая лапками. В другое время такое поведение Джерри привело бы мистера Спольдинг в восторг, но сейчас он даже не взглянул на кошку: он был слишком несчастен.

Он лег спать несчастным, провел ужасную ночь, полную кошмаров, и проснулся еще более несчастным. Это состояние продолжалось уже трое суток, — и немудрено. Горе мистера Спольдинг заключалось не только в том, что Елизавета, его молодая жена, сбежала с псом Полем Джеферсон, — нет помимо измены Елизаветы он открыл роковую ошибку в своей метафизической системе. Его вера в Елизавету исчезла, и одновременно с ней исчезла вера в Абсолют.

Оба несчастия случились одновременно, как будто нарочно для того, чтобы раздавить мистера Спольдинг, и он

вынужден был сознаться, что между ними существовала связь.

«Если бы», говорил мистер Спольдинг сам себе, «я ревностнее служил моей жене, она не променяла бы меня на Поля Джеферсон». Он догадывался, что если бы не был так поглощен метафизикой, жена — была бы более полно поглощена им.

Он, быть может, понял-бы и простил ее, если бы она сбежала с кемнибудь другим, — уж если она непременно должна была с кем-нибудь сбежать от него; он может быть простил бы и самого себя. Но — теперь ничто не ожидало ее кроме несчастий: Поль Джеферсон был гениален, — мистер Спольдинг не отрицал этого, — но нравственность его хромала: он пил, он потреблял наркотики и, как мистер Спольдинг деликатно выражался, «он делал все, чего не следовало делать».

Можно было предположить, что свалившееся на мистера Спольдинга несчастье заставит его равнодушнее отнестись к другому огорчению, постигшему его, — но это было не так: мистер Спольдинг обладал уравновешенным умом, и одинаково скорбел о потерянной жене и об утраченной вере в Абсолют. Ошибка в метафизической системе может показаться мелочью для человека равнодушного к философии, но надо знать, что с того дня, когда мистер Спольдинг вообще начал думать, он алкал и жаждал метафизической истины. Он отверг того Бога, в которого его в детстве научили верить, потому что, — кроме того, что понятие о Нем оскорбляло его чувство нравственности, — тот Бог был недостаточно метафизичен. Спольдинг вечно мучился вопросами метафизики, он перескакивал с одной системы на другую в поисках правды, истины, какого-то высшего интеллектуального удовлет-

ворения, которого он не мог найти. Ему казалось, что наконец он обрел это удовлетворение в своей теории Совершенного Пантеизма; но теперь пантеизм Спольдинга, — да, по правде сказать, и всякий пантеизм, — уже не выдерживал серьезной критики.

По теории мистера Спольдинга не существовало другой действительности, кроме Абсолюта; все реально лишь постольку, поскольку оно существует в Абсолюте. Мистер Спольдинг принимал, что, конечно, сознание Елизаветы, Поля Джеферсона и его собственное сознание тоже существовали каким то образом в Абсолюте, непоколебимо, неизменно. Ибо в противном случае, пришлось бы признать, что основа их настоящего облика лежит где-то вне Абсолюта, — что мистеру Спольдингу казалось прямо таки ересью, богохульством. Но если же Елизавета и Поль Джеферсон существовали в Абсолюте неизменно, тогда значит проступок их существовал в нем. А возможность в Абсолюте прелюбодеяния оскорбляла его чувство нравственности так же, как раньше его оскорбил бы непочтительный отзыв о Боге. Странно было то, что раньше он никогда об этом не думал, пока Елизавета, сбежав, не изменила ему. Метафизика Пантеизма интересовала его гораздо больше, чем его этика; а теперь он ни о чем другом не мог думать.

Не одна только мысль об Елизавете и ее безнравственности смущала его: сколько еще было несносных людей, с которыми ему приходилось иметь дело! И дядя его Симс, самый подлый скряга, какой только мог существовать, и эта дура — тетя Эмили, и кузен Том Румбольд, бесстыжий идиот! И подлая скупость его дяди, и глупость тетки, и идиотизм кузена, тоже должны были существовать в Абсолюте и к тому же заметить, в совершен-

ной форме, неизменно, вечно! А все, что мы видим и слышим, — например, голубое небо; такое же ли оно голубое в глазах Бога, или является рыжим? А звуки, музыка? Например, если я слушаю оперу, а вы в ресторане, то бог Пантеизма, конечно, слышит и то и другое, — он слышит все звуки вселенной одновременно: это должно производить такой же шум, как если бы бог сел на клавиши открытого рояля. Такая мысль оскорбляла мистера Спольдинга еще больше даже, чем мысль о безнравственном поступке Елизаветы.

Время шло. Поль Джеферсон спился и умер. Елизавета, изможденная горем, скончалась от воспаления легких, явившегося осложнением инфлюэнцы; а мистера Спольдинга все тревожили вопросы метафизики.

Наконец, наступил и его последний час.

И тогда он начал мучиться воспоминаниями и думами, — об эпизодах его молодости, до знакомства его с Елизаветой, и об одном случае, произошедшем после ее бегства. Он думал о них, как будто они происходили сейчас, и притом помимо его воли. Философствуя сам с собою в спокойные минуты, он не мог понять, почему некоторые вещи могли вообще случиться; как, например, он мог переносить Конни Ларкинс. Все эпизоды были мимолетны, ибо в каждом отдельном случае наступал момент, когда скука и отвращение заставляли порывать связь, которая, — как теперь признавал мистер Спольдинг, — никогда и не должна была бы существовать. Но хотя и мимолетны были эти эпизоды, — воспоминание о них тревожило мистера Спольдинга в его последние минуты. А что, если они окажутся значительнее, чем представлялись ему при жизни? А что, если они обладали бессмертным значением и могли повлечь за собой громадное послед-

ствие для будущей жизни? А что, если человек, умирая, не исчезает бесследно? И действительно существует загробная жизнь? А что, если загробная жизнь — так сказать — осложнена адом?

Мистер Спольддинг не мог представить себе худшего ада, чем вечное повторение «при жизненных» эпизодов, вечное повторение скуки и отвращения. Жутко представить себя обреченным на вечную близость к Конни Ларкинс!

«Предоставь грязному быть грязным.
Вот в чем ад — пребывание в грязи.
Он умер, теряясь в догадках.

II.

Первой его мыслью было: «Ну-с, вот я снова жив. Я не исчез бесследно». Второй — мысль, что он вовсе не умирал. Он просто заснул и теперь видит сон. Он совсем не волновался, — даже не удивлялся.

Он очутился один в огромном сером пространстве, в котором не было ни одного предмета кроме него, мистера Спольддинг. Любопытно, что у него было тело, — какое то странное, беловатое, незначительное тело, — и он сознавал, что он заполняет известную частицу окружающего его пространства. Странно, что ощущая плотность этого пустого пространства, он лежал на нем, вытянувшись, как будто плывя по течению. Оно поддерживало его с той легкостью, с которой тело держится на поверхности воды в глубоком месте. И в то же время тело его являлось частицей этого пространства, было как будто вплетено в него.

Вдруг его внимание было привлечено двумя фигурами, которые приближались к нему, как по воде, и остано-

лись по обоим сторонам его; он узнал в них Елизавету и Поля Джеферсон.

Из этого он заключил, что он действительно умер, что он также мертв, как Елизавета с Джеферсоном, а так как они должны были попасть в ад, то значит и он находится там.

Елизавета заговорила, и хотя голос ее звучал мягко, очень ласково, Спольддинг тем не менее был уверен, что находится в аду.

«Не бойся», — говорила она, — «сначала все кажется странным, но ты скоро привыкнешь. Ты ничего не имеешь против того, что мы вышли к тебе навстречу?»

Мистер Спольддинг ответил, что он не мог ничего иметь против, и не имел права упрекать ее, раз они все трое находятся теперь в одинаковом положении. Они все трое заслужили свое наказание.

«Наказание?» — переспросил Джеферсон. «Где же он думает, мы находимся?!»

«Я в аду, неправда-ли? Если — — —».

«Если мы здесь. Ты это хотел сказать?»

«Видишь-ли, Джеферсон, я не хочу вспоминать старые обиды, но после того, что произошло, — прости, что я тебе напоминаю об этом, — что мог я сказать другого?».

Он услышал смех Джеферсона, — совершенно естественный смех.

«Хочешь объяснить ему, Елизавета, или лучше, чтобы я это сделал?»

«Лучше ты. Он всегда уважал твой ум».

«Ну, старина Спольддинг, если ты непременно хочешь знать, где находишься, — знай, что ты в раю!»

«Не может быть!»

«Факт. Ты вероятно спрашиваешь себя, что мы тут делаем?»

«Ну, насчет Елизаветы я допускаю... Но, откровенно говоря, Джеферсон, ты — —».

«Ну, что насчет меня?»

«С твоей репутацией, я думал бы, что тебе здесь еще менее места, чем мне».

«Неправда-ли? Я жил в долг. Я нил. Я поглощал наркотики. Чего только я не делал! Как ты думаешь, благодаря чему я попал сюда? Ты никогда не угадаешь!»

«Нет, не угадаю».

«Благодаря моей любви к красоте. Трудно представить себе это, но оказывается, что здесь действительно считаются с этим».

«А что помогло Елизавете попасть сюда?»

«Ее любовь ко мне».

«В таком случае мне остается только заметить, что рай весьма безнравственное учреждение».

«О, нет, только здесь не считаются с вашей обывательской правдивостью, вот и все. Зачем с ней считаться? Она — понятие относительное; и по отношению к социальной системе, ограниченной во времени и пространстве, и по отношению к известному психофизическому аспекту, который прекращает свое существование вместе с нашим земным организмом. Она не совершенна, не бессмертна. Но Красота — бессмертна, совершенна. И я дорожил ею больше, чем своей репутацией, любил ее больше, чем вино, наркотики, женщин, больше даже чем Елизавету. Любовь тоже бессмертна. И Елизавета любила меня больше, чем тебя и приличие, больше чем спокойствие и удобства, и счастливую жизнь».

«Все это прекрасно, Джеферсон, и Елизавета может быть права; знаешь — Мария Магдалина, и т. д. Но,

если такой негодяй, как ты, может так легко проникнуть в рай, то где же наша этика?»

«Ваша этика, дорогой Спольдинг, там, где она всегда была, — откуда ты пришел, — не здесь. И хотя я и был тем, что у них называется дурным человеком, т. е. дурным земным организмом, но зато я был чертовски хорошим поэтом. Ты говоришь, что я без труда проник сюда; а ты думаешь легко быть хорошим поэтом? Дорогой дружище, это требует такой твердости, чистоты и дисциплины ума, — заметь, ума! — о которых ты не имеешь понятия. И право именно ты не должен был бы считать ум качеством не первостепенной важности. Как бы то ни было, факт, тот, что я не только попал на небо, но еще в одну из лучших его частей, отведенную исключительно для высших умов».

«Если так», молвил мистер Спольдинг, «если мы на небе, то кто же в аду?»

«Не могу сказать наверняка. Но ты неправильно выражаешься; следовало бы сказать: кто вернулся на землю?»

«Скажи, — возможно-ли, что я встречу здесь дядю Симса, или тетю Эмми, или Тома Румбольта? Ты помнишь их, Елизавета?»

«О, да, я помню. Я думаю, что они почти наверно будут отправлены обратно. Они ничего бессмертного не любили; ведь нет ничего вечного в низости, глупости и гадости».

«Что же, по вашему, случится с ними?»

«Как ты думаешь, Поль?»

«Я предполагаю, что они должны чертовски помучиться, пока в них не вдолбят великодушие, ум и благопристойность».

«Тетя Эмили будет обманута в своих ожиданиях. Она была воспитана в убеждении, что глупость не может служить помехой для того, чтобы попасть в рай».

«Множество людей найдет, что они обмануты», заметил Джеферсон. «Например, мой отец, декан Истминстера; он был убежден, что попадет сюда, но его не впускают. И почему, как ты думаешь? Потому что бедный старик не мог понять красоты моих стихов».

«Но из-за этого одного он еще не попал бы впросак, если бы любил кого-нибудь или хоть капельку дорожил метафизической истиной, твоей истиной, Спольдинг».

«Чорт возьми, неужели все наши идеи были неверны!»

«Да. Даже я не был подготовлен к этому открытию. Кстати, вот что тебя привело сюда, — твоя страсть к истине. Как меня — страсть к красоте».

«Но разве ты не огорчен за своего отца, Джеферсон?»

«О, нет. Он когда-нибудь попадет в ту или другую часть неба. Он обнаружит в себе, быть может, любовь к кому-нибудь. Тогда все будет хорошо... Но не хочешь ли немного осмотреться кругом?»

«Я не вижу на что тут смотреть. Ваше небо кажется мне довольно-таки пустынным».

«Ну, да ведь тут ты находишься еще только в состоянии причаливания».

«В состоянии чего?»

«Причаливания. То что на земле мы называли пристанью. Здесь время и пространство определяются состоянием, — состоянием ума, духа».

Мистер Спольдинг выпрямился в волнении.

«Но — ведь это же то самое, что я всегда утверждал! Я и Кант».

«Ну, ты лучше с ним и переговори об этом».

«Говорить с ним? Я увижу Канта?»

«Посмотри на него, Елизавета! Теперь он начал оживать! Конечно, ты увидишь его, когда попадешь на свое место, т. е. я хочу сказать, — в свое состояние. Лучше встань-ка и пойдем вместе. Мы тебе все покажем».

Они помогли ему встать на ноги и он двинулся между ними через серую необъятность по едва видимой, но вполне плотной области, которую он определил, как «сгущенное пространство». Пока не было видно других фигур, кроме Елизаветы и Джеферсона; ему казалось, что эта чуть видимая, но осязаемая почва, по которой он шел, создавалась под его ногами из ничего, и вместе с тем как в нем пробуждалось желание идти. Можно было думать, что именно его желание, его воля и создает эту почву. До сих пор он не испытывал ни интереса, ни любопытства; но по мере того, как он подвигался вперед, в нем просыпалось желание увидеть что-нибудь, желание это становилось все более и более настоятельным. Он должен был видеть. Он чувствовал, что впереди и вокруг него скрыто бесконечное множество вещей, которые стоит посмотреть. Его дух стремился видеть.

И вдруг он увидел...

Перед ним возник пейзаж, красивее которого он ничего не мог себе представить. Он очень походил, по словам Джеферсона, на местность между Флоренцией и Сиеной, где растут пинии, зонтичные сосны. Миновав это место, они очутились лицом к небесному западу. На юге местность спускалась большими красными отлогими утесами, к сверкающему синему морю. Как заметил Джеферсон, — Ривьера, Эстерель. На запад и на север мягко разворачивались горы, — одна зеленая гора за другой, усеянные группами сосен и окаймленные на горизонте синей поло-

сой, — эта местность обладала прелестью и гармонией линий и красок, которые придавали ей совершенную красоту; над нею разливалось яркое, неземное сияние.

Перед ними на горе расстилался прелестный маленький белый с золотом и розово-красный городок.

«Ты можешь верить мне или нет», сказал Джеферсон, «но красота всего этого в том, что я создал это. Т. е. мы с Елизаветой создали это вместе».

«Вы создали эту красоту?»

«Да».

«Как?»

«Думая о ней. Желая ее. Воображая ее».

«Но — из чего же вы создали?»

«Этого я не знаю и не желаю знать. Здешние ученые скажут тебе, что мы создали это из простых, составляющих материю, частей. Неоформленная материя существует для нас только в своих простейших частях. Нечто в роде электронов, электронов, электронов. Здесь мы все как бы висим в паутине, погруженной в море этой материи. Она поддается нашей воле и воображению, также как воск поддается лепке. Она невидима, неощутима в своей первоначальной форме, но становится видимой и осязаемой под влиянием нашего ума, и мы можем сделать из нее все, что хотим, не исключая собственных тел. Однако, предметы, создаваемые нашим воображением будут походить на те, которые мы видели на земле постольку, поскольку наше воображение находится еще во власти земных воспоминаний. Так, хотя мы с Елизаветой, — (как ты, вероятно, уже заметил), — гораздо красивее, чем были на земле, (Спольдинг действительно заметил это), потому что мы хотели быть красивее, однако, мы все еще подобны нашим земным обликам, потому что наше

воображение управляется нашими воспоминаниями. Ты такой же, каким ты всегда был, только моложе того, каким знали мы тебя, потому что твое воображение питается пока еще только воспоминаниями. Все, что ты создашь здесь, будет, вероятно, повторением каких-нибудь земных воспоминаний».

«Но, если я захочу чего-нибудь нового, прекрасного, чего я не видел раньше, — могу я получить это?»

«Конечно. Только сначала, пока не разовьется твое воображение, тебе придется обращаться за помощью ко мне, или к Тернеру, или Микель Анжело».

«А будет ли вечно то, что ты, Тернер, или Микель Анжело сделаете для меня?»

«Конечно, если мы сами этого не разрушим, а это мы едва ли сделаем против твоей воли. Во всяком случае, мы можем разрушать только собственную работу, т. е. возвращать ее к простейшему, начальному состоянию материи, но никак не можем разрушать чужую работу. К тому же нам это никогда бы и в голову не пришло».

«Почему?»

«Потому что поводы к этому не существуют здесь. Зависть, жадность, воровство, грабеж, убийства и всякого рода разрушения здесь не известны. Они не могут случиться. Ничто не может здесь изменить формы материи, кроме разума, и я не могу своей волей заставить твое тело распасться на простейшие части, пока ты сам не захочешь, чтобы оно распалось. И ты сам не можешь разрушить его, как все остальное, что ты создаешь, потому что ты больше нуждаешься в нем, чем во всем остальном».

«По той же причине мы не можем воровать и грабить. То, что принадлежит нам, принадлежит нашему состоянию

духа и не может быть отделено от него, так что мы не могли бы перевести чтонибудь из состояния другого человека в наше. А если бы мы и могли, то не захотели бы, потому что каждый из нас всегда может иметь все, что пожелает. Если мне нравится твой дом, или вид из твоего дома больше, чем созданное мною, то я могу сам создать точно такие же для себя. Но мы этого не делаем, потому что мы здесь гордимся индивидуальностью и предпочитаем не иметь одинаковое или сходное. Кстати, так как у тебя пока нет еще дома, — не говоря уже о виде из дома, — ты мог бы поселиться у нас».

«Это очень мило с твоей стороны», задумчиво, нерешительно молвил мистер Спольдинг.

«Если ты все еще вспоминаешь старую обиду, Спольдинг, говорю тебе раз навсегда, что не собираюсь извиняться. Я не раскаиваюсь, — я рад, что отнял у тебя Елизавету. Я сумел сделать ее счастливой, даже на земле. И заметь, пожалуйста, что не ты, а я провел ее в рай. Если бы она осталась с тобой и ненавидела тебя, — ибо она наверное возненавидела бы тебя, — она не попала бы сюда».

«Я и не вспоминаю об этом», возразил мистер Спольдинг. «Я думал о том, куда мне поместить свой пейзаж».

«Что ты хочешь этим сказать, — куда поместить?»

«Поместить его так, чтобы не мешать другим».

«Но как же ты мог бы помешать? Ты поместишь его, — как ты выражаешься, — на своем пространстве и в свое время».

Свое пространство, свое время, — мистер Спольдинг все больше волновался.

«Но — как?»

«Ах, я не могу объяснить этого. Это просто само собой так случается».

«Но я хочу понять! Я — я должен понять».

«Не отвечай ему так уклончиво, Поль», сказала Елизавета, «он всегда хотел все понять».

«Но, если я сам не понимаю!»

«Так отведи его лучше к Канту, или Гегелю».

«Я предпочел бы Канта», заметил Спольдинг.

«Ну, хорошо, к Канту. Прежде всего ты должен перейти в его состояние».

«Как так?»

«Это очень просто. Ты должен подумать о нем и спросить его можешь ли ты войти».

Елизавета пояснила:

«Это тоже самое, как позвонить комунибудь по телефону и спросить, может ли это лицо принять».

«А если он не примет меня?»

«Едва ли. Конечно, мы можем не пройти. Он может подумать, что мы не входили».

«И это тоже возможно?»

«Да, иначе жизнь и здесь была бы невыносима. Теперь погоди минуту не говори».

Наступила полная тишина. Вскоре Джефферсон произнес: «Вот ты и пришел».

И мистер Спольдинг увидел себя в комнате с выбеленными стенами, скудно меблированной письменным столом, двумя стульями, тремя рядами книжных полок и столиком с таинственными инструментами. Комнату освещала масляная лампа под абажуром, стоящая на письменном столе.

Мистер Спольдинг за минуту пред этим покинул страну с зонтичными соснами при ярком солнечном свете, но

у Канта было, повидимому, часов 10 вечера. В широко открытое окно видно было темно-синее небо, усеянное знаковыми звездами.

У письменного стола сидел маленький человек средних лет, в костюме 18 века и парике с косичкой. Лицо, обращенное к мистеру Спольдинг, было худощаво и сухо, рот плотно сжат, глаза светили задумчивым спокойным светом. Мистер Спольдинг понял, что он находится в присутствии Эмануэля Канта.

«Вы думали обо мне?»

«Простите. Я Джэмс Спольдинг, изучающий философию. Мне сказали, что вы может быть не откажетесь объяснить мне совершенно необыкновенные условия, в которых я очутился здесь».

«Не могу ли я узнать, мистер Спольдинг, обратили ли вы внимание на мою философию?»

«Я один из ваших самых ревностных учеников, сэр. Я отказываюсь верить, чтобы философия могла сделать сколько нибудь значительный шаг вперед после «Критики Чистого Разума».

«Ну — ну... Мой последователь, Гегель, значительно подвинулся вперед. Если вы пренебрегали Гегелем...»

«Простите, я отнюдь не пренебрегал. Я когда то был его усердным последователем. Его «Диалектика» — увлекательная фантазия! Но я пришел к заключению, сэр, что ваша система более здравая и правильная и что общая тенденция всей философии повторяться должна привести обратно к Канту».

«Скажите лучше — вперед к Канту. Если вы действительно мой последователь, я думаю, что здешние условия не должны бы показаться вам необыкновенными».

«Они меня поразили, как необыкновенное подтверждение вашей теории пространства и времени, сэр».

«Это так, это так! Но они идут еще гораздо дальше, чем я смел мечтать. В мою схему не входило, чтобы Воля, — которой, если вы не забыли, я отводил чисто этическую и прагматическую роль, — чтоб Воля и воображение индивидуумов, — моя воля или ваша, мистер Спольдинг, — создавали собственное пространство и время и собственные вещи в этом пространстве и времени. И не предвидел этого множества времен и пространств. В мое время было только одно пространство и одно время для всех. Во всяком случае, это очень интересное подтверждение моей теории и вы можете представить себе, мистер Спольдинг, как мне было приятно убедиться при моем появлении сюда, что все здесь правильно рассуждают и мыслят о времени и пространстве. Вы наверно уже заметили, что тут употребляют понятие «состояние», подразумевая состояние сознания, вместо понятия — места. Таким же образом, говоря о состояниях времени, мы подразумеваем под временем — состояние сознания. Так сейчас мое состояние — 10 минут одиннадцатого по моему сознанию, которое заменяет мне часы. Оно отмечает время автоматически. Мое собственное время, — заметьте, — не есть время других людей».

«Но ведь это должно быть ужасно неудобно? Если у нас не то же самое время для всех, то как вы поступаете в случае встреч или свиданий в условленное время? Как же вы приходите к соглашению?».

«Мы делаем это так же, как делали раньше, — совершенно произвольно. Мы измеряем время состоянием, событиями, движением в состоянии времени. Вся разница в том, что в условиях земного существования была одна

и та же земля, одно и то же солнце, один и тот же день и одна и та же ночь для всех, а здесь у каждого есть своя земля, свое солнце, и свои день и ночь. Таким образом мы должны принять идеальные солнце и землю, идеальные день и ночь. Их обращение измеряется так же, как на земле, движением стрелок, отмечающих минуты и часы на циферблате. Но наши общественные часы имеют пять стрелок, чтобы отмечать также обращение недель, месяцев, годов. Они показывают общественное, образцовое время и по этому времени выполняются соглашения встреч и свиданий в назначенный час, и производятся все научные расчеты. Вся разница между небом и землей та, что здесь общественное пространство-время признается нереальным, чисто условным и искусственным договором, — чем оно и является в действительности. Мы знаем, — не вследствие наших философских или математических рассуждений, но из нашего сознательного опыта, — что нет ни абсолютного пространства, ни абсолютного времени. Я сказал бы, что нет реального пространства и реального времени, но что на небе состояние сознания заменяется своей собственной реальностью. Конечно, без условного общественного пространства-времени и общественных часов отдельные индивидуумы никак не могли бы сверять состояния взаимного сознания. Например, вы спросили мистера Джеферсона в 12 часов дня, а войдя ко мне нашли, что у меня 10 ч. вечера. Но на общественных часах, которые вы видите вон там на улице, (мы в Кенигсберге; я не обладаю зрительным воображением и для инсценировки должен полагаться на свою память), итак, на общественных часах теперь без четверти восемь; если бы я приглашал мистера Джеферсона провести вечер с мной, мы условились бы с ним встретиться в 8 ч. по

общественным часам, но по моему времени он пришел бы в 10 часов».

«Теперь я хочу указать вам на то, что такое отношение к пространству и времени не так ново, как может показаться. Я говорил уже, что в земных условиях существовала одна и та же земля, одно и то же солнце, одни и те же день и ночь для всех одинаково. Но в действительности и тогда каждый носил в себе собственное пространство и время, и собственный мир во времени и пространстве. И тогда то же все эти частные времена и пространства должны были согласоваться с помощью произвольной системы математических, — по большей части геометрических, — предпосылок, чтобы составить один мир. Определение времени по общественным часам, основанное на движении тел в математически определенном общественном пространстве было так же условно и относительно на земле, как у нас на небе. Тогда, как и теперь, личное сознание каждого из нас автоматически отмечало время по внутренним переживаниям: если переживаемые события протекали быстро — наше частное время уходило вперед по сравнению с общественными часами; если они разворачивались медленно, оно отставало».

«Так, во сне, в одну секунду вмещается гораздо больше событий, чем на яву; а так как сознание отмечает время по течению событий, а не минут, то во сне мы порой переживаем целые часы и даже дни за то время, что длится разбудивший нас стук в дверь. Было бы нелепостью утверждать, что в таком случае мы не живем по двум различным системам времени».

«Да», взволнованно воскликнул мистер Спольдинг, «Эйнштейн доказал, что движение в общественном пространстве-времени понятие чисто относительное и произ-

вольное, а скорость — (т. е. таксация времени) — светового луча, движущегося при различных условиях, — понятие постоянное, между тем, как по всякой теории абсолютного времени и абсолютного движения оно должно было бы быть переменным».

«Это я так и предполагал», заметил Кант.

«Вы говорили, сэр, что единственная разница между земными и небесными условиями заключается в том, что эта искусственность образцового пространство-времени признается на небе, а на земле не признается. Я сказал бы, что более заметная разница состоит в том, во-первых, что на небе наши переживания создаются нашим воображением и волей, тогда как на земле они, — повторяя ваши собственные слова, — были «даны» нам; во вторых, в том, что на небе наше состояние не замкнуто, как было на земле, и что всякий может проникнуть в состояние другого. Мне кажется эта разница настолько значительна, что превосходит все, что нам пришлось испытать на земле».

«Она не так уж значительна», отвечал Кант. «Мы уже знаем, что во сне каждый человек создает собственный мир в собственном времени и пространстве. Опять таки в телепатии и ясновидении мы встречали случаи, когда один человек проникал в состояние другого».

«Однако», возразил мистер Спольдинг, «на земле мое сознание зависело от мира, существующего, повидимому, вне его, возникшего, вероятно, в сознании кого-то другого, причем мое тело служило медиумом. Здесь же, наоборот, мой мир, созданный моим сознанием, находится во мне, и тело мое является не столько медиумом, сколько вспомогательным фактором».

«Какой же вывод делаете вы из всего этого, мистер Спольдинг?»

«Тот, что на земле я был ближе к некоему Абсолюту и более зависим от Него, чем на небе. Здесь я как будто стал сам своим владыкой...»

«Посредством этой способности вашего воображения творить и благодаря свободе вашей воли создавать собственный мир, вы идете более прямым и коротким путем к Абсолюту, чем посредством стесненного и затемненного сознания, которым вы обладали на земле?»

«Совершенно верно. Когда я думаю об этой ужасной земной жизни, сэр, о страданиях, об ужасных страданиях, о грехе, о глупости, о вечной борьбе человека среди крови и грязи и о том, как часто он бывает побежден в этой борьбе, — я не могу не удивляться тому, как все это может существовать в Абсолюте и как Абсолют с самого начала не перенес нас в небесное состояние!»

«Можете ли вы представить себе, чтобы какому-нибудь определенному уму, определенной воле, могла быть вручена без подготовки такая власть, какой мы здесь обладаем? Только воля, закаленная в борьбе с земным злом, только ум, дисциплинированный в борьбе с земными задачами, способны создавать новые миры. Вы, можете быть, помните мое увлечение законом нравственности и Категорическим Императивом? Оно не уменьшилось. Нравственный закон все еще существует и всегда будет существовать на земле. Но теперь я вижу, что он представляет собой не цель, а лишь средство к достижению той власти, той свободы, которые являются целью. Вот почему страдание и зло существуют в Абсолюте. Ясно, что они не могут существовать в нем как таковые, будучи чисто относительно к состоянию земных организмов. Вот

почему сравнительно свободная воля земных организмов может создавать страдание и зло. Утверждая, что последние существуют в Абсолюте непременно и несокращаемо, вы сказали бы нелепость. Вы определяете страдание и зло одним измерением времени и тремя измерениями пространства, посредством которых они умножаются до бесконечности»

«Что это означает — одно измерение времени?»

«Я подразумеваю время, как линейную протяженность, как простую последовательность прошлого, настоящего и будущего. Вы представляете себе страдания и зло бесконечно рассеянными в пространстве и бесконечно повторяющимися во времени, между тем как в идее, которая составляет их форму вечности, они в худшем случае являются в единственном числе».

«Это не делает их более терпимыми».

«Я об этом не говорю. Я говорю об их значении для вечности или для Абсолюта, потому что этот вопрос по-видимому мучил вас — вы убедитесь в этом сами, если пройдете со мной в состояние времени трех измерений»

«Это что такое?» спросил заинтригованный мистер Спольдинг.

«Это время», отвечал философ, «которое не заключается в линейной последовательности, которое дважды вернулось само в себя, чтобы включить прошлое и будущее в настоящее. Ибо как точка повторяется для того, чтобы составить линию пространства, так мгновение повторяется для составления линейного времени прошлого, настоящего и будущего. И как линия одного измерения загибается под прямым углом обратно к себе, чтобы составить план двух измерений, так линейное время, или время одного измерения возвращается в себя, чтобы соста-

вить время двух измерений, — прошлое — настоящее или настоящее — будущее. И как плоскость загибается сама, чтобы составить куб, так прошлое — настоящее и настоящее — будущее загибаются обратно, чтобы встретиться и составить кубическое время, или прошлое — настоящее — будущее вместе.

Вот к какому состоянию сознания трех измерений мы должны привести себя».

«Вы хотите сказать, что, достигнув этого состояния, мы разгадаем загадку вселенной?»

«Едва ли Вселенная — громадная загадочная картина, которую надо складывать из отдельных кусков. Если кто-то — может быть только наша воля — хотел занять на веки вечные — разум наш поисками истины, он ничего лучшего не мог придумать. Мы с вами не сможем оставаться в данной плоскости достаточно долго, чтобы изучить все: прошедшее — настоящее — будущее раз. Но вы увидите достаточно, чтобы понять, что такое кубическое время. Вы начнете с одной маленькой кубической частицы, которая будет понемногу увеличиваться до тех пор, пока вы не поглотите столько кубического времени, сколько сможете вместить в одну единицу вечности. Посмотрите вон в это окно. Вы видите телегу, которая едет по улице. Раньше, чем она достигнет церкви, ей придется проехать мимо дома господина Шмидта — вон там напротив, и мимо трактира «Прусский солдат», и лавки с колоннальными товарами, и часов. Теперь вы увидите, что произойдет».

III.

И мистер Спольдинг увидел, как, неожиданно оставаясь, телега оказалась вдруг стоящей одновременно и у дома г. Шмидт, и у трактира, и у лавки, и у часов, и у

церкви, и у боковой улицы, в которую она еще не успела повернуть.

В этом видении все предметы казались прозрачными, так что Спольдинг видел боковую улицу сквозь закрывающие ее от его взоров дома. Таким же образом он видел заброшенными в пространстве, как на меркаторской проекции, все последующие остановки телеги, вплоть до ее прибытия на ферму и остановки между конюшней и стогом сена. В этот же промежуток времени, составлявший его настоящее, он увидел жителей города, которые деиались в домах, ели, курили и ложились спать, и крестьян в их фермах и коттеджах, и семейство графа в его замке. Все фигуры сохраняли свое положение пока длилось это удивительное явление.

Сцена расширялась. Она захватила весь Кенигсберг, истом всю Пруссию, наконец всю Европу. У мистера Спольдинга как-будто появились глаза по сторонам головы и на затылке. Он видел как время подымалось вокруг него, точно громадное кубическое пространство. Он видел одновременно французскую революцию, Наполеоновские войны, Франко-Прусскую войну, установление республиканского строя во Франции, бурскую войну, смерть королевы Виктории, воцарение короля Георга V, Великую войну, Российскую и Германскую революции, возникновение Ирландской республики, Индийской республики, английскую революцию, победу Америки над Японией, и федерацию Соединенных Штатов Европы и Америки.

Сцена развевывалась все шире и шире, но все еще мистер Спольдинг видел перед собою все подробности первоначальной картины. Перед ним теперь расстиались широкие пространства геологического времени, в прошлом

он видел мамонта и жителей пещеры; в будущем — Атлантический Океан наводнил Северное море и затопил плоскости Линкольншайра, Кэمبرиджшайра, Норфолька, Суффолка, Эссена и Кэнта. Он видел гигантские деревья — папоротники, он видел как громадные животные из породы ящеров тяжело ступали по болотам и морским берегам прошлого. Полет страшных птеродактилей затемнил воздух. И он видел, как льды ползли от полюсов к обширным умеренным поясам Европы, Америки и Австралийской Азии, а люди и звери спасались от них к экватору.

Теперь он начал погружаться в гулкий, трепещущий поток, который катился через все живое; он чувствовал, его бнение в себе и вокруг себя, — он чувствовал, как поднимается сок в растениях; он ощущал наслаждение животных в период спаривания. Он познал радость, которая заставляла черную кошечку Джерри танцевать на задних лапках, раскачивая туловище и размахивая лапками, точно крыльями. Мимо него мелькали звезды, звеня, подобно струнам скрипки, и сквозь эти звуки он слышал голос Поля Джеферсона, который пел какую-то песню. Спольдинг испытывал глубокое, всеобъемлющее упоение, пронизанное моментами острой боли. В то же время он чувствовал, как на закате дней своих погружался в странный покой.

Теперь он был везде — в начале и в конце. Он видел, как земля, — раскаленный до бела шар, — была отброшена от вертящегося солнца. Он видел, как она повисла, мертвой, белой луною в небе, усеянном телами потухших миров. Но к его удивлению темнота не наступала. Вокруг него подымалась вселенная, соединяя свое будущее со своим прошлым. Он видел обширные плос-

кости времен, которые, пересекая друг друга как плоскости сфер, крутились и вертелись одна в другой. Он видел еще другие системы времени и пространства, которые подымались и падали, заключая в себе одна другую; и как крохотную подробность громадной картины, видел собственную жизнь от рожденья до настоящей минуты, вместе с грядущими моментами своей небесной жизни. В этом видении измена Елизаветы, которая когда-то представлялась таким чудовищным, подавляющим событием — казалась мелкой и незначительной.

Теперь вселенная растворилась в простейшие, первоначальные частицы материи, — электроны электронов, — в невидимую паутину, напряженно вибрирующую, протянувшуюся через все времена и пространства. Он видел, как она была втянута обратно в пространство пространств, во времена времен, в его мысль.

Мистер Спольдинг был втянут вместе с ней. Он перешел из имманента к трансценденту, к высшей жизни и в Абсолют. Одну секунду он подумал, что это смерть; но в следующее мгновение все его существо наполнилось невыразимым, немислимым блаженством.

К нему присоединились, трепеща вместе с ним одной сказанной радостью, духи Елизаветы и Поля Джеферсон. Теперь он не помнил ни своей, ни их измены.

Очнувшись от охватившего его восторга, он заметил, что мысль его снова прядет нить жизни, протягивая паутину материи через времена и пространства.

Он начал складывать новую загадочную картину из отдельных кусков — начал создавать новую вселенную.

Н и к о л а й О ц у н

ПОЕЗДКА В МАЛАГРОТА

В феврале ропот дождя постоянно перебивает голоса римских фонтанов, и только сегодня, навстречу внезапному солнцу, полногласно гремел каскад Тревия и мелодично звенела слабая струя на площади Навоны.

Очень тянуло за город, но солнцу еще предстояла схватка с последними случайными тучами, и сильный порыв дождя загнал меня в Castel St. Angelo.

Пока я заходил в темные камеры Бенвенуто Челлини и Беатриче Ченчи, а затем почти на одной высоте с бронзовой статуей Михаила Архангела осматривал могучую папору Рима, погода успела перемениться несколько раз.

Наконец, после лихорадочных приступов дождя, на небе, совершенно чистом, победоносно засияло солнце, и я направился неизвестно куда с надеждой выбраться за город.

На площади Св. Петра какой-то человек возился около своей carrozza.

Мул послушно ждал, высоко торчали его полуослиные уши.

Цинковые ябаны, наполнявшие повозку, были повидимому пусты, их тяжесть не перетягивала кузовок,

стоявший между двух огромных колес на одной линии с дышлом. Скамеечка впереди кузова была покрыта чем-то вроде надвое сложенного тулуша.

Было ясно, что этот человек сделал свое дело в городе и возвращается в деревню. Если так, он согласится вывезти меня за город и посадить где-нибудь в поле.

Пять, самое большое десять лир за это путешествие, и мы оба будем отлично устроены.

Я спрашиваю хозяина сагоцца, действительно ли он едет за город.

— Да, за город.

— Не подвезете ли меня?

— Собственно говоря, куда?

— Решительно все равно, только fuori Roma — вон из Рима.

Он соглашается очень любезно, предупреждая меня, что должен остановиться несколько раз, чтобы купить кое-что для семьи и рабочих.

Мы садимся и едем.

Я нахожусь в периоде счастливой влюбленности в итальянский язык и не упускаю случая поболтать. Мой сосед не менее разговорчив.

Он сообщает мне, что в России сейчас снег и что Россия — великая страна: его очень радует, что я подтверждаю верность этих сообщений.

В десять минут мой новый знакомый успевает рассказать мне свою жизнь. Я узнаю, как его зовут, сколько у него овец, радуюсь, что они дают хорошее молоко и узнаю, что несколько рабочих моего знакомого являются в то же время его компаньонами по выделке и продаже овечьего сыра.

Мне жилось бы отлично, если бы не слишком высокая арендная плата.

Земля принадлежит монастырю, получающему за весь участок каких-нибудь пятьсот франков — итальянцы часто говорят «франки» вместо «лиры».

Эти пятьсот франков платит некий посредник, взимая с арендатора овцевода около четырех тысяч. Таким образом большая часть денег, выручаемых за продажу сыра, уходит в карман посредника.

Дело обычное. Выражаю сожаление.

Сагоцца останавливается у дверей какого-то лабаза, овцевод слезает на землю, приглашая и меня сделать то же самое; не совсем понимаю, зачем это нужно, но повинуюсь.

Оказывается, почти все торговцы по дороге в деревню хорошие знакомые овцевода «синьора М.», и он должен каждому «представить своего русского друга».

В первой же лавке человек в белом фартуке крепко жмет мне руку рукой выпачканной в муке и не спрашивая, что мы хотим купить, бежит за вином.

Пьем и хвалим вино; затем синьор М. покупает макароны, мыло, спички, а когда я хочу платить за выпитое, хозяин лавки оскорбляется. И синьору М. он, конечно, не разрешает расплатиться: за макароны и рыбу плати, но если ты меня познакомишь с новым своим другом в моей лавке, не мешай мне принять вас обоих как добрых гостей. Буквально то же происходит еще в трех местах.

Оба мы приходим в отличное расположение духа, и мне уже не хочется слезать с сагоцца, когда се большие колеса быстро катятся среди благоухающих полей, оставляя далеко за нами бледнеющий кунол Св. Петра.

— Вы говорите по немецки? — спрашивает мой сосед.

— Говорю.

— Хорошо бы вам познакомиться с моим братом. Он знает Германию. Девять лет работал в шахтах на Рейне.

Я говорю, что готов хоть сейчас поехать к моему новому другу и познакомиться с его братом, но боюсь стеснить. А синьор М. боится, что я не могу переночевать в простой хижине без удобств — улыбаюсь, вспоминая пережитое за последние годы.

Мой сосед задумчиво добавляет: «Впрочем из-за войны вероятно все попробовали нашей жизни».

Одним словом мы едем в Malagrotta среди вечеряющих полей, продолжая разговор под негромкий лязг молочных жбанов.

Навстречу нашей сагоzza выбежали две безмолвные и зловещие овчарки, каждая величиною с теленка.

Немного погодя вприпрыжку подбежала девочка лет четырех перепачканная сажей и чем то белым. Она тотчас вскочила на руки отца, лопоча какую-то историю и настолько увлекаясь звуком своего голоса, что повторяла одно и то же особенно звучное слово раз десять.

Мой новый друг, держа дочь на руках, улыбался жене, спускавшейся с двухлетним мальчиком по дороге от хижины.

Не думаю, что синьор М. часто привозил домой чужих людей, тем более ценным показалось мне радушие хозяйки дома: с двух слов поняв в чем дело, она стала шутить над моим городским платьем, которое «надо было поберечь, отправляясь в такую глушь».

Мой новый друг стал распрягать мула, а мы пошли в хижину, с порога ее смеялась какая-то девица, из-за плеча которой высунулось на мгновение веселое лицо старушки.

Атмосфера приветливости не могла омрачиться даже молчаливой свитой овчарок, их было уже четыре, они как тени, следовали за нами, недоверчиво и довольно злобно поглядывая на меня.

В хижине полутемно. Посередине земляного пола очаг: на возвышении из камней тлеет хворост, дым уходил в одно из отверстий, синевших в четырех углах соломенной крыши.

Девица оказалась родственницей хозяина, старушка матерью его жены; я спросил, где же брат, говорящий по немецки.

— Он вместе с другими рабочими доит овец вот там.

Вторая дверь вывела меня под навес загона в огромную пристройку к маленькой хижине.

В полутьме я услышал плеск струй молока, звон цинка подойников, блеяние овец и редкий стук палки о доску.

Шевелящаяся полумгла постепенно обозначила темную серую массу овец и силуэты мужчин, сидящих на низких скамейках.

Я сказал в пространство несколько слов по немецки. Сейчас же последовал ответ, — незримый собеседник говорил неплохо, с баварским акцентом.

Очень высокий человек, заслышав удар палки о доску, выгнулся к одной из сидящих фигур недоенную овцу. Овца стремилась пробежать дальше за перегородку, где отдыхали отдвоенные овцы, но сидящий человек, не поднимаясь с места, успевал схватить ее за ногу и привлечь к ведру.

Овца мгновенно смирялась и ждала, поднимая к небу покорные глаза. Подоив ее, человек ударял палкой о скамейку, вызывая следующую овцу.

Мой собеседник спросил меня, говорю ли я по итальянски, — с немецкого перешли на язык Италин; разговор

стал всеобщим. Я отвечал уже на пять голосов и, не помню по какому поводу, упомянул имя Данте.

— А вы помните эпизод о графе Уголино? спросил человек, сидевший ближе других ко мне и, продолжая донть овцу, прочитал стихи слабым, немного печальным голосом.

Струйки молока, с силою падая в подойники, зло-веще шипели и звенели, неясное движение овец и людей в полумгле напоминало блуждание бестелесных теней, — обстановка словно искала соответствия с трагическими стихами Ада.

Троекратные созвучия ни с чем несравнимых терций сразу восстановили в моем сознании все стихи девятого круга. Я вспомнил, что в этом круге души предателей, не в пример другим грешникам, боятся даже открыть поэту свое земное имя. Трагизм нарастает с каждым стихом и доходит до высшего предела именно в этом, сейчас читаемом отрывке, когда Уголино, гложущий голову своего земного мучителя, вспоминает, как он ослеп от голода в наглухо заколоченной башне и костенеющими пальцами хотел коснуться безжизненной руки или лица кого-нибудь из своих сыновей.

Печальный голос чтеца замолк, и все мы некоторое время не произносили ни слова.

Наконец я спросил чтеца, что еще он знает. Оказалось — *Виргилия*.

Затем я узнал, что мой собеседник предпочитает Кардуччи слишком сентиментальному Пасколи, а когда я сообщил, что, кроме Данте, читаю сейчас Леопарди, он посоветовал мне обратить внимание на прозу Леопарди.

В эту минуту на пороге появился хозяин, приглашая к столу.

Боги домашнего очага несомненно любят обитателей этой хижины, что указывает только, в какой мере пенаты демократичны и невзыскагельны.

Очаг хижины представляет углубление, дно которого не более чем на вершок ниже уровня пола.

Это углубление опоясано с четырех сторон маленькой стенкой вышиною в два кирпича и толщиной в один.

Справа и слева очага в пол врыты две обугленные жерди с крючками. На крючки кладется третья еще более обугленная жердь, продетая сквозь ушки огромного черного котла.

В котле готовится все, что едят обитатели хижины, в нем же кипятится и молоко для сыра.

Синьор М., хозяин, овцевод и сыровар, немного переоделся к ужину, — чистенький темный пиджак и светлый галстук заменила какая-то кацавейка, а брюки остались те же.

Мне радушно предложили хлеба и большую миску *ricotta* (это очень нежная творожная масса, из которой легче выжать воду, чем молоко), а через минуту, не спрашивая, хочу ли я еще, принесли вторую миску. Из волшебного котла извлекли макароны. Пока мы заедали их почти деревянными пряниками и заливали вином *Montefiascone*, в котле уже нагрелось молоко для сыра.

Котел сняли с огня, хворост передвинули из углубления на одну из кирпичных стенок, и огонь стал быстро уходить.

Один из рабочих, засучив рукав до плеча, стал взбивать голый рукой теплую влагу в котле.

В загоне кончили донть овец, хижина наполнилась людьми, они разместились вокруг угасающего огня, и по рукам пошли миски макарон.

Попыхивая трубкой, ко мне обратился огромный бронзовый красавец, в драке потерявший левый глаз, что, не уродуя лица, делало только этого человека похожим на пирата.

Он спросил меня о Мексике.

Так как мои познания о Мексике невелики, я замедлил с ответом и этим дал возможность высказаться всем присутствующим. Сведения этих милых людей были крайне фантастичны, — даже человек, читавший наизусть стихи Данте, говорил о Мексике чудовищные вещи.

Он уверял, например, что в Мексике все говорят по мексикански и что этот язык похож на китайский. В других странах Америки, по его словам, господствующий язык — американский, совершенно отличный от языков Европы.

Когда я уверил его, что в Мексике главным образом говорят на языке Испании и вообще в Америке главные языки — английский, испанский и португальский, — он долго молчал под тяжестью такого открытия.

Этот человек, поразивший меня знанием итальянской поэзии, оказался недоучившимся семинаристом из Абруцци.

Уже около года он работает у своих родственников, так как дома нечего есть.

Брат синьора М., «немец», человек бывалый, окончательно подавил всех добрых обитателей хижины рассказами о Германии. И теперь он поминутно обращался ко мне по-немецки, мешая общему разговору.

Наконец я принужден был сказать, что английская индустрия не слабее германской. «Немец» обиделся, но остальные воспрянули духом.

Одноглазый красавец, ничего не знавший о Мексике, оказался матросом, видевшим до войны берега Америки.

Он уверял меня, что Ленин не умер, смерть его — это выдумка американцев.

Когда я сказал, что Ленин действительно умер, один из присутствующих явно очевидно из вежливости проклял большевиков, считая, что я «контр-революционер», а другой еще вежливее похвалил их, видимо приняв меня за «красного».

Центром нашей беседы были вопросы такого рода:

— Почему русские не участвовали в крестовых походах? Едят ли в Москве макароны? Что я знаю о Иоанне Златоусте, о Виргилии, о пробковых деревьях?

Я задавал тоже много вопросов и узнал многое о буднях и праздниках моих знакомых, узнал даже одну местную легенду, в основе которой, как я узнал позднее от одного профессора в Милане, лежит лигурийская сказка о жене дьявола.

Сюжет этой сказки изменен повидимому для поэтического объяснения названия местности.

Каково бы ни было научное значение легенды о дьявольском прошлом Malagrotta, я позволю себе привести ее на память и постараюсь возможно меньше отступить от «варианта» синьора М.

Рассказчик посадил на колени маленькую дочь, в руке он держал суковатую черную жердь и шевелил концом этой деревянной котерги хворост на очаге.

Искры и лоскутки пламени озаряли слушателей, особенно ярко блестело отражение огня в глазах девочки и в единственном глазу «пирата».

В те отдаленные времена, когда наша деревня лежала под водой и берег Тиренского моря был на две мили ближе к Риму, — возле чахлах прибрежных лугов ютились немногие римские бедняки, занимаясь, как мы теперь, скотоводством.

Они знали, что луга дают скудный корм, потому что где то поблизости живет дьявол, — но как найти дьявола и как изгнать его?

У одного из этих бедняков была красавица дочь Русинелла, которую он хотел выдать замуж за человека богатого и недурного собой. Правда, сердце Русинеллы лежало к одному из молодых пастухов, человеку небогатому и не очень красивому, но отец и слышать не хотел об этом браке и подыскал дочери человека по своему вкусу.

Русинелла не смогла ослушаться неразумного отца, со слезами распрощалась она с пастухом, взяла у него на память тростниковую дудочку, полную чудесных песен, и покорно согласилась выйти замуж за нелюбимого человека.

Где и как они обвенчались, никто не помнит, не могла этого припомнить и сама Русинелла, когда она очнулась поутру в пещере скалы, окруженной со всех сторон волнами.

Оглядевшись, Русинелла увидела огромные котлы и, дрожа от страха, спросила мужа, зачем он принес ее сюда.

— Если ты будешь исполнять мои приказания, ты скоро все узнаешь, но за малейшее ослушание ты будешь убита.

Говоря это он показал несчастной мех для раздувания огня.

— Ты должна до вечера поддерживать огонь, но не смей заглядывать ни в один из котлов. Я вернусь вечером и узнаю, хорошо ли ты исполнила мое приказание.

Сказав это, он исчез.

Русинелла осталась одна в полутемной пещере и, заплавав, принялась за работу.

Вдруг из котла послышался голос, очень знакомый Русинелле, кто-то звал ее по имени.

Забыв всякую осторожность, Русинелла нагнулась над котлом и с ужасом узнала своего деда. Он был разрублен на куски и кипел в собственной крови, но голова его сумела проговорить: «Русинелла, зачем ты здесь в пещере дьявола?»

Русинелла лишилась чувств и не заметила бы вероятно возвращения мужа, если бы над самым ухом ее не играла тростниковая дудочка, подаренная ей пастухом в день расставания. Очнувшись бедняжка увидела, что руки ее до шеи забрызганы кровью, кипевшей в котле.

— Дед, что же мне делать? — спросила она, не смея от страха глядеть на говорящую голову.

Из котла послышался ответ: оботри руки полотенцем дьявола.

Не успела Русинелла исполнить совет деда, — за спиной ее показался дьявол — вы уже поняли конечно, что это и был муж бедняжки Русинеллы.

— А ну ка покажи свои ручки.

Русинелла, не помня себя, протянула обе руки, но дьявол ничего не заметил и даже похвалил жену:

— В награду за твое послушание, можешь просить меня сейчас о чем хочешь.

— Мне бы хотелось, чтобы ты отнес подарок моему отцу, — ответила за Русинеллу чудесная дудочка.

Дьяволу очень понравилось это скромное желание, он вытащил откуда-то большой ящик серебра и сказал, что отнесет его завтра же отцу Русинеллы.

Под утро, когда дьявол еще спал, Русинелла выкинула серебро в море и сама села в ящик, а дудочка сказала над самым ухом дьявола: я тебя вижу!

Дьяволу показалось, что это голос Бога, он вскочил, торопливо вскинул ящик на спину и, перелетев через волны, побегал по берегу.

В это время на спине дьявола засияла надпись, которую, даже сквозь стенку ящика, сумела прочесть Русинелла: я тебя вижу.

Русинелла, завороченная этими словами, твердила их вслух все громче и громче, дьявол бежал сначала рысью, потом галопом, — почти долетев до хижины отца Русинеллы, он сбросил ящик и скрылся навсегда из этих мест.

Раскрыв ящик неразумный отец нашел еле живую дочь, которая сумела только через неделю притти в себя и рассказать священнику, что она — жена дьявола.

Несчастная всю жизнь замаливала страшный грех, а наши места с исчезновением дьявола стали богаче: море отступило так далеко, что даже скверная пещера (Mala-grotta) оказался на берегу: теперь она окружена лугами, на которых пасутся наши овцы, — именем этой когда-то дьявольской пещеры называется наша деревня.

Как только рассказчик кончил говорить, девочка заплакала.

— Папа, а если Он вернется?

— Ну это уж никак не может случиться: Его здесь не видали уже больше тысячи лет. К тому же, — добавил

синьор М., обращаясь уже ко мне: когда над дьявольщиной начинают смеяться, это значит — опасность миновала.

— Помните проделки Фурбикио и неудачи магов Труко и Труконе? — вставил семинарист.

По моей просьбе и просьбе девочки, уже развеселившейся, — семинарист рассказал несколько эпизодов, которых я не буду приводить: они слишком известны в детской итальянской литературе и встречаются с теми или иными вариациями у всех народов. Мне кажется даже — проделки Фурбикио, которые неизменно кончаются его торжеством и посрамлением одного из магов, — сродни победам рабочего Балды над чертенком.

Так например, маг Труконе отправляется в погоню за Фурбикио и с трудом настигает его, но тот и не думает спасаться: он сидит посреди дороги, высоко подняв правую ногу и глядит в небо.

— Что ты делаешь? — спрашивает Труконе.

— Да вот повстречался мне один пахал, я поддал его ногой и жду уже больше получаса, когда же он упадет обратно на землю.

Труконе конечно верит, решает, что он недостаточно оценил чудовищную силу Фурбикио и спасается бегством.

Когда мы занялись обсуждением того, насколько наивны Труко и Труконе и так ли уж хитер Фурбикио, хозяйка унесла в другую очень маленькую хижину давно уснувшего мальчика и плачущую девочку, которой хотелось еще немного посидеть с нами.

Наш оживленный вечер подходил к концу и все же успел, увы, омрачиться довольно печальным инцидентом.

Брат хозяина показал мне пачку германских ассигнаций в тысячу марок каждая и спросил, во сколько долларов эти марки сейчас ценятся. Не зная, что это девяти-

летние сбережения, я неосторожно сказал печальную правду, вызвав общие восклицания горечи.

Люди эти еще верили, что марки стоят хотя бы половину прежней цены.

Конечно я поступил правильно, сказав правду, но следовало это сделать с той же осторожностью, с какой подготавливают к известию о смерти родственника.

Горе было серьезное, но предавались ему не долго.

Хозяин принес еще одну бутылку Montetiascone, и мы поспешили заговорить о другом.

За этот вечер раза три хворост сгорал до тла и в промежутки, пока приносили и разжигали новую охапку, кто-нибудь освещал хижину лучиной.

Наконец старушка принесла чистое белье и приготовила мне постель.

Несмотря на очень поздний час, все расходились неохотно.

Мне хотелось посмотреть как спят овцы. Ко мне присоединились «немец» и семинарист.

Снова возникла беседа о марках. В конце концов эти марки, неразменные до сих пор, свидетельство героического доверия к немецкому углю, к немецкой машине.

Мы называли брата М. «немцем», уже без желания подшутить, но с какой-то нежностью и симпатией.

Скромный и печальный семинарист неожиданно заговорил о религии.

Мы незаметно сошли в долину.

В чистом синем небе почти не было звезд. Был час предрассветный.

Мне кажется, человек, который наденет в Петербурге белой ночью синие очки, увидит все в таком свете, в каком отдыхали холмы и поля Malagrotta.

Это освещение объяснило мне спокойную бесконечность фонов Перуджино.

Мы были уже очень далеко от хижины. В четырехугольнике, каждый угол которого был отмечен белым слезотом овчарки, спали овцы.

Им ничего не стоило пройти под высоко натянутой веревкой и очутиться на воле, но ни одна овца и не думала шевельнуться.

Все они дремали стоя с открытыми глазами.

Глядя на это стадо, всегда покорное и кроткое, я сказал моим спутникам: «Если Бог захочет меня наказать, он вероятно не пошлет меня в ад, но обратит в овцу».

Семинарист с грустной улыбкой ответил мне, что Христос нередко изображается агнцем с нимбом вокруг кудрявой головы.

На следующее утро хозяин ближайшего трактира согласился подвезти меня в город в двенадцать часов, и я в сопровождении немца и семинариста, пошел в поле прощаться с синьором М. Он был неузнаваем в курчавых бараньих штанах, доходивших до груди.

Овцы щипали траву в отведенном им участке. Поле разбивается на семь частей по числу дней недели.

Один участок травы поедается в понедельник, другой во вторник и т. д. до воскресенья, когда путешествие начинается сначала.

Овчарки следят, чтобы овца не забегала из понедельника в среду.

Я отвел синьора М. в сторону и как мог деликатно и осторожно предложил ему денег за еду и ночлег. Он ответил очень мрачно, что никто не может ему запретить принимать гостей и наотрез отказался от денег.

За несколько месяцев, проведенных в Италии, я имел достаточно случаев убедиться, что итальянцы — не бес-серебренники, но гостеприимство их очень бескорыстно и пожалуй даже веселее и приветливее русского.

Мы трогательно распрощались с моим новым другом; по дороге в хижину в траве я нашел несколько раковин, которые напомнили мне легендарную судьбу Malagrotta.

Наконец я распрощался со всеми и немного потеснив молочные жбаны, устроился в повозке трактирщика, рядом с очень полным и добродушным охотником.

Возница несколько раз оборачивался к нему и видно было, что они приятели, связанные даже общими интересами.

Охотник через несколько минут рассказал мне, что он служитель Ватиканского музея, охраняет зал Аполлона Бельведерского; сегодня у него свободный день, и он ночью пришел пешком в Malagrotta поохотиться.

Ягташ его был тощ и легок. Охота явно не удалась.

Это ничуть не мешало ему постоянно улыбаться доброй детской улыбкой.

Мы болтали очень оживленно, нередко смеясь остроумным репликам возницы.

Внезапно Ватиканский охотник побагровел и попросил остановить лошадь.

Я что-то громко сказал, но оба остановили меня, приложив пальцы к губам.

Вылинявшая парусиновая куртка охотника за что-то зацепилась. Он сопел и освобождался.

Наконец он соскочил на дорогу и, держа в руках ружье, медленно стал подвигаться полем к небольшому холму, на котором что-то действительно шевелилось.

Я видел как хранитель Аполлона встал на одно колено и начал поднимать ружье.

Но дикие голуби плавно и спокойно полетели от него, не желая подвергаться опасности.

Раздался запоздалый выстрел. Потом до нас долетело проклятие. Охотник вернулся, виновато улыбаясь и вытирая круглое лицо платком. То же самое повторилось еще два раза. Возница ни разу не посмеялся над своим приятелем.

Только после третьей погони за голубями он мрачно сказал, что больше останавливаться не станет.

Мы засмеялись, и охотник первый стал шутить над собой.

Остановились мы у какого-то трактира недалеко от трамвайной линии, ведущей к собору Св. Петра.

Возница выпил с нами вина и уехал, получив от меня на чай и обещав охотнику подвезти его снова через неделю.

Мы сели в трамвай и, продолжая обсуждать трудности охоты на диких голубей, сошли на площади Св. Петра.

Хранитель Аполлона решил, что я главным образом охотник.

Он звал меня на завтра «к себе» в музей, покровительственно сообщая, что Аполлона следует посмотреть.

Он обещал объяснить мне не только «свои» статуи, но и все замечательное в других залах скульптурного отдела.

В четыре часа дня мы распрощались у бронзовых ворот Ватикана.

Владислав Ходасевич

ПОЭТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПУШКИНА

О к о н ч а н и е

46.

В заметке 42 я указывал на некоторые сходные приемы в батальных сценах «Руслана и Людмилы» с одной стороны, «Полтавы» — с другой. Но дело не ограничивается формальными параллелизмами.

Как появление Руслана в бою с печенегами, так и появление Петра в бою со шведами предшествуют репетиционному моменту сражения. При этом в «Руслане» читаем:

То был Руслан. Как божий гром,
Наш витязь пал на басурмана.

В «Полтаве» знаменитые строки:

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен.
Он весь, как божия гроза.

Сходство очевидное. Но как один и тот же образ, в «Руслане» сбивающийся на общее место, — вырастает в «Полтаве», будучи осмыслен и углублен сопоставлением «ужасного» и «прекрасного».

★

В «Полтаве»:

Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его,
И царский пир его прекрасен.

При кликах войска своего
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок поднимает.

Это написано в 1828 году. Но, видимо, благородный жест Петра-победителя задолго до того привлекал воображение Пушкина. Еще в «Руслане и Людмиле», рассказывая о своих походах, «добродетельный» финн говорит:

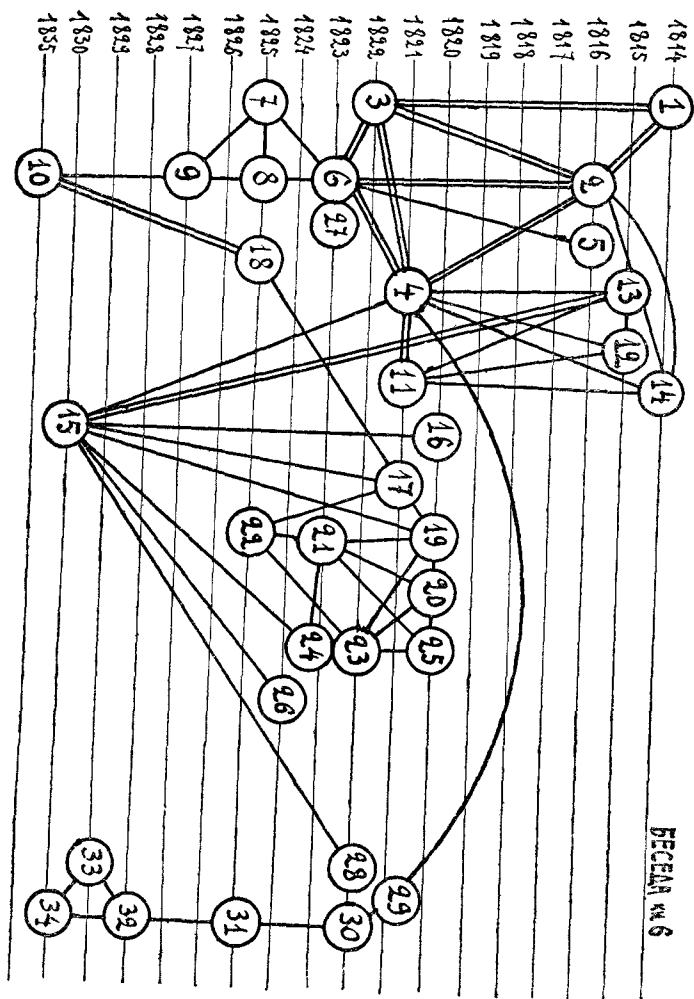
Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары
И с побежденными садились
За дружеские пиры.

47.

Этот чертёж *) представляет собою попытку графического изображения тематической и текстуальной связи между тридцатью четырьмя моментами пушкинского творчества. Каждому кружку чертежа соответствует цельная пьеса или часть ее. Кружки расположены мною на вертикальной скале, указывающей хронологию пьес. Горизонтальное положение кружков, правее или левее, не имеет никакого значения; само по себе оно ничего не обозначает и подсказано лишь технической необходимостью. Существенно важными являются только высота кружков на хронологической скале и, в особенности, линии, соединяющие кружки друг с другом: эти линии выражают взаимную связь кружков. Цифры внутри кружков соответствуют нижеследующим пьесам и отрывкам:

1. К Батюшкову («Философ резвый и пинт...»).
2. А. А. Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой»).
3. Адельи («Играй, Адель...»).

*) См. стр. 274.



4. «Наперсница волшебной старины...»
5. Сон («Пускай поэт с кадилъницей наемной...»).
6. Евгений Онегин, гл. II, чернов. набр. («Ни дура английской породы...»).
7. Зимний вечер («Буря мглою небо кроет...»).
8. Евгений Онегин, гл. VI, стр. 35. («Но я плоды своих мечтаний...»).
9. «Подруга дней моих суровых...»
10. «Вновь я посетил...»
11. Муза («В младенчестве моем она меня любила»).
12. К Батюшкову. («В пещерах Геликона...»).
13. Мечтатель («По небу крадется луна...»).
14. Городок («Прости мне, милый друг...»).
15. Евгений Онегин, глава VIII, строфы 1—7 и 46.
16. Руслан и Людмила.
17. Кавказский Пленник.
18. 19 октября 1825 г. («Роняет лес багряный свой убор...»).
19. Нереида («Среди зеленых волн, ласкающих Тавриду...»).
20. «Редет облаков летучая гряда...»
21. Бахчисарайский Фонтан.
22. Буря («Ты видел деву на скале...»).
23. «За нею по наклону гор...»
24. Евгений Онегин, глава I, строфы 33 и 57.
25. Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фонтан живой...»).
26. Цыганы.
27. Евгений Онегин, глава II, строфы 24—29.
28. Братья-разбойники.
29. Друг Дельвиг, мой Парнаасский брат...»
30. Наброски посвящения или вступления «Гавриилиады».
31. П. А. Вяземскому («Сатирик и поэт любовный...»).
32. В. С. Филимонову («Вам музы, милые старушки...»).
33. «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»
34. Домик в Коломне.

Три текста давно уже привлекали мое внимание. Хотелось показать их взаимоотношение: точнее: возникновение из двух текстов, 1 и 2, — третьего, означенного цифрой 3. Но, в процессе работы, я заметил, что 2, в свою очередь, связан с 6 и 4, а кружок шестой неизбежно связался с целой цепью: 7, 8, 9, 10, а кружок 4 — с 11 и 15, который оказался центром, куда тянутся умственные линии от целого множества кружков: 16, 17, 18 и т. д. Помимо связи с 15-ым, кружки оказались сепаратно связанными друг с другом, стали перекликаться, привлекать новые тексты — и в конце концов сложились в систему, которую я, для наглядности, решил представить графически. Такова история чертежа.

Вот два текста, послуживших его завязью:

Кружок 1-ый:

Мирские забывай печали,
Играй, тебя молодой Назон,
Эрот и Грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

(«К Батюшкову»).

Кружок 2-ой:

Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их *) лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.

(«А. А. Шишкову»).

Интонационное и смысловое родство этих текстов очевидно. В обоих — обращение к поэтам. В обоих — приглашение к беззаботности и веселью: в первом — к забвению печалей, во втором — к согласованию «игривой свирели» с лирой трех эротических поэтов. Самое приглашение в обоих текстах сделано императивно: в 1-ом — просто *imperativum* («играй»), во 2-м *infinitivum imperativum* («Тебе... со-

*) Т. е. Тибулла, Мелецкого и Парни. В. Х.

глашать»). Мотивировка предложения в обоих случаях выражена одинаково: синтаксически — пропуском союза «ибо» и заменой его знаком двоеточия; логически — тем, что оба поэта с младенчества пользуются особым, прямым покровительством богов: Батюшков — со стороны Эрота, Граций и Аполлона, Шишков — со стороны «веселья резвого» и «нимф Геликона». Наконец, некоторое фонетическое сродство есть в рифмах: «Назон — Аполлон» в одном случае, «Аполлона — Геликона» в другом.

Теперь посмотрим на третий текст: начало стихотворения «Адели» (1822):

Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.

Несмотря на то, что стихи обращены на сей раз к ребенку, а не к поэту, — здесь прежде всего замечается интонационное и смысловое тождество с обоими предыдущими текстами: опять приглашение к беззаботности, выраженное в повелительном наклонении; в мотивировке — снова пропуск союза и покровительство богов. Далее, сравнивая третий текст с первым, видим, что призыв к веселости сделан отчасти тем же глаголом и в той же форме: «играй». Слова «забывай печали» здесь, в применении к младенцу, слегка изменены: «не знай печали». Слова же: «Тебя... Эрот и Грации венчали» повторены в смысловом отношении буквально: «Хариты, Лель тебя венчали». Разница же лексическая — лишь в изменении мифологической терминологии: латинские Грации заменены эллинскими Харитами, а эллинский Эрот — славянским Лелем. Таким образом, первые четыре стиха «Адели» почти без остатка растворяются в послании к Батюшкову. Зато стихи 5—6 растворяются в обращении к Шишкову уже полностью:

И колыбель
Твою качали —

целиком взято из нашего второго текста. Начало «Адели» оказывается почти кон'ектурой 1-го и 2-го текстов.

Если теперь обратимся к рифмовке, то увидим, что «Адели» и в этом отношении оказывается сводкой 1 с 2*). «Печали — венчали» буквально взято из 1. Созвучие «Назон — Аполлон — Аполлона — Геликона», связывавшее 1 с 2, в 3 отброшено, — за то рифма: «Адель-Лель-колыбель» восходит ко второму тексту: там «колыбель» рифмована со «свирель», а здесь — с «Адель» и «Лель» (что может быть и является причиной замены Эрота Лелем). Однако, слово «свирель» не вовсе выпадает из ряда, а дано позже, — так сказать, отсрочено: в конце «Адели» читаем:

Люби, Адель,
Мою свирель.

Получается рифменная кон'ектура, и в результате из двух автореминисценций сделано новое стихотворение.

★

Как я уже говорил, сопоставлением 1, 2 и 3 задача моя первоначально исчерпывалась. Но пришлось идти дальше.

На моем чертеже, тексты 1, 2, 3 образуют треугольник. Двойные линии, образующие стороны этого треугольника, означают, что между текстами есть не только тематическая и смысловая связь, но и словесные и фонетические совпадения. Такими же двойными линиями пришлось обозначить и смежный треугольник: 2, 3, 4.

*) В дальнейшем для краткости, означая цитаты прямо номерами, под которыми они нанесены на чертеж. В. Х.

В самом деле, сравнивая 2 и 3 с 4 («Наперсница волшебной старины»), замечаем словесное и рифменное совпадение: в 4 читаем:

Ты детскую качая колыбель
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Как в 2, так и в 3, колыбель качают мифологические существа, покровительствующие младенцу: в 2 — нимфы, в 3 — Хариты и Лель. В 4, как будто бы, образ такой покровительницы дан в чертах бытовых, несоответствующих никаким Харитам и нимфам: «Наперсница волшебной старины» является перед нами «веселую старушкой», «в пушуне, в больших очках и с резвою гремушкой». В этом образе принято видеть няню или бабушку поэта, в детстве пленившую его слух своими сказками и песнями. Один исследователь, например, комментируя эту пьесу, без колебаний заявляет: «Образ старушки — няни Пушкина или его бабушка». Правда, слова «старушка» он набирает курсивом, чем, повидимому, хочет сказать, что только старушка в начале пьесы — няня или бабушка, а та «прелестница», о которой повествуется дальше, — уже не бабушка и не няня. Однако, это не верно: все стихотворение обращено к *одному* лицу, которое только дважды является в разных образах, сперва старушкой, потом в ином виде:

Вся в локонах, обвитая венком — и т. д.

Здесь — два явления одного существа: не бабушки, не няни, а существа волшебного, обладающего силою «заворожить свирель» и, ко второму своему появлению, измениться «мило» и «быстро». Словом, мы имеем здесь дело с явлением Музы. Поэт, ранее сказавший, что колыбель Шишкова качали Грации, а колыбель Адели — Хариты и Лель, здесь говорит о самом себе, что его колыбель стерегло такое же ми-

фическое существо — Муза. Смысловый параллелизм с 2 и 3 здесь вполне сохранен. Различие только в том, что традиционный антропоморфизм Музы, обычно изображаемой в виде прекрасной девицы, Пушкин на сей раз расширяет и углубляет: его Муза является в различных человеческих образах, соответствующих его вдохновениям и биографическим моментам. «Наперсница волшебной старины» есть явление Музы в образе няни (или бабушки). Ряд подобных явлений Музы и является темой моего чертежа.

Поскольку Муза в первой половине «Наперсницы» показана в образе старушки, — она связывается с другой, более ранней пьесой, в которой речь идет о няне или бабушке просто; я имею в виду «Сон» 1816 года:

Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклони,
С усердием перекрестит меня
И шопотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...

Этот отрывок, начатый, но не завершённый (на чертеже — кружок 5), любопытен в двух отношениях. Во первых, из сопоставления его с 4, написанным позже, видно превращение старушки-няни в Музу. Точнее — видно, как образ, связанный с реальным воспоминанием детства и так же реально изображённый в 1816 г., — к моменту создания «Наперсницы» сочетался с мифологическим образом Музы. Вторых, здесь можно лишний раз наблюдать не редкое у Пушкина расщепление накопленного, но не вполне использованного материала. Набросав, но не кончив «Сон», Пушкин через пять лет заимствовал из него внешний облик няни для изображения Музы в «Наперснице». Приняв образ старушки, богиня заимствовала от бывшей «мамушки» чепец и «старин-

ное одеянье», названное в 4 прямо шушуном*). О сказках, в «Сне» точно указанных (Бова, Полкан, Добрыня) в «Наперснице», упомянуто вообще и условно: «Мой юный слух напевами пленила». О молитвах и крестном знамении, конечно, вовсе не сказано: именно потому, что в «Наперснице» является перед нами эллинская Муза, а не православная мамушка. Но — неиспользованное в «Наперснице» — два года спустя всплывает в черновиках «Онегина». Здесь поэт хотел изобразить няню Лариных:

Ни дура Английской породы,
Ни своенравная Мамзель,
В России, по уставу Моды,
Необходимые досель,
Не стали портить Ольги милой.
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель,
Она же ей стлала постель,
Она ж за Ольгой ходила,
Бову рассказывала ей,
Чесала золото кудрей,
Читать «Помилуй мя» учила,
Потру наливала чай
И баловала невзначай.

Этот набросок, обозначенный в чертеже кружком 6, примечателен тем, что он как бы черпает из «Сна» то, что не

*) Образ старушки, восставший из детских воспоминаний, абстрагировался постепенно. «Наперсница» — вторая фаза этого процесса. Первая относится к 1819 году. Но тогда эта старушка в сознании Пушкина ассоциировалась не с Музой, а с Москвой, где протекало его детство. Он писал «Н. В. Всеволожскому»:

В почтенной кичке, в шушуне,
Москва премилая старушка.

было взято для «Наперсницы»: момент молитвы и рассказ о Бове. В этом преемственная связь 6 с 5, а слова «качала колыбель» текстуально связывают черновик «Онегина» с одной стороны — с 2 и 3, а с другой — с 4, с которым он, кроме того, имеет общее происхождение от 5.

Суммируя сказанное и всматриваясь в треугольники чертежа, получаем:

1) Треугольник 5, 4, 6 показывает одинаковое происхождение мифического образа Музы (в 4) и бытового изображения няни (в 6) — из общего источника — детских воспоминаний (5).

2) С другой стороны, треугольник 2, 3, 4 устанавливает несомненную связь няни-Музы (4) с мифическими созданиями (2 и 3).

3) Треугольник 2, 3, 6 дает наглядное изображение той же связи с мифологией — для вполне, казалось бы, реального, бытового образа ларинской няни*)

4) Треугольники 2, 4, 6 и 3, 4, 6 очерчивают тему: явление Муз и Граций у колыбели младенца,—при чем ларинская няня опять таки оказывается вовлеченной в хоровод существ фантастических.

*) Необходимо заметить, что ларинская няня, названная сперва Фадеевной, а потом переименованная в Филиппевну, — есть то же самое лицо, что и историческая няня самого Пушкина, Арина Родионовна. Пушкин, так сказать, уступил ее Ларинным и ввел в свой роман, как и других исторических илц: как Каверин дружит с Онегиным (гл. I, строфа XVI), а кн. П. А. Вяземский подсаживается к Татьяне на Московском балу (гл. III, строфа XLIX), так и Арина Родионовна под псевдонимом Филиппевны нянчит Татьяну с Ольгой. В 1824 году Пушкин писал из Михайловского Д. М. Княжевичу: «..... вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели; она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Однако, в действительности между Ариной Родионовной и Филиппевной сходство еще глубже, нежели между оригиналом и копией: оно приближается к историческому тождеству. Подтверждение этого мы еще увидим.

Таким образом, сопоставление треугольников подсказывает вывод: если «старушка» из «Наперсницы» есть Муза, принявшая образ няни, то, с другой стороны, ларинская няня оказывается в родстве с существами мифологического порядка. Она — не совсем «просто няня». Можно бы сказать, что к 1823 г. образ няни стал для Пушкина полу-мифическим. А это, в свою очередь, важно потому, что «тема няни» продолжена в 7, 8, 9 и 10. Та «старушка», к которой в «Зимнем вечере» (7) Пушкин обращается: «добрая подруга бедной юности моей»; та, о которой в том же году, в 35 строфе IV главы «Онегина» (8) говорит он опять, как о «подруге юности»; та, к которой, два года спустя, обращается он говоря:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя! —

(«К няне», кружок 9);

та, наконец, о которой в 1835 г. («Вновь я посетил»...., кружок 10) он печально скажет: «Уже старушки нет» — это все не только «няня»: это все та же старушка, которая предстала ему «Наперсницей волшебной старины». Это — Муза, «богиня тихих песнопений». Недаром поэтому (просмотрим опять эту цепь 6, 7, 8, 9, 10) ларинская няня рассказывает «Бову» (6), недаром в «Зимнем вечере» (7) поэт ее просит:

Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила,

Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла;

Недаром он вспоминает ее в 1835 г. (10):

уж за стеною

Не слышу я шагов ее тяжелых,

Ни кропотливого ее дозора,

А вечером при завываньи бури

Ее рассказов, мною затверженных

От малых лет...

Только в 9 («Подруга дней моих суровых...») няня является молчаливой: это потому, что она одна. Во всех прочих случаях она предстает или вспоминается с песней и сказкой на устах. Это — лепет Музы. И обратно: ей же, как Музе, поэт проверяет свои вдохновения (8):

А я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

Такова история одного из явлений Музы: в образе няни. К нему мы еще отчасти вернемся. Теперь же, — заметив, что в теме няни встречаемся у Пушкина с переходом момента автобиографического в момент мифотворческий, — обратимся к правой стороне нашего чертежа: пойдем по линии 4—11: от «Наперсницы волшебной старины» — к «Музе».



«Наперсница волшебной старины»... Пушкиным не окончена. Мне кажется, он мог быть недоволен пьесой по двум причинам. Во первых, надо принять во внимание, что процесс мифологизации няни, процесс превращения ее в Музу протекал подсознательно. И вот, когда Муза написалась старушкой, в очках и шутуне, поэт, слишком еще помнивший поэтический канон XVIII века, вероятно, был несколько озадачен этим: вполне допустимо предположить, что такая модернизация, особенно в самом начале двадцатых годов, могла показаться ему рискованной. Заметим, что ведь и позже, сколько ни приближался в его стихах образ няни к образу Музы, — Пушкин все же больше ни разу не поставил между ними того знака равенства, который стоит в «Наперснице».

Вторая причина недовольства могла лежать в архитектонике стихотворения. В самом построении пьесы, в ее архи-

тектурном замысле, позволительно усмотреть некий промах. Двенадцать начальных стихов посвящены изображению Музы в виде старушки. Десять заключительных — живописуют Музу-преlestницу (в хорошем значении этого слова). Между первой и второй частью — связующее четверостишие. Стихотворение явно не закончено в длину, — это видно из содержания. Сколько же стихов мог Пушкин приписать к нему? Очень немного: два, четыре, вряд ли больше шести, так как в противном случае вторая часть перевесила бы, забила бы первую. Каково могло быть содержание этих ненаписанных завершительных строк? Только одно: показанной, но совершенно статичной «преlestнице» мог быть придан какой-нибудь жест, выводящий ее из этого статического состояния и соответствующий жесту Музы-старушки, когда та, сперва тоже показанная статически, затем

....меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Иное окончание пьесы вряд ли возможно представить. Но и в этом случае, даже не нарушая пространственного равновесия частей — Пушкин не спас бы стихотворения от архитектурного недостатка. Только теперь недостаток выразился бы в том, что получилась бы пьеса, построенная на симметрическом соответствии двух образов, ярко выписанных, но пластически плохо связанных. Получилось бы стихотворение, фатально разламывающееся на две части, с вялой, очень психологично означенной, а потому и натянутой связью:

Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила —
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила.

Удачно переделать эти связующие стихи Пушкин не смог бы. Что ни делай — они должны изображать пустое место,

пробел между двумя яркими, но удаленными друг от друга моментами: между первым и вторым появлением Музы. В лирической пьесе такая задача вряд ли разрешима.

Точная датировка «Наперсницы» неизвестна. Но мне кажется невероятным, чтоб она могла быть писана позже «Музы» (кружок 11). Если бы мы допустили, что «Муза» писана раньше, то пришлось бы допустить, что из стихотворения, которым поэт был вполне доволен и которое вскоре после написания отдал в печать, — он сейчас же начал заимствовать образы и отдельные выражения для новой пьесы. Конечно, «Наперсница» была писана и оставлена до написания «Музы», куда и перенесены из нее некоторые частности:

1) Свирель, «оставленная меж пелен» «веселою старушкой», превращена в «семистольную цевницу», «врученную» Музой.

2) Посещение Музы, сделанное в «Наперснице» «тихонько», проступило в «Музе» эпитетом: «Прилежно я внимал урокам деvy тайной».

3) «Важные музы» «Наперсницы» стали в новом стихотворении «важными гимнами» (Впрочем «Важные гимны» есть уже в послании «К А. И. Галичу» 1815 г.).

4) Как в «Наперснице» Муза «сама заморозила» свирель, так теперь «сама из рук моих свирель она брала» и «оживляла» ее «божественным дыханьем».

5) Стихи «Наперсницы»:

Младенчество прошло, как легкий сон;

Ты отрока беспечною любила, —

перефразированы в первом же стихе «Музы»:

В младенчестве моем она меня любила.

Наконец, внешний облик новой Музы, облик прелестной деvy, близок к тому, который является нам во второй половине «Наперсницы»; одна частности — локоны — даже повторена буквально.

Однако, примечательно, что образ старушки теперь отсутствует, и богиня трактована в полном согласии с канонем, совершенно в духе антологии. В частности, в «Музе» последний раз встречается у Пушкина один типично антологический мотив: вручение поэтически-пастушеского атрибута, — дудки, цевницы, лиры или свирели. По канону, мифическое существо, покровительствующее поэту, вручает ему такой атрибут в младенчестве. Идя в обратном хронологическом порядке, замечаем, что вручению цевницы в «Музе» (11) предшествует оставление «меж пелен» замороженной свирели в «Наперснице» (4). Этому, в свою очередь, предшествует аналогичный момент в одном из стихотворений 1815 г.: «Батюшкову» («В пещерах Геликона»... Кружок 12). Там покровителем начинающего является Пан:

Веселый сын Эрмия

Ребенка полюбил:

В дни резвости златые

Мне дудку подарил.

С «Наперсницей» и «Музой», так же полюбившей поэта в младенчестве, это стихотворение составляет наш треугольник 4, 11, 12.

Наконец, еще раньше, в «Городке» (1814 г., кружок 14), читаем:

Ах! счастлив, счастлив тот,

Кто лиру в дар от Феба

Во цвете дней возьмет!

В тот же год, когда написано послание к Батюшкову («В пещерах Геликона...», 12), написан «Мечтатель» (кружок 13), примечательный для нас тем, что в этом стихотворении мы имеем первое по времени «явление Музы»:

Нашел в глуши я мирный кров

И дни веду смиренно;

Дана мне лира от богов,

Поэту дар бесценный;

И Муза верная со мной:
 Хвала тебе, богиня!
 Тобою красен домик мой
 И дикая пустыня.

На слабом утре дней златых
 Певца ты осенила,
 Венком из миртов молодых
 Чело его покрыла,
 И горним светом озарясь,
 Влетела в скромну келью
 И чуть дышала, преклонясь
 Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей молодой
 До самых врат могилы!
 Летай с мечтаньем надо мной,
 Расправя легки крылы!

Как видим, это первое явление Музы дает традиционный образ богини, что сближает стихотворение с «Музой» 1821 г. (11). Получение лиры от богов, как и упоминание об утре «дней золотых» (почти в тех же словах, как в 12), сближает пьесу с 12, 4, 11 и 14. Появление Музы у колыбели связывает «Мечтателя» с 2, но главным образом с 4: в 12, как впоследствии в 4, Муза является у колыбели самого автора (в 2 — у колыбели Шишкова), слову же «колыбель» и в 12, и в 4 придан общий (почти тавтологический) эпитет «детская».

Так возникают треугольники:

2, 13 4, который можно бы назвать: Муза у колыбели.

13, 4, 11 и 12, 4, 11, а также 14, 4, 11, имеющие общее основание 4—11, т. е. разнящиеся лишь вершинами (13, 12 и 14): получением дудки от Пана (в 12), лиры от Феба (в 14), и лиры от богов вообще (в 13). Общая тема треугольников — получение поэтического атрибута (в 4 — свирель, в 11 — цевница от Музы).

Линии, расходящиеся от 13 к 4 и 11 дают еще один случай позднейшего расщепления материала: перенесения из 13 традиционного образа Музы в 11, а колыбели — в 4.

Здесь же, в «Мечтателе», впервые говоря о своей Музе, поэт обращается к ней:

О, будь мне спутницей молодой
 До самых врат могилы!

Муза и осталась его спутницей, и не только в том смысле, что поэзия осталась с ним «до самых врат могилы», — но и в другом: самая тема явления Музы сопровождала его почти до конца жизни. Но — образ Музы менялся.



Изменение этого образа прослежено самим Пушкиным и зафиксировано в VIII главе «Евгения Онегина», которая на чертеже обозначена кружком 15. Последуем за изложением Пушкина и посмотрим, как сюда, к 15-му кружку, тянутся связующие нити от других моментов Пушкинского творчества.

I.

В те дни, когда в садах лица
 Я безмятежно расцветал,
 Читал охотно Анулея,
 А Цицерона не читал;
 В те дни, в таинственных долинах,
 Весной, при криках лебединых,
 Близ вод, сиявших в тишине,
 Являться муза стала мне.
 Моя студенческая келья
 Вдруг озарилась: муза в ней
 Открыла пир молодых затей,

Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

Это не только рассказ о начале поэтического пути, но и свидетельство о том, что сам Пушкин отчасти рассматривал этот путь, как ряд последовательных «явлений Музы». Это непосредственно связывает кружок 15 с 4 и 11.

В цитированных строках намечен лишь первый образ Музы: богиня «озаряет» «студенческую келью». Примечательно, что здесь использован тот самый словесный материал, какой мы находим именно в описании первого явления Музы в «Мечтателе». Там:

..... горним светом *озарясь*,
Влетала в скромну *келью*.

Здесь, в «Онегине» —

Моя студенческая *келья* .
Вдруг *озарилась*

Таким образом, кружок 13 связывается с 15 двумя линиями: тематической и текстуальной. Мы имеем дело с прямой автореминисценцией.

В заключительных стихах I строфы, а также в строфах II и III, Пушкин представил Музу такою, какой являлась она ему в Лицее и в краткий период между Лицеем и ссылкой. Это — Муза, крылатая «первым успехом», Муза, приведенная «на шум пиров и буйных споров», знаменитая «ваханочка», за которую «буйно волочилась» «молодежь минувших дней». Однако, в этих строфах нет прямых намеков на какие либо определенные пьесы Лицейского и послелицейского периодов. Точнее — здесь подразумевается все, что было написано в те годы, — перечисляются основные мотивы ранней Пушкинской поэзии: «детские веселья», отразившиеся, например, в посланиях к Галичу и в «Пирующих студентах»; «трепетные сны» сердца — вроде любовных стихов 1816 года;

«пение за чашей», вроде стихов, обращенных к Юрьеву или Кривцову; наконец, в упоминании о «буйных спорах», «грозе полуночных дозоров», заключен вероятно, намек на политические стихи, вроде «Noël'я».

В соответствии с этим обстоятельством, я на своем чертеже мог поместить лишь один кружок — 16 — означающий «Руслана и Людмилу»: мне кажется, что некоторый отдаленный намек на эту поэму можно видеть в словах I строфы: «Воспела... славу нашей старины». *).

Четвертая и пятая строфы содержат в себе вполне отчетливые намеки, и наш чертеж расширяется. Излагая историю явлений Музы, Пушкин продолжает:

Но рок мне бросил взоры гнева
И в даль занес... она за мной.
Как часто ласковая дева
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа.
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!...

*) Повидимому, в начальных строфах VIII главы Пушкин сперва намеревался, говоря о своей ранней лирике, представить первое явление Музы, как импульс к созданию изданной в 1826 году первой книги «Стихотворений Александра Пушкина». Намек на эту книгу есть в 3 строфе первоначальной редакции:

Везде со мной неутомима,
Мне Муза пела, пела вновь
(Amorem canat aetas prima)
Все про любовь да про любовь...

Здесь третий стих — изменение Проперциева стиха, взятого эпиграфом к изданию 1826 г.: «Aetas prima canat amorem, extrema tumultus».

Здесь Пушкин припоминает явление Музы — вдохновительницы «Кавказского Пленника» (кружок 17), той, о которой в Эпиллоге этой поэмы он говорил:

Так Муза, легкий друг мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там, — и т. д.

Кроме того, в строках:

Как часто ласковая дева
Мне усаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа...

есть рифменная и лексическая автореминисценция обращения к Кюхельбекеру в «19 Октября 1825 г.»:

Приди: огнем *волшебного рассказа*
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа...

Таким образом, кружок 18 («19 Октября 1825 г.») соединяется с 17 и 15 темой: Кавказ—Кюхельбекер.

Далее в «Онегине» читаем:

Как часто по берегам *Тавриды*
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шопот *Нереиды*,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.

Тут имеем новое явление Музы: она вспоминается Пушкину, как вдохновительница его «крымских» произведений, — прежде всего «Нереиды» (кружок 19), связь с которой закреплена и в рифме *).

В этом намеке на «Нереиду» зашифровано очень много воспоминаний. Личностью той женщины, которая вдохновила Пушкина на «Нереиду» эта IV строфа «Онегина» связывается с «Редет облаков»... (20), с «Бахчисарайским Фонтаном» (21) с «Бурей» (22). Думая о Музе, сопутствовавшей ему при созерцании Нереиды, Пушкин не мог не думать, что тому же явлению богини обязан он и всеми здесь перечисленными отголосками Крыма в его поэзии. Но кроме 20, 21 и 22 Пушкин, конечно, в числе своих таврических вдохновений, связанных с этой женщиной (или женщинами), должен был вспомнить набросок «За нею по наклону гор»... (23), сделанный в 1822 г. и через год переработанный в 33 строфу I главы того-же «Онегина» (24).

Однако, кружок 24 отмечает связь 20, 21 и 22 не только с 33-й, но и с 57—59 строфами I главы «Онегина». Эта связь вскрывает необыкновенно изящный момент в творческой психологии Пушкина. Перечтем 57 строфу внимательно:

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,

*) Начало «Нереиды»:

Среди зеленых волн, ласкающих *Тавриду*,
На утренней заре я видел *Нереиду*.

Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?»
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?»

Первые пять стихов говорят о том, что поэту некогда было ведомо любовное чувство, что чувство это поулеглось, и только «тайный образ» «милых предметов» сохранился в душе. Шестой стих устанавливает связь «милых предметов» с творчеством: тайно сохраняемые в душе, они там находятся в состоянии как бы анабиоза — между жизнью и смертью. Творчество оживляет их. В каком виде? Ответ дан в трех следующих строках. Поэт вспоминает, как он, уже свободный от «безумной тревоги» любви (строфа 58), — уже «беспечный» воспевал:

И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира, —

т. е. воспоминает эпоху «Кавказского Пленника» и «Бахчисарайского Фонтана». Но поскольку в предыдущих стихах дан недвусмысленный намек на происхождение образов «девы гор» и салгирских «пленниц», поскольку эти образы суть лишь оживленные образы «милых предметов», — мы можем утверждать, что и черкешенка, и жены Гирея суть поэтические преобразованные («оживленные») образы одной или двух Раевских.

59 строфа начинается формулой:

Прошла любовь, явилась Муза.

Поскольку в предыдущих строках говорилось о любви к Раевской (или Раевским), — постольку следует сделать вывод, что и то явление Музы, о котором идет речь в 4-ой строфе VIII главы, вызвано предварительным появлением Раевских на жизненном пути Пушкина.

Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали, говоря о «Нереиде». Однако, признание Пушкина, что образ

«девы гор» стоит в связи с теми же любовными переживаниями, которыми вызваны образы «Бахчисарайского Фонтана», позволяет включить кружок 17 в следующую фигуру 17 — 19 — 20 — 25 — 23 — 24 — 15, которую можно бы назвать фигурой Раевских *).



Следующая, 5 строфа показывает нам сперва Музу — вдохновительницу «Цыган» (кружок 26):

И позабыв столицы дальней
И блеск, и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи ей любезной...

Если до сих пор, Муза являлась как вдохновительница поэта, то в дальнейших стихах этой же строфы она, сверх того, принимает образ героини романа. Заключительные строки этой строфы показывают нам Музу в образе Татьяны:

Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкой в руках.

Здесь мы имеем уже воспоминание о явлении Музы Пушкину-автору II главы «Онегина», той где впервые показана

*) Сюда же отчасти относятся 3, 14 и 16 строфы «Путешествия Онегина», в которых вместе с темой Раевских снова звучит тема Музы.

Татьяна (Строфы 24—29, кружок 27). Наконец, в начальных стихах следующей, шестой строфы VIII главы показано последнее, как бы в данную минуту происходящее явление Музы. Если до сих пор явления были тайными, зримыми одному поэту, то теперь все происходит на глазах у читателя:

И ныне Музу я впервые
На светский раут привожу;
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села молча и глядит — и т. д. *)

Это явление Музы — хронологически предпоследнее в поэзии Пушкина. Последнее отдалено от него, повидимому, лишь несколькими неделями. Но тут мы должны вернуться к 1821 г., к тому моменту, когда Муза впервые предстала поэту в образе старушки.



Выше, говоря о предполагаемых причинах недовольства Пушкина «Наперсницей», я указывал, что Муза, представленная в виде старушки, могла показаться ему слишком неканонической. Эта неканоничность в «Наперснице» складывается из двух элементов: во-первых, богиня, канонизированная в образе юной девы, представлена здесь старушкой; во-вторых старушке этой приданы русские черты XIX столетия: иными

*) О связи следующей, 7-й строфы с «Братьями-разбойниками» я говорил выше, в заметке 9. Эта автореминисценция намекает на то, что именно сама Муза еще хранит впечатление, произведенное на нее шайкой удачных в одном из ее предыдущих явлений. Кружком 28 на чертеже отмечены «Братья-разбойники».

словами, Муза модернизирована. Первый из этих двух элементов, видимо, был навсегда отброшен Пушкиным: старую Музу ему более не являлась. Что же касается модернизации Музы, то она, в соответствии с романтическими приемами пушкинской поэзии, сохранилась: именно в VIII главе «Онегина», Муза, оставаясь юною девой, принимает ряд образов, противоречащих классическому канону, и наконец, является даже на петербургском рауте. Но, как бы то ни было, в «Онегине» образ Музы неизменно остается «преlestным». Как он ни модернизирован, в нем все-же сохраняются черты «высокого стиля» — хотя бы романтического: Муза сравнивается с Ленорой, в очах у нее «печальная дума» и т. д. Модернизация не переходит ни в прозаизацию, ни в пародию.

Однако, несколько попыток такого пародирования или прозаизирования Музы были сделаны. Из них большинство приходится на шуточные, дружеские послания, не предназначенные для печати.

Самая ранняя относится к 23 марта 1821 г. от «Музы» (11) ее отделяет месяц с небольшим. В этот день Пушкин писал Дельвигу:

Теперь я, право, чуть дышу,
От воздержанья Муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.

(Кружок 29).

В следующем году, набрасывая вступление к «Гавриилладе», Пушкин в одном из набросков зовет Музу «игривой», в другом говорит:

Вот Муза, добрая душой,
Не испугайся, милый мой,
Ее Израильскому платью... и т. д.

В третьем наброске:

Вот Муза, резвая болтуня,
Которую ты так любил.
Она раскаялась, шалуня:
Придворный тон ее пленил.

Эти наброски означены кружком 30.

В 1825 году, в шуточном послании к Вяземскому (см. зам. 22; на чертеже кружок 31) Пушкин считается с приятелем родством Муз:

Но, милый, Музы наши — сестры,

Итак, ты все же братец мой.

Только 1829 г. он единственный раз прозаизирует Музу в серьезных, не шуточных, стихах:

Беру перо, сию; насильно вырываю

У Музы дремлющей несвязные слова.

Ко звуку звук нейдет... и т. д.

(«Зима. Что делать нам...» Кр. 32).

Наконец, последнее явление пародированной Музы было и последним явлением Музы вообще. Через несколько дней после окончания VIII гл. «Евгения Онегина», в XXIII октаве «Домика в Коломне» (кружок 33) Пушкин обращается к своей «младой спутнице»:

Усядься Муза; ручки в рукава,

Под лавку ножки. Не вертись, резвушка.

Теперь начнем — и т. д.

Пушкин стал суховат и горек. После 1830 г. ему было не до «богинь». Он изгнал мифологию из своего творчества*).

*) Кружком 32 отмечено у нас послание к В. Р. Филимонову (1828 г.), начинавшееся словами:

Вам Музы, милые старушки,

Колпак связали в добрый час...

Также и в XV строфе «Домика в Коломне» говорится о «хороводце старушек-муз»... Однако же, этих старушек нельзя сблизать со старушкой «Наперсницы»: они не являются Пушкину, как *его* Муза, вдохновительница *его* поэзии, и они стары не онтологически, а лишь исторически. Меж тем, старушка-Муза в «Наперснице» и старушка-няня — существа извечно древние, невятно лепечущие свои древние сказки, быть может, — близкие Паркам. (Быть может, в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» слова: «Парки бабье лепетанье» имеют глубокое сродство с темой явления Музы. Быть может, эти стихи представлялись Пушкину такою же записью Паркина лепетанья, как другие — записью песен Музы).

Няню Арину Родионовну Пушкин, как я говорил, уступил семье Лариных. До отъезда Татьяны в Москву, чем и заканчивается седьмая глава «Онегина», ларинская няня, очевидно, была жива. Случись ее смерть ранее, это событие, важное в жизни Татьяны, было бы отмечено в седьмой главе. В последнем своем разговоре с Онегиным, Татьяна ему говорит о смиренном кладбище,

Где ныне крест и сень ветвей

Над бедной нянею моей.

Следовательно, мысль о смерти ларинской няни пришла Пушкину после 4 ноября 1828 г., когда была закончена VII глава, — и это подтверждает ее идентичность с Ариной Родионовной, скончавшейся в конце 1828 года. В той самой главе, где Пушкин подводит итог явлениям своей Музы, он иносказательно, зашифровано, «для себя», прощается и с одним из реальных воплощений этой Музы.

В связи с этим, я отметил на своем чертеже 10-м кружком стихотворение «Вновь я посетил»..., в котором Пушкин в последний раз вспоминает няню. Этим кружком заканчивается фигура 5 — 4 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10: тема Арины Родионовны. Воспоминанием об «опальном домике», «Вновь я посетил» текстуально связывается с 18: с «19 Октября 1825 г.»

Проф. Ф. А. Браун

ВАРЯГИ НА РУСИ

Начало девятого века. Ярким светом истории давно залиты европейский юг и запад. Расцвел прекрасный цвет греческой культуры и, распавшись, оплодотворил семенами своего созревшего плода культурный мир. Воздвиглась мировая громада римской империи и, пережив свою мощь, рухнула под напором германских варваров. Один уголок ее уцелел на юго-востоке — Византии, хранительница ее заветов, гордая воспоминаниями, но слабеющая силами: ей предстоит, в тысячелетней агонии, донести традиции Рима до порога нового времени. А на западе уже зародилась новая жизнь: из разрозненных германских государств, осевших на развалинах древнего мира, недавно выросла империя Карла Великого, объединившая западное христианство в работе по созданию нового миропонимания, новой — средневековой — культуры. Великие подвиги творческой энергии, победы и поражения духа и плоти, смену царей и царств, жизнь и смерть в быстром чередовании поколений — все это ярко озаряет история в смене веков.

Но свет ее направлен только на этот мир запада и юга. Все остальное погружено в глубокий мрак. Что творится там? Косые лучи изредка скользят по необозримым равнинам и лесам европейского востока, словно яркий сноп света гигантского прожектора, ошупывающий дали. Тогда на мгновение из тьмы выступает кусочек ландшафта, — видно, что и там живут, бьются, умирают народы, — иногда издалека до нас долетает и имя, одинокое, как лист, оторванный от живого де-

рева, случайно занесенный к нам вихрем далеких событий. И вновь все окутывается тьмой и тишиной — на столетия...

Что происходит там? Что творится в степях, на зеленых полях и лугах, в лесных дебрях и болотах восточной Европы? Ведь это все наше, хоть далекое, да свое, родное; ведь это та самая необозримая даль, на которой теперь раскинул свои трудовые хаты русский народ. Хотелось бы заглянуть в глаза этим далеким предкам, пережить вместе с ними хоть небольшую частицу их чужой — родной нам жизни.

I

ПРОЛОГ РУССКОЙ ИСТОРИИ

То далекое, о чем будут повествовать ближайшие страницы, можно было бы назвать прологом русской истории. Оно относится к тому времени, когда тьма, покрывающая восточно-европейскую равнину, начинает рассеиваться. Нет еще полного света, как на западе, но уже наступили предутренние сумерки. За легким туманом заметно движение по дорогам, веющим через леса и болота; по рекам плывут ладьи, нагруженные товаром; неясно выступают кучки изб, столпившихся в села там, где скрещиваются дороги, да на высоких берегах судходоходных рек высятся деревянные частоколы и бревенчатые башни городов; доносятся отдаленные звуки кипучей жизни, говор толпы, крики и шум, — восточно-европейская равнина впервые втянута в оборот организованной международной торговли. Как это произошло?

Велась тут торговля и раньше. Торговали греки из своих черноморских колоний со скифами в южнорусских степях, а через них и со славянами и финнами, примыкавшими к ним с севера. После них — сарматы. Заглядывали потом и римские купцы, проложившие себе в I веке по Р. Хр. путь, по бассейну Вислы, к янтарным берегам Балтийского моря. Но вглубь славянского мира ни те ни другие не проникали: он лежит, как огромный муравейник, в тени беспредельных ле-

сов западной России; в нем кипит жизнь и работа, но работа сосредоточенно бесшумная, не отвлекающая от родного гнезда.

Впервые встревожен был этот муравейник, когда в конце II в. по Р. Хр. с низовьев Вислы появились германские готы. Они прошли через самое сердце славянской прародины, через Полесье и Волинь к Днестру и среднему Днепру, и основали в югозападной России сильное, хотя недолговечное царство. Рядом с ними в 267 г. на берегах Азовского моря появляются герулы — другой германский народ, вышедший с датских островов. Эти германцы, кратковременные гости в южной России, не теряли связи с своей северной родиной: по путям, проложенным ими, на север и северозапад проникло напр. руническое письмо, возникшее у готов на берегах Черного моря.

Тревога и движение, брошенные германским нашествием в муравейник славянского мира, с этого времени уже не унимаются.

По словам историка Иордана (VI в.), готский царь Эрманирик (ок. 350—375 г.), объединивший под своей властью почти всю европейскую Россию, легко подчинил себе и славян, которые были неопытны в употреблении оружия и надеялись лишь на свое многолюдство. «Однако численность ничего не значит на войне, если бог того не хочет и если надвигается хорошо вооруженное войско». Но уже внушительный племянник того же Эрманирика, готский царь Винитарий, оказался лицом к лицу с сильной коалицией антов (т. е. восточных славян), и, разбитый ими в первом сражении, справился с ними лишь после упорной борьбы.

Влияние готов на славян вообще и восточных славян в частности, было довольно значительно. Об этом свидетельствуют многочисленные слова, заимствованные славянским языком от германцев в ту отдаленную эпоху*). Но оно было односторонне. Готы сильны были организацией главным образом военной, государственной, и в истории европейской

*) См. мою статью «Заимствованные слова» в № 3 «Беседы», в частности стр. 307—310.

торговли они никогда видной роли не играли. Им не удалось втянуть славян в круговорот общеевропейской жизни, в котором сами они в скором времени потонули. Они лишь растормошили лесной муравейник, который с этого времени начинает расползаться быстрее. Мирной колонизаторской работой он продвигается как на запад, к этому времени покинутый германцами, так и на восток, где мирные финские племена, населявшие среднюю Россию, не оказывали им, повидимому, серьезного сопротивления. Более сильный напор проявляют их враждебные налеты по направлению к Дунаю и за эту реку. Тот же историк Иордан, — сам уроженец Балканского полуострова — сокрушенно отмечает, что славяне, столь ничтожные и бессильные при Эрманирике, ныне, т. е. в VI вске, «по грехам нашим всюду свирепствуют».

Результатом этого движения на юг явилось заселение славянами всего Балканского полуострова; распространение же их на запад вызвало образование западного славянства. Но ни те, ни другие нас здесь не интересуют. Мы сосредоточим внимание исключительно на славянах восточных, — предках русского народа.

И они также значительно расширили свою территорию: они заняли к IX веку не только весь широко разветвленный бассейн верхнего и среднего Днепра, но, обогнув огромной дугой земли Литвы и балтийской Чуды, заселили верхнее течение Западной Двины и почти весь бассейн Оки. Вся центральная Россия в их руках. Славянским морем окружены некоторые уцелевшие финские острова — мурома на Клязьме, мера к северу от них, — и на восточных окраинах продолжается колонизационная борьба с прочими финнами: весью, черемисами, мордвой, мещерой.

Это длительное продвижение, эта упорная работа не могли не отразиться на хозяйственной и общекультурной жизни восточных славян. Но все же, повидимому, их общественно-политический уклад оставался по существу прежним: та же разрозненность, тот же примитивный родовой быт,

разлагаемый, впрочем, длительными перекочевками, — и тот же узкий горизонт, ограниченный родной пашней да близким лесом. Вдоль южной опушки в IV веке пронеслась гунская гроза, потрясшая Европу: лесного мира славян она не коснулась вовсе. Налетели турки-авары в VI веке, покорившие славян-дулебов на Волыни. Но и их власть была кратковременна и не оставила следов по себе, кроме предания, записанного летописцем: «погибоша аки обре, ихже нѣсть племени ни наслѣдка». Да она никогда и не распространялась на сколько-нибудь значительную часть восточного славянства. Данных о какой бы то ни было государственной организации среди восточных славян мы в этом периоде не имеем. Намек, находимый нами у арабского писателя Масуди (X. в.) на то, что такая организация существовала некогда на Волыни (в аварскую эпоху?) — неясен, да впрочем и он сам говорит, что этот союз скоро распался. Нет оснований не верить словам летописца, что славяне «живяху каждо съ своимъ родомъ и на своихъ мѣстѣхъ, владѣюще каждо родомъ своимъ». Он говорит здесь в частности о полянах на Днепре, но едва ли мы ошибемся, если распространим эту характеристику и на всех прочих восточных славян.

Нечто новое внесли хазары — тюркское племя, появляющееся в южнорусской степи около середины VII века из-за Дона. Центр их власти оставался на востоке: их столица — Итиль близ нын. Астрахани, их главный военный опорный пункт — крепость Саркел близ устьев Дона. Они не были похожи на прочих азиатских кочевников, в быстрой смене налетавших на южнорусскую степь; они очень скоро перешли к оседлости. Не прерывая сношений с лежавшим в их тылу арабским востоком, они развились в богатый и деятельный торговый народ, стараясь эксплуатировать в интересах торговли нетронутые или мало еще использованные богатства славянских лесов. Они успели подчинить себе и политически те славянские племена, которые примыкали к степной полосе: еще в IX веке вятичи, северяне и поляне платили дань хазарам. Но власть их не дожилась бременем на славян, а скорее

будила их активность, вызывая в них промышленные интересы и торговую предприимчивость. Славянскому товару — невольникам, мехам, меду и воску — открываются, с этого времени, черноморские и восточные рынки. Едва ли сами славяне лично принимали сколько-нибудь видное активное участие в этой торговле; намеки на это, находимые у арабских писателей, могут быть истолкованы различно. Если судить по общему облику этой эпохи и ближайшего за нею времени, славяне были скорее лишь поставщиками хазар, инициаторов и главных носителей этого движения. Но хазарские торговые щупальцы протягиваются все дальше в глубь лесов на запад и на север. В это движение втягиваются волжские болгары, оно поддерживается арабской предприимчивостью и притоком арабского серебра из-за Каспийского моря, приблизительно с начала VIII века, как о том свидетельствуют многочисленные находки т. наз. куфических, т. е. арабских, монет на всем пространстве северной и восточной России (см. ниже).

Однако, эта торговля не была сквозною, она упиралась в тупик, который она, извлекая из него товары, постепенно расширяла, но не пробивала. Широкий международный размах она получила лишь тогда, когда она в начале IX века столкнулась в центральной и северной России с встречной инициативой, шедшей из — Скандинавии. Этим брешь была пробита, круг сомкнулся — и с того времени широкий транзитный торговый путь пролегает через Россию, соединяя далекий север Европы с арабским востоком. Количество куфических монет, начиная со середины IX века быстро возрастает,*) они в значительных массах оседают теперь и в южных и средних частях Швеции, в особенности же на острове Готланде. Восточно-европейская равнина окончательно во-

*) Русские находки куфических монет до 1889 г. зарегистрированы у А. Маркова, Топография кладов восточных монет, 1910; дальнейшие находки см. в годичных отчетах Археологической Комиссии. Весь вопрос хорошо, но не исчерпывающе, разработан в прекрасной книге Т. I. Arne, La Suède et l'Orient, Uppsala 1914. стр. 62—85.

влечена в процесс мировой жизни, и по путям, по которым движутся торговые караваны, в нее вступает — Русь.

Остановимся здесь пока. Мы должны всмотреться в туманную даль, откуда она пришла.

II

ВИКИНГИ

Мы знаем, куда причалили варяжские ладьи, несшие к нашим берегам Рюрика с братьями и дружиной, — летопись называет Старую Ладогу на Волхове и Новгород, — но мы не знаем места их отчала: они приплывают к нам из густого тумана, покрывающего Балтийское море; фигуры их становятся отчетливыми и имя они приобретают лишь с момента вступления на русскую почву. Историческая память их далекой скандинавской родины не удержала их имен, не помнит их рода, не знает «Руси».

Этот прискорбный пробел был одним из поводов к «варягоборству», т. е. тому движению в русской исторической науке, которая вообще отрицала скандинавское происхождение основателей русского государства и вело их то с юга, от роксолан или готов, то с запада, от поморских славян или Литвы, то еще откуда. Но это простое недоразумение. Швеция и не могла помнить о бывшей связи с русским востоком, потому что у нее не было соответствующих органов народных воспоминаний, не было ни летописных, ни иных записей. Шведская историография начинается гораздо позже, — значительно позже даже русского летописания. Первые записи появляются здесь лишь в XIII веке, т. е. в такое время, когда воспоминания о событиях IX и X веков давным давно ушли за горизонт народного сознания. Непосредственная же память народная коротка: она обнимает в среднем лишь три поколения семьи и народа *), а за этим — воспоминания бледнеют

и в лучшем случае, т. е. когда дело идет о громком событии, глубоко поразившем душу современников или продолжающем сказываться в своих последствиях, оно переходит в область устного предания, где разукрашивается причудливыми узорами народной фантазии. В данном же случае дело обстояло иначе. Предприятие Рюрика было, как мы увидим, одним из многих однородных. Немало ходило в то время варягов и варяжских «князей» с дружинами на Россию. Временами это был сплошной, повторявшийся каждую весну поток, несший по руслу Западной Двины, Наровы и, главным образом, Волхова немало стволов из скандинавского народного леса. И вот, один из этих стволов застрял на Волхове у Старой Ладоги, зацепившись за что-то на берегу. Небольшой сам по себе, он все-же несколько задержал течение, около него скопилось много всякого щебня, который иначе пронесся бы мимо, и быстро образовалась запруда настолько значительная, что она вскоре заставила все течение принять иное направление.

Читатель простит мне это сравнение; оно, конечно, имеет ввиду не существо дела, а лишь внешнюю его сторону, но оно дает представление о том, что произошло в северной России около середины IX века и почему начало процесса, о котором идет речь, прошло никем из современников не замеченным. Результаты его, не только мировые, но даже местные, проявились лишь значительно позже. Вот почему значение исходного факта, — заурядного, как казалось — не могло быть оценено ни современниками, ни даже участниками событий, и не было повода к сложению хотя бы песни, которая донесла бы до нас память о нем на родине Рюрика. А имени «Руси» мы и подавно не должны искать в Скандинавии: его там никогда не было, оно возникло лишь на русской почве. Мы должны помнить раз на всегда, что шведская историческая традиция ничего для решения нашего вопроса не дает и в силу указанных обстоятельств дать не может.

Полный мрак и безмолвная тишина покрывали бы начало русской государственности, еслиб в середине XI века из ти-

*) См. «Беседа» № 1, стр. 272.

хой монашеской кельи Киево-печерской лавры не раздался голос летописца: «Се повесть временных лет, откуда есть пошла Русская земля...»

Здесь перед нами живое предание, сохранившее память о началах родной государственности гораздо более точно, по существу, чем обыкновенно принято думать. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, и напрасно к летописному рассказу часто относились с априорным недоверием. Мы имеем здесь дело с преданием дружинно-династическим, занесенным на юг и развитым именно дружинной средой; а когда оно было записано (до смерти Ярослава!), прошло меньше двухсот лет со времени начального факта и киевский престол занимал лишь третье поколение после Игоря Рюриковича.

Тем не менее, первые страницы Повести, посвященные приходу варягов и основанию русского государства, оставляют открытыми немало вопросов, вероятно именно потому, что они передают предание династии и дружины, которые сами обязаны своим существованием только факту «призвания» и потому не интересовались предшествующими судьбами предков.

Не стану вдаваться здесь в разбор вопросов, возникающих в связи с этим. Мне достаточно пока основного факта, который читатель, надеюсь, помнит. Время «варягоборства», к счастью, миновало, и никто уже не станет отрицать, что около половины IX века — по летописи в 859 г. — в северной России из-за моря варяжского явились варяги и стали взимать дань — иными словами грабить — в землях Чуди, ильменских славян, кривичей и других племен, населявших далекий север; что через некоторое время эти племена, собравшись с силами, прогнали варягов за море и «почаша сами в собѣ володѣти». Однако, так как «не бѣ в нихъ правды и вѣста родъ на родъ, и быша в нихъ усобицѣ и воевати почаша сами на ся», то они через несколько лет — по летописи в 862 г. — сами послали за море, за варягами, — быть может за теми самыми, которые недавно были у них незванными гостями: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нѣтъ...»

Сколько раз впоследствии на Руси вспоминали эти слова, надписанные над входом в русскую историю! Для многих они стали символом горестных дум о родной неурядице...

И пришли на зов три князя — летопись называет их братьями — «съ роды своими, и пояша по собѣ всю Русь», — ибо Русью именно звались эти варяги, «яко се дружини зовутся Свие (шведами), дружини же Урмане (норвежцами), Англыане, дружини Гѣте (готландцами), тако и си». Старший брат, Рюрик, срубил себе город на Волхове, там, где теперь Старая Ладога; второй, Синеус, засел на Беле-озере, в земле финской веси, а третий, Трувор, в Изборске, к югу от Пскова, в земле кривичей. А когда вскоре после этого — через два года, как утверждает летопись — два младших брата умерли, то их владения также отошли к Рюрику, который теперь — или уже раньше? — перешел на берега Ильменя-озера, в Новгород. Вот откуда «Русская земля стала есть»...

Таков рассказ летописи, — цельный и простой. Он подкупает правдивостью тона и трогательной скромностью, не знающей громких слов о подвигах предков, — чем, конечно, значительно подкрепляется наше доверие к нему.

Но, повторяю, я не стану вдаваться в его подробное рассмотрение. Читатель, вероятно, знаком с превосходным разбором варяжского вопроса в «Курсе русской истории» В. О. Ключевского, — а если не знаком, то пусть прочтет эти поистине блестящие страницы*). По ним он познакомится с своеобразными отношениями, слагавшимися на первых порах между пришлыми и призванными «князьями» и их дружинниками с одной стороны, и восточно-славянскими волостями, успевшими к этому времени образоваться вокруг крупных торговых центров (городов) — с другой.

Мне хотелось бы подойти здесь к тому же вопросу с иной стороны, — со стороны Скандинавии, и познакомить читателя с материалами менее известными, но ценными для освещения

*) См. новое издание «Курса», выпущенное Государственным издательством в Москве в 1923 г., том I, стр. 154—202.

обстоятельств, при которых и благодаря которым возникла русская государственность.

Прежде всего — несколько слов об общей рамке, в которой происходят интересующие нас события.

Я уже говорил о том, что приход Юрика и его братьев был не единичным явлением, а одним из многих однородных. Ниже мы познакомимся с фактами, доказывающими, что наряду с ними в Россию приходило немало и других варяжских «князей». Но и эти факты по своей отрывочности не ожидали бы картины, если-б не то обстоятельство, что предприимчивая отвага этих заморских разбойников направлялась не на один только русский восток, но и на запад и на юг Европы. А здесь они попадали не в немую глушь лесов и болот, в которой шум их подвигов терялся, не находя отклика в записях современников и очевидцев, а в говорливую среду, жившую сознательной общественностью, где всякое нарушение нормального течения жизни вызывало общее внимание и не только поднимало государственную власть на защиту мирных жителей от дерзких набегов, но приводило в движение и бойкие перья бытописателей при дворах и монастырях. Хроники и анналы Англии, Германии, Франции, Испании и Италии пестрят рассказами об ужасах этих «норманских» набегов. Разбойничье гнездо на далеком скандинавском севере ежегодно высылало все новые и новые стаи крылатых лодок, налетавших по течением рек далеко вглубь страны. Земля застилалась дымом от разоренных и сожженных ими городов и монастырей, стон стоял по всей стране от грабежей, насилий и убийств. И именно IX век, давший начало русскому государству, обозначает и здесь, на западе, эпоху наивысшего напряжения этого движения. Всех больше пострадала Англия (Лондон несколько раз брался и разорялся норманнами) и Ирландия, почти сплошь покоренная норманнами уже в первой половине IX века. Эти две страны в вековой борьбе с трудом отстояли свою национальную самобытность, приняв в себя и ассимилировав значительное количество скандинавских вы-

ходцев, осевших среди их туземного населения. Немало пострадали, однако, и материковые государства. В Германии, напр., норманнами были разорены Гамбург (845 г.), Кельн, Бонн, Аахен (882 г.), Кобленц, Трир; во Франции Руан (841 г.), Тулуза, Реймс (882 г.), Тур, Орлеан, Бордо. Париж дважды (845 и 885 г.) осаждался ими, но оба раза его отстояли храбрые защитники. В Испании разорены Севилья (844 г.) и другие города, в Италии Луна (близ Каррары), Пиза. Это лишь небольшой перечень, далеко не исчерпывающий даже важнейших фактов в длинной цепи норманских набегов. Современники этих событий понимали их, как страшный бич божий, поднятый над христианским миром за грехи человеческие. Нередко пираты зимовали в занятых ими местах, оставались там даже на несколько лет, грабя и взимая дань с окрестных жителей; наконец, вызвав из родины своих жен и детей, подкрепленные притоком родичей, они, бывало, окончательно оседали на новых местах. Они вступали в соглашение с местными государями, которые принимали их к себе на службу, поручая им охрану области от их же земляков и нередко уступая им в лен часть своих владений, где пришельцы устраивались уже навсегда, на законных основаниях, и быстро растворялись в туземном населении. Так бывало неоднократно. Наиболее известный пример этого явления — возникновение герцогства Нормандии: франкский король Карл уступил в 911 г. норманскому (датскому или норвежскому) «князю» Рольфу (франц. Роллону) область по нижнему течению Сены, находившуюся во фактическом владении норманнов уже с 899 г. Отсюда в XI веке офранцузенными потомками этих норманнов была завоевана Англия и основано норманское герцогство в южной Италии и Сицилии.

Все эти факты не касаются нашей темы непосредственно, но они представляют полную аналогию тому, что в это же время, при иных условиях места и бытовой обстановки, происходило на востоке, в северной России: те-же грабительские налеты, те-же зимовки со «взиманием дани», наконец, те-же окончательное оседание на новых местах, соглашение с мест-

ными властями и поступление к ним на службу в качестве «защитников земли» — *landvagnmenn*, как называли таких людей в Скандинавии. Вся разница в том, что там, на западе, эти «защитники» заставляли уже вполне определившуюся государственную власть, организационно более сильную, чем они, вследствие чего они поневоле приспосабливались к ней и всюду скоро растворялись в плотно сложившейся общественности; тогда как здесь, на востоке, они наталкивались на политически еще бесформенную и раздробленную среду, ощущавшую потребность в сплочении, но не умевшую или не успевшую организовать: вот почему эти пришельцы, сильные своей военной организацией, стали центром политической кристаллизации и, быстро превратившись из наемных защитников в руководящих властителей — впрочем, далеко не неограниченных, — наложили свою печать на первичную форму русской государственности. Процесс по существу здесь и там один и тот же, и все вместе взятое складывается в ясно очерченную, цельную по своим мотивам картину «эпохи викингов».

Здесь не место входить в рассмотрение причин и характера этого яркого явления. Оно коренится глубоко в скандинавской старине и до известной степени должно быть понимаемо как запоздалое проявление тех-же импульсов, которые за несколько веков до этого вызвали на европейском материке так наз. великое переселение народов. Достаточно указать, что в ту эпоху, о которой идет речь, слово викинг означает воина, который проявляет свою храбрость и удачу в морских предприятиях, т. е. морского пирата. Занятие этим делом отнюдь не считалось делом постыдным: оно не подлежало наказанию, а разве только мщению со стороны потерпевшего, который ведь и сам при случае занимался тем-же. Приведенные факты доказывают, что такие грабительские набеги предпринимались иногда в очень значительных размерах соединенными силами многих викингов: предводители таких морских дружин назывались «морскими царями» (*saekonungar*). Более того, в IX—X веках сами скандинавские государства представляли своего рода разбойничьи организации.

предпринимавшие такие заморские грабежи в государственном масштабе, во главе с самим королем или членом его семьи. Доход — добыча с этих набегов — входил желанным пополнением в бюджет участников, всегда скудный при неумелом использовании богатств родной страны. Удача в разбойном деле окружала героя славой и уважением, воспевалась в песнях, отмечалась впоследствии в надгробных надписях (см. ниже), и само название викинга получило более общий и почетный смысл смельчака-героя. В таком именно значении оно перешло и к славянам: в устах славян (поморских), заимствовавших это слово у пришлых скандинавов, викинг превратился в «витязя». И вот, такими-то «витязями» были и Рюрик с братьями. Принятие их на службу к северно-русским волостям в качестве «*landvagnmenn*» — защитников-охранителей земли, преломилось в дружинно-династическом предании в виде «призвания из-за моря».

III

РУСЬ И ВАРЯГИ

В то время, как датчане и норвежцы направляли свою грабительскую энергию главным образом на запад и юг, в Россию ходили преимущественно, хотя и не исключительно, шведы, которых мы до XI века почти никогда не встречаем на западе. Это объясняется, конечно, прежде всего географическим положением их страны: Дания и Норвегия ориентированы на запад, Швеция же обращена фронтом на восток. Многочисленные археологические находки доказывают, что уже в младшем каменном веке, а еще более в бронзовом и раннем железном веках существовало оживленное торговое общение между средней Швецией и берегами финского залива, особенно южным побережьем нынешней Финляндии, шведское население которого, по мнению многих ученых, находится здесь уже с очень древних времен. В бассейне Балтийского моря и в частности Финского залива эпоха викингов только продолжала дело, начатое предшествующими веками: она дала ему лишь

иной размах, продвинула его дальше вглубь страны. А это — факт весьма существенный для нас: им объясняется иной характер, присущий этим шведским предприятиям в отличие от норманских на западе. В Россию приходили не одни викинги-грабители, а ходили, главным образом, мирные купцы, — конечно, всегда вооруженные. Они-то именно и установили те торговые связи — через хазар и арабов — с востоком, о которых была речь выше на стр. 305.

Впрочем, торговля и грабеж часто шли рука об руку. У нас имеется несколько свидетельств, ярко обрисовывающих это своеобразное сочетание.

Так, в исландской саге об Эгиле, сыне Скалагрима, — памятке начала XIII века, но передающем очень точно, на основании семейных традиций, события IX—X веков, рассказывается об одном таком предприятии, относящемся к 916 году, т. е. к первым годам княжения Игоря:

«Торольф (брат главного героя) и Эгиль снарядили весной большой корабль, набрали мужей и поехали летом на восток (т. е. в Россию) и грабили там и добыли большое количество добра и имели много сражений (т. е. стычек с туземцами). Поехали они (между прочим) и в Курляндию и высадились там на берег, заключив (с местными жителями) мир на полмесяца для производства торговли; а когда этот срок истек, то они начали грабить и нападать в разных местах» *).

В саге о св. Олафе (*Olafssaga helga* в редакции Снорри, гл. 133) имеется любопытный эпизод о том, как два норвежца, Карли и Гунстейн, по поручению самого короля Олафа отправились в 1025 г. (значит в княжение Ярослава) с торговой целью в Биармию (*Vjatmaland*), в северо-восточную Россию, ныне Архангельскую губернию. К ним присоединился еще третий знатный норвежец, Торир, по прозвищу Собака. У них было два больших корабля, на одном 25, на другом 80 чел. экипажа. Об'ехав с севера скандинавский полуостров, они

*) *Egilssaga Skallagrimssonar* (ed. F. Jónsson, 1894), гл. 46, стр. 130.

проехали Белым морем к устью Сев. Двины и по течению этой реки вглубь страны. «Когда они прибыли в Бьярмаланд, они бросили якорь у одного торгового места, где как раз шла ярмарка. Денег у них было много, и потому они накупили изрядно товару. Торир купил беличьего меха, а также бобров и соболей. У Карли также было немало денег, на которые он купил много мехов. Когда ярмарка окончилась, то они поплыли вниз по реке к морю и объявили, что миру с местными жителями теперь конец». Выхав в море, они стали совещаться и Торир спросил товарищей, согласны ли они отправиться вместе с ним на грабеж, в известное ему место в лесу; предприятие будет не безопасное, но обещает богатую добычу. Все заявили, что согласны, лишь бы была хорошая нажива. И вот они отправились в путь, проехали опять вверх по реке, а оттуда пошли в сторону, в глухой лес, где находилось святилище главного божества биармийцев Йомали. Следует рассказ о том, как норвежцы разграбили этот храм, но, возвращаясь с богатой добычей к кораблям, едва спаслись от преследования со стороны туземцев *).

Надо полагать, однако, что такое сочетание купца с грабителем было не общим правилом, иначе было бы непонятно то широкое развитие торговли, которое обрисовывается монетными и иными находками: оно стало возможным лишь при длительном мирном общении пришлых купцов с туземцами. Одно движение шло параллельно с другим, иногда скрещивалось и сплеталось с ним, и торговое в общем предшествовало разбойному. Древнейшие куфические монеты, занесенные этой торговлей в Швецию, относятся — по времени своего чекана — еще к концу VII века, в более значительном количестве — к началу и середине VIII-го. Если считать — как это общепринято, — что монета попадает в землю, как случайно потерянная или в составе нарочито зарытого клада, в среднем в течение ближайших 50 лет после чекана, то мы вправе отнести начало этих торговых сношений к середине VIII века

*) *Heimskringla*, ed. F. Jónsson, т. II, стр. 292 и сл.

или к концу его. Эта догадка поддерживается и другими соображениями, в рассмотрение которых мы здесь входить не можем. Первое же *грабительское* нападение на территорию позднейшей России, о котором мы имеем вполне достоверные сведения, относится к первой половине IX века и привело к временному покорению Курляндии и Эстляндии. Весьма возможно и по некоторым данным даже вероятно, что ему предшествовали другие предприятия, менее значительные, но едва-ли они восходят ко времени до начала IX века.

Притом они все относятся лишь к Курляндии и Эстляндии. О собственно славянских землях в древнейших источниках вовсе нет речи. Из совокупности фактов дело представляется так, что неприютные леса и болота северной России стали привлекать заморских пиратов лишь с того времени, как торговля вскрыла их богатства*). Вероятно, что задолго до «призвания князей», т. е. до начала воздействия скандинавов на политический быт северной России, в городах, возникших по путям хазарской торговли, вращалось уже немало варяжского торгового люда, и это их присутствие подготовило и облегчило дальнейшее развитие. Характерно, что народный русский язык удержал слово «варяг», которое возникло, правда, несколько позже, в значении торговца, разносчика, и образовал от него глагол «варяжить» — торговать, тогда как, в противоположность к этому, у поморских славян викинг превратился в «витязя».

Смелый и предприимчивый купец проложил дорогу, по которой затем прошел воин, — явление хорошо нам знакомое: вся позднейшая колониальная политика европейских держав основана на нем. Идея такой политики по отношению к Рос-

*)Кстати напомним, что грабительский поход гаутского (т. е. южно-шведского) короля Гигелака в начале VI века, описанный англо-саксонской поэмой о Беовульфе и упоминаемый франкскими анналами, направлен был к устью Рейна, т. е. туда же, куда устремлялись и датские и норвежские викинги, а не на близкую Россию, — именно потому, что она еще не успела привлечь внимание грабителей своими богатствами.

сии блеснула, кажется, и в умах государственных мужей Швеции в первой половине IX века. Намек на это я склонен видеть в походах, о которых упомянуто выше, и в тех словах, которыми попрекают шведского короля Олафа Толстого (тестя Ярослава) его же подданные на общенародном вече в 1018 году (Heimskringla II, 143). Но до осуществления ее дело не дошло: славянская стихия поглотила первых пионеров — как купцов, так и воинов — использовав их силы на свой лад. Первоначальная ячейка русского государства не есть колония шведов, и русская государственность возникла не как отпрыск шведской, а создалась она самостоятельно, выросла из самодовлеющих местных потребностей и интересов, к которым приобщились и которым стали служить и заморские гости, временно, но весьма не на долго сохраняя свою национальность.

Ходили они, эти гости, уже в первой половине IX века, по всей европейской России, доходя до Черного моря и за него. Здесь знают их уже как «Русь», не купцов, а викингов, жития св. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. Если с этими двумя рассказами *) и связаны еще некоторые неясности, то вполне отчетливо и неоспоримо свидетельствуют о том же так назыв. Бертинские анналы (Annales Bertiniani), повествующие едва-ли не со слов очевидца о том, как весной 839 года к императору Людовику Благочестивому (сыну Карла Великого), в то время пребывавшему в своем любимом дворце в Ингельгейме**), явилось посольство от византийского императора Феофила с письмом и богатыми дарами, а в свите этих послов несколько странных каких-то людей, дотоле невиданных. Они

*)По первому из них, Русь (до 842 г.!) опустошив южное побережье Черного моря, напала на Амастриду; по второму, Русь, предводительствуемая князем Бравлином, взяла Сурож (Судак в Крыму) после десятидневного боя, в начале IX века.

**) Ныне местечко Nieder-Ingelheim на солнечном склоне левого берега Рейна, верстах в 15-ти на запад от Майнца, по дороге в Бинген. Обширные раскопки, произведенные здесь, выяснили весь план дворцового сооружения.

были посланы своим царем по имени (или прозвищу) Ха кан (tex illogum, Chasanus vocabulo) в Византию «дружбы ради», но не могли вернуться оттуда на родину кратчайшим путем, по которому они пришли в Константинополь, потому что путь этот преграждался теперь «варварскими племенами чрезвычайной дикости». И вот греческий император прислал их с своими послами на запад и ныне просит Людовика разрешить им проезд через его владения, чтобы им добраться домой кружным путем. Личность их и самая просьба возбудили подозрение, вероятно потому, что эти неизвестные люди видом своим напоминали норманнов, злейших в то время врагов франкского государства: не лазутчики ли они, замышляющие недоброе? Их стали расспрашивать, кто они, да откуда, и оказалось, что они принадлежат к народу Русь (Rhos) и что они родом свеоны, т. е. шведы. Такой ответ еще усилил подозрения, и Людовик решил удержать их у себя до полного выяснения дела, о чем он известил Феофила через тех же послов: если окажется, что они говорят правду, то он даст им пропуск и поможет пробраться во-свояси, — если же нет, то он вернет их в Византию, дабы Феофил сам решил, как с ними быть дальше.

Помимо значения, которое это известие имеет в цепи доказательств шведского происхождения Руси, отметим исторический момент: в Ингельгейме 18-го мая 839 г. Русь впервые представилась западу, — правда, Русь еще сознающая себя скандинавской, но та самая, которая дала имя великому славянскому государству, заложив первые камни в его основу; и представилась она под тем самым русско-скандинавским именем, которое впоследствии получило такое гордое и громкое значение в мире...

Часть стен того тронного зала, в котором происходила эта знаменательная сцена, еще теперь высится над скромными домами нынешнего немецкого села, мирно греющегося среди своих виноградников под ласковым рейнским солнцем...

К сожалению, мы не знаем, что случилось с этими первыми «русскими заграницей», удалось ли им в конце концов про-

браться домой через германские земли; не знаем, долго ли продержал их у себя Людовик. В IX веке в распоряжении правительств не было еще того справочного аппарата, который в наше время дает возможность выяснять подобные вопросы в несколько часов или дней. Весьма вероятно, что русским послам пришлось просидеть в Ингельгейме не одну неделю, — в какомнибудь боковом флигеле дворца, под зоркими взглядами приставленных к ним людей. Если бы мы могли хоть на часок подсесть к ним, слушающим в чужой обстановке по далекой родине, и расспросить их об этой родине, да о их князе по прозвищу «Хакан» — сколько вопросов, о которых мы теперь спорим годами, могли бы мы решить в несколько минут, сколько сберегли бы бумаги и чернил, — и насколько ярче и интереснее стал бы наш рассказ...

Но так как это — увы! — невозможно, то нам приходится искать иных путей, чтобы осмыслить и понять этот маленький эпизод, так неожиданно и ярко всплывающий перед нами из темной глубины веков, и мы должны признать, что он ставит ряд вопросов, на которые мы можем ответить лишь догадками, более или менее вероятными.

Важнейший пункт всего рассказа, на мой взгляд, тот, что русские послы называют своего князя «Хаканом», т. е. титулом, которым обозначался верховный властитель хазар. Отсюда проливается свет в двух направлениях. Во-первых, мы видим Русь в сфере хазарского влияния, — она уже вовлечена в то торговое движение, о котором была речь выше на стр. 304. У нас нет никаких оснований полагать, что они были подданными хазарского хакана. Последний едва ли послал бы в Константинополь чужих людей в качестве послов. Да к тому же прямо говорится, что и х князь назывался Хаканом. Ничего странного в этом нет. Повидимому, такое наименование было обычным. Любопытный документ 871 г. (письмо Людовика II византийскому императору Василию I) доказывает, что в это время, во всяком случае в Византии, привыкли обозначать этим титулом государей не только хазар, но и «аваров и норманнов», т. е. именно Руси. Вспомним также, что

еще в XI веке в некоторых памятниках древне-русской письменности «каганами» величаются Владимир Святой и Ярослав. Нет никаких оснований полагать, что это наименование перенято из Византии, смешивавшей якобы Русь с хазарами. Арабский писатель начала X века Ибн-Даста (вернее Ибн-Рустах) также знает (в северной или средней России) русского князя, которого он называет «русским каганом» (Khāṣṣ al-Rūs). Это — одно из интереснейших проявлений хазарского влияния. Видимо, княжеская власть окрепла среди осевших в России скандинавов и приняла в новой обстановке иные формы, чем в Скандинавии, именно под влиянием хазар, с которыми Русь находилась в постоянных сношениях, и вместе с формами власти Русь перенимала от них и титул. Не менее важна другая сторона дела. Послы называли себя сперва Русью (Rhos), и лишь потом, когда это непонятное имя вызвало некоторое недоумение и начались более настойчивые расспросы, оказалось, что они родом шведы. Но народа «Русь» в Швеции никогда не было, так могли называть себя только шведы, уже живущие среди славян и финнов (см. ниже). Вывод из этих двух соображений, по моему, ясен перед нами: послы «русского» князя не из Швеции, а из России; и не в Скандинавию хотят пробраться послы через земли германского императора, а именно в Россию, — хотя бы кружным путем через Швецию.

Но мы можем, кажется, пойти еще дальше в своих догадках. Что значит, что послы прибыли в Константинополь «ради дружбы»? Великий днепровский путь из варяг в греки в то время еще не был открыт. Торговое движение средней и северной России обходило низовья Днепра, направляясь на восток, главным образом по Волге. Надо полагать, что и эти послы прибыли в Византию не с Днепра: там «Руси» до Аскольда и Дира, т. е. до 60-х годов IX века не было, поляне платили дань хазарам. Но про богатую Византию Русь, хотя бы и не днепровская еще, знала, как знали про нее хазары. И в посольстве 839 г. мы должны, быть может, усмотреть первую попытку Руси завязать сношения непосредственно с нею. Подчеркнем и тут важный для нас факт: Русь является

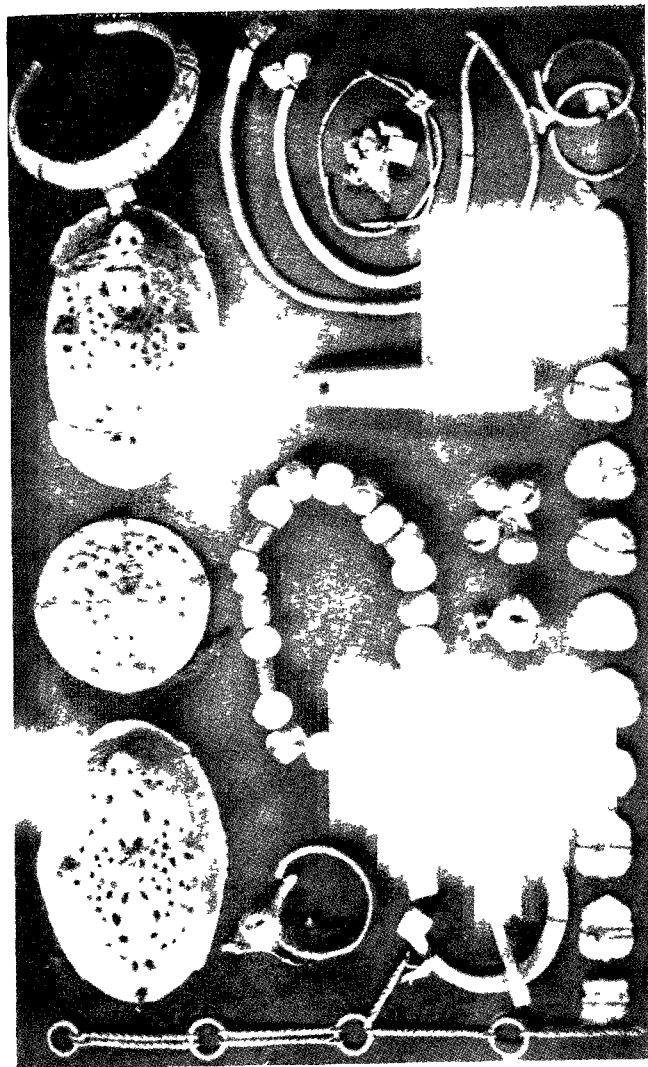


Рис. 1. Типичные скандинавские предметы из могилы близ Кириллина
(по фот. Архе).

здесь представительницей торговых интересов, носительницей торговой инициативы. Русь, как я выразился выше, движется по путям торговых караванов; если верна наша догадка, то мы можем утверждать, что она и сама проявляет инициативу, чтобы проложить им и новые пути. Хазары давно торговали с Византией; по их стопам хотела пройти и Русь.

Но откуда же она в конце концов, — не эта Русь только, а Русь вообще? Мы не можем обойти этого вопроса молчанием; слишком много о нем писалось в течение последних полутора столетий, и слишком разнообразны и противоречивы мнения, которые по этому поводу высказывались. По правде сказать, о редком вопросе написано так много лишнего и — несладкого, хотя верный и единственно возможный ответ в основных чертах, по моему, давным давно найден и остается только развить и углубить его.

Однако, как ни важен вопрос, подробный разбор его не может входить в программу настоящей статьи: пришлось бы уделить ему слишком много места и ввести читателя в такие дебри филологических и историко-критических рассуждений, в которых затерялась бы моя ближайшая тема. Поэтому я ограничусь кратким изложением тех результатов, к которым меня привела моя собственная многолетняя работа в этой области *).

Сущность вопроса в том, откуда взялось имя «Русь», что оно первоначально означало, и каково его отношение к слову и понятию «варяга». Как известно, наша летопись то отождествляет их, то противопоставляет Русь варягам.

Имя Руси не может быть объяснено удовлетворительно ни из русского или вообще славянского языка, ни из финского, ни из шведского, ни, наконец, из какого либо иного из известных нам языков. Оно могло возникнуть только как бы на перекрестке, в точке скрещения двух или трех языков. Так

*) Доказательства тех или иных из моих положений, которые могут показаться новыми, я надеюсь в близком будущем изложить в другом месте.

оно и было: название Руси возникло в той полосе северной России, где сходились славяне с финнами, вероятнее всего в области Волхова и озера Ильменя: Старая Ладога на среднем Волхове была финским поселением, близкий к ней Новгород — славянским. И возникло это название тогда, когда в этом славяно-финском захолустье стали появляться и оседать первые заморские гости — шведские купцы. Прибрежным финнам они были, несомненно, знакомы давно (см. выше стр. 313, 316); во всяком случае, финны дали им и название (*Rötsi*, *Rot's*), точнее — не им, а той стране, откуда они пришли. Еще поныне финны называют Швецию — *Ruotsi*. Это ничто иное, как переделанное на финский лад имя ближайшей к Финляндии шведской области, которая в средние века еще не входила, как ныне, в состав провинции Упланд, а имело свою особую политико-административную организацию и называлась *Rother* (*th* = англ. *th*), *Rothin*, а более официально *Roth(r)sländ*: недавно (1913 г.) это имя было прочтено и в рунической надписи на знаменитом мраморном льве, ныне стоящем перед Арсеналом в Венеции *).

Береговая часть этой некогда более обширной и самостоятельной области еще теперь называется *Roslagen*: это — узкая прибрежная полоса и шхеры к северу от Стокгольма. Жители же ее звались — да они и сами называли себя — «*rothskarlar*» или *rothsmen* т. е. «людьми из *Roth'a*», *roth'цами*, как у нас есть свои пермяки, ярославцы — все те же русские. Много соображений говорит в пользу того, что именно отсюда вышли первые торговцы, завязавшие сношения с финнами на берегах финского залива, и нет ничего удивительного в том, что эти финны, узнав от них их имя и название их страны, и переделав его на свой лад в *Ruotsi* (страна) и *Ruotsalaiset* (ее жители), обобщили затем эти названия, когда у них стали по-

*) Надпись эта высечена какими-то шведами родом именно из этой провинции, служившими в лейб-гвардии византийского императора, т. е. в корпусе варангов около середины XI века, когда лев стоял еще в афинском Пирее. Отсюда он был вывезен в Венецию в 1687 году.

являться и другие шведы, не из *Roslagen'a*, но говорившие тем же языком. Ведь и французы называли Германию и немцев *Allemagne* и *allemands*, т. е. именем того немецкого племени (алеманнов), с которыми они больше всего приходили в соприкосновение.

Когда в конце VIII или начале IX века осмелевшие шведы стали проникать через финскую массу к славянам, то эти последние переняли их имя от соседей уже в финской форме *Ruotsi*, приспособив его, в свою очередь, к родной славянской речи. И вот таким то образом из *Ruotsi* получилась «Русь», совершенно так же, как финское *Suomi* (название Финляндии в узком смысле) было перенято славянами в форме Сумь и превратилось у них в название финляндцев.

Я несколько не сомневаюсь в том, что первоначально во всей России этим именем назывались все скандинавы, приходившие сюда в качестве купцов или викингов. На это с полной ясностью указывают как упоминание Руси на южном побережье Черного моря в начале IX века, так и *Rhos* в посольстве 839 г. (см. выше стр. 317), так наконец и смысл, в котором употребляется это слово у арабских писателей, в частности у Ибн-Хордадбега (конца IX века) и Ибн-Рустак (начала X века).

Уверен я и в том, что сами пришельцы рано стали называть себя этим именем, понимая его уже в новом славяно-финском смысле, подобно тому, как напр. немецкие колонисты в Семиградии под Карпатами называют себя «саксами», только потому, что окружающие их со всех сторон мадьяры называют их так по имени первых пришельцев: по происхождению своему, главная масса колонистов ничего общего с племенем саксов не имеет. Все пришлые шведы стали называть себя *roth'цами* — Русью.

Однако, дальнейшее торговое и политическое развитие восточно-европейской равнины рано с'узило такое широкое применение термина. Значительная часть этой «Руси» уже не возвращалась домой в Швецию, а оседала в новых местах навсегда, — чаще всего, вероятно, по соображениям торговым, в

славянских городах и в своих особых поселениях, иногда, быть может, по воле викинга-завоевателя (см. ниже). Сознавая пока еще свою связь с Швецией, эти переселенцы все же считали себя дома уже здесь, в России, не там, и очень скоро, конечно, начинали сливаться с окружавшей их славяно-финской средой. Иначе говоря, рано должно было сказаться отличие этой Руси, оседлой среди славян, от той «Руси», которая непрерывно притекала из-за моря, но возвращалась туда по окончании своих торговых или разбойных дел. Едва заметная вначале межа, отделявшая одних от других, быстро расширялась и углублялась, как в обиходе жизни — в языке и нравах —, так и в сознании общества. И этот процесс дифференциации был ускорен и закреплен, когда Русь местная, оседлая, объединилась политически под властью новгородского князя: по летописи это произошло уже в 864 г., после смерти Синеуса и Трувора (см. выше стр. 309). Возможно и даже вероятно, что за пределами этого нового «княжества», ставшего ядром русского государства, оставались или вновь возникали еще другие мелкие «русские» князьки, присоединенные лишь впоследствии Олегом, Игорем, Владимиром, как напр. Рогволод в Полоцке. Но во всяком случае здесь, в новгородской области, Русь впервые сплотилась, организовалась в самодовлеющее политическое целое, и за этим то целым укрепилось название Руси по имени господствующего в нем класса во главе с князем: «и от тѣхъ прозвася Руская земля, новугородьци, ти суть людье новогородьци отъ рода варяжска, преже бо бѣша словѣни». К этому привела политическая, не этническая эволюция, совершенно также, как Франция (точнее, сначала ее политическое ядро *Isle de France*) получила свое название от завоевателей — германских франков. И когда эта Русь, организовавшись, расширяет свою программу и, перенесши центр политической жизни из Новгорода на средний Днепр, овладевает великим путем «в греки» и тем открывает перед юным государством новые, мировые перспективы, она во всех своих предприятиях, определивших дальнейшие судьбы России, выступает как политическая, твердо сорганизовавшаяся

власть. Это уже не прежняя «Русь», чисто скандинавская; ее больше нет; это — Русь дружинно-княжеская, сплотившаяся вокруг новгородского князя, а за нею организованная ею славянская масса, которую она увлекает за собой на путь широкого политического развития и с которой сама быстро сливается; и очень рано имя «Руси» из термина этнического превращается в термин политический.

Но в процессе этой организационной работы вновь возникающая власть вынуждена была определить и нормировать свои отношения к составным элементам той среды, в которой она создавалась. Вопрос о том, как сложились ее отношения к туземному славянскому населению, не входит в программу моей статьи: он сводится к вопросу об эволюции русской государственности, которая дает чрезвычайно интересную картину взаимодействия двух этнических начал, при чем перевес далеко не всегда оставался на стороне пришлого «русского» элемента. Наоборот, перед нами скорее процесс постепенного приспособления его к туземному, подчинения его местным интересам, поглощения его славянской стихией (см. выше стр. 317). Повторилось то же, что в области языка: как там чужое шведское *Rothin*, *Rothsland*, финское *Ruotsi* превратилось в славянское «Русь», так здесь заморские гости превратились в свою Русь, настолько близкую и родную, что ее имя уже в X веке стало общенациональным, объединившим и примирившим туземных славян с пришлыми, еще недавно чужими скандинавами.

Но наряду с туземцами, народившейся власти пришлось определить свое отношение еще и к другому, существенно важному элементу местной жизни, — к тем шведам, которые в IX и X веках продолжали наезжать из заморской родины. Деятельность их на месте была важна для экономического процветания страны, потому что они ведь были главными контрагентами торгово-промышленных сил ее. Повидимому, новой «русской» власти рано удалось справиться с грабительскими проявлениями шведской инициативы; во всяком случае, мы уже не находим никаких следов какой-либо борьбы

с заморскими викингами. Если она и была, то она относится ко времени до окончательной консолидации новгородского княжества, и князья честно выполнили ту задачу, ради которой они были «призваны», т. е. наняты на службу славянскими волостями. С момента этого «призвания» сношение с заморскими гостями протекает, видимо, исключительно в формах мирной торговли, выгодной для обеих сторон. Не подлежит сомнению, что и в X веке еще бывали случаи, когда отдельные шведы или группы их застревали в России навсегда: они сливались с местной, родственной им «Русью» и разделяли в дальнейшем ее судьбу. Но масса их все же лишь «гости», возвращающиеся домой по окончании своих дел: это те самые торговцы, которые с конца IX века и в течение всего X века занесли в Швецию такую массу арабского серебра*). Подчеркнем: они, эти гости, не случайное явление, а постоянное, нормальное, ежегодно повторяющееся и необходимое в интересах хозяйственной жизни страны. Новая власть должна была определить свое отношение к ним и, сдерживая их порывы в сторону грабежа, все же обеспечить их безопасность, привлечь их известными привилегиями во имя возможно большего сбыта местных товаров.

И вот, по этой то линии политико-экономического развития русского княжества возникло понятие и термин «варяга».

Никто, кажется, уже не возражает против того, что слово варяг скандинавского происхождения; оно — правильное, по законам славянского языка, отражение древнешведского *vaeringi*, которое в свою очередь — слово производное, точнее, сложное с им. сущ. *vár*. Но совершенно неверно обычное у нас толкование «варяга» как пришлого воина, поступившего на службу к русскому князю и присягнувшему ему в верности. Неправильно оно уже потому, что главная масса варягов состояла не из воинов, а из купцов. Словом *vár* никогда, ни в шведском, ни в других германских языках не означалась присяга, а тем более воинская присяга; слово это

*) До настоящего времени в Швеции найдено свыше 40 000 куфических монет.

значит только «верность, обещание обоюдной верности, напр. между супругами, дружеский уговор или договор помогать, не вредить друг другу». Иначе говоря, слово «варяг» обозначает просто привилегированного иностранца, — все равно, купец ли он, или воин — стоящего под особым покровительством или защитой русского закона*). Действительно, мы знаем из Русской Правды (XI. в.), что честь и безопасность варяга ограждалась высшей вирой наравне с княжеским дружинником. А так как этим привилегированным положением в древнейшей России пользовались именно скандинавы*), и в частности шведы, как «свои люди», ближайшие родичи господствующего класса, говорившие на одном с ним языке и веровавшие в тех же богов, то очень рано слово «варяг» стало здесь обозначением шведов вообще, т. е. превратилось в название шведского народа. Вот почему и Балтийское море стало называться Варяжским. Еще в XVII веке повествование об осаде Тихвинского монастыря шведами называет их варягами. В этом именно значении слово «варяг» из России перешло в X веке к арабами (*varank*) и грекам (*várangoi*, их страна *Varangia*).

Отметим в этом развитии термина еще два важных для нас пункта.

Он возник сравнительно поздно, т. е. после консолидации первого «русского» княжества, так как он по своему

*) Воина, присягнувшего князю, скандинавы называли другим словом *handgenginn* «поступивший под руку, под власть кого-либо». Слово это, к сожалению не перешедшее в славянский язык, — подобного же образования (*vaeringi* произошло из *várgegi*), но по значению до известной степени противоположно ему; во всяком случае оно обозначает другое правовое отношение.

*) Впрочем, в нашей летописи под 862 г. к варягам причисляются и англйяне, наравне с шведами, норманнами и готландцами (см. выше стр. 309). Это едва ли случайная ошибка летописца. Возможно, что в Россию в это время заходили и английские купцы и что и они также были «варягами» в вышеуказанном смысле. Вспомним, что Владимир Мономах был женат на английской принцессе.

дословному значению предполагает уже наличие в России такой политической организации, которая принимает заморских родичей известным образом и ставит их под особую защиту местных законов. Далее, слово «варяг» такое же специфически русское, как слово «Русь». Если исходное обозначение для обозначения тех же отношений и встречается в англосаксонском и лангобардском языках (*waergenga*, *waergang*), то все же форма, давшая славянск. «варяг», употребляется вне России только как заимствование именно отсюда, — не только у арабов и греков, но и в самой Скандинавии: древнескандинавские языки не знают его вовсе как имя нарицательное, а пользуются им исключительно для обозначения вивантийских варангов, а в одной поздней исландской саге (о Тидреке, серед. XIII в.) — в значении скандинавов, как у нас на Руси. Прямое заимствование здесь совершенно ясно.

Мы можем теперь подвести некоторые итоги.

Русь и варяги — два аспекта одного и того же явления. Некоторыми своими сторонами они совпадают: и те и другие — шведы, в IX—X веках они говорят одним и тем же языком и сознают свое родство. Но они представляют два хронологически различных терминологических слоя, которым соответствуют два наслоения этнических. Русь — представительница первого из них; это так сказ. шведы первого призыва, осевшие среди славян и финнов, организовавшие (частью) и чувствующие себя здесь дома. А варяги — представители второго: они приходят и уходят, они дома в Швеции; в России они остаются чужими.

Всем этим определяется и отношение нашей Летописи к Руси с одной стороны, к варягам с другой. Оно особенно интересно, так как летописец передает, в общем, не дружинно-княжеский, а земский взгляд на дело. Исходя из соображений, изложенных выше, мы без труда могли бы разобраться в кажущихся противоречиях и неясностях летописного рассказа. Надо лишь помнить, что в перспективе летописи, в ретроспективном освещении прошлого, линии сдвигались и

скреплялись иначе, чем в действительности. Русь — те же варяги, но вместе с тем нечто иное. Русь — это нечто свое, родное, нечто такое, что давно освящено и узаконено «призванием». А варяги — чужаки. Летописец интересуется только Русью, не варягами, потому что начало родному государству положила именно Русь, не они. Летописец знает про варягов несомненно больше, чем пишет. Он, напр., даже не считает нужным отметить, что жена Ярослава — варяжская королева. Варяги, повторяю, его не интересуют, он упоминает о них лишь постольку, поскольку они, по его мнению, в тот или иной момент сыграли роль в судьбах России. Чем дальше, тем резче варяги начинают противопоставляться Руси, и в повествовании летописца нередко сквозит неприязненное к ним отношение, по крайней мере к тем из них, которые служили в княжеских войсках и играли роль при дворе. О главной массе варягов, о тех, которые ходили по русской земле в качестве торговцев, он не упоминает вовсе.

Впрочем, и князья, нередко сами призывавшие варягов-воинов из-за моря для усиления своих дружин, начинали тяготиться ими, когда эти наемники становились не в меру требовательными. Так, Владимир в 980 г., справившись со своим братом Ярополком, т. е. убив его, не знает, как бы отделаться от варягов, при помощи которых он достиг единодержавия. Да они и сами недовольны своей службой в России и хотят уйти «в греки». И вот Владимир «избра отъ нихъ мужи добры, смыслены и храбры, и раздая имъ грады», — эти добрые мужи очевидно слились потом с «Русью», — «прочии же идоша Царюграду в греки. И посла (Владимир) предъ ними слы, глаголя сиче царю (т. е. византийскому императору): «се идуть к тебѣ варязи, не мози ихъ держати въ градѣ, оли то створять ти зло, яко и сде (!), но расточи я разнo, а сѣмо не пушай ни единого».

Я привел это место из летописи целиком, потому что оно ярко рисует положение варягов в окрепшей уже Руси: от них при случае отделяются довольно бесцеремонно и коварно, — не без вины с их стороны.

Когда при Ярославе в Киеве усилился скандинавский элемент по причинам, в разбор которых мы пока вдаваться не будем, то это не было возрождением прежней «русской» стихии, а лишь временным усилением чужой варяжской, и потому она почти не отмечена летописцем. Но и в эту эпоху не обходилось без столкновений. Летопись о них не говорит, — мы уже знаем, почему. Но в дальнейшем мы ознакомим читателя с некоторыми яркими в этом смысле эпизодами, которые передают исландские саги, хорошо знающие двор Ярослава.

Впрочем, в середине XI века почти прекратился и приток варягов в Россию, по причинам, зависевшим не от одних только изменившихся здесь условий. В последний раз варяжские наемники упоминаются в русских войсках в 1043 г. Некоторое время еще продолжают династические связи со Скандинавией (до середины XII в.), затем замирают и они, и в 1164 г. Россия впервые сталкивается с Швецией уже враждебно.

IV

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

В данной связи нас интересуют две категории находок на пространстве европейской России: арабские (куфические) монеты, свидетельствующие о торговых сношениях, о которых неоднократно была речь выше, и предметы скандинавского происхождения, говорящие о пребывании заморских гостей в России. И тех и других, в особенности же монет, найдено немало по всей территории северной, центральной и приволжской России. Скандинавские предметы доходят на востоке приблизительно до линии Вятка—Казань—Саратов. Монеты, конечно, заходят далеко за этот предел, теряясь в заволжских и закаспийских землях; проникают они и на севере дальше скандинавских предметов, приблизительно до Чердыни. На юге же у обеих категорий граница общая — приблизительно

но широта Полтавы; южнее этой линии, насколько мне известно, по крайней мере в системе Днепра, ни те ни другие не встречаются, и только в бассейнах Дона и Волги монеты спускаются ниже.

Уже при беглом обзоре и сопоставлении этих двух категорий нам бросится в глаза, что они распределены по очерченной выше территории далеко не равномерно, и что существует какая-то связь между ними: в тех областях, где спускается скандинавский материал, там обычно встречается и наибольшее количество монетных находок и кладов. Это не может быть случайностью, и мы вправе видеть в указанном соотношении подтверждение того значения, которое скандинавы имели, наряду с хазарами, в торговых сношениях интересующей нас эпохи. И еще нечто другое и более важное окончательно выясняют эти находки, о чем мы только догадывались на основании других источников и потому лишь вскользь упоминали в предшествующих главах: магистральная линия торговли пересекала Россию первоначально с северо-запада на юго-восток, минуя Днепр или, точнее, задевая лишь верхнее и среднее течение его. На основании археологических данных мы можем теперь довольно точно определить важные для нас подробности.

Через трое ворот так сказ. входили скандинавы в Россию: 1) через устье Западной Двины вверх по этой реке; 2) через Нарову в Чудское (Псковское) озеро и по реке Великой, и 3) через Неву, — мимо того места, где ныне Ленинград — в Ладожское озеро. Последний путь здесь раздваивался: одна линия — наиболее важная в политическом отношении — тут же поворачивала на юг и шла по Волхову к Ильменю озеру; другая пересекала Ладожское озеро в южной его части, шла по Свири мимо Лодейного Поля, входила в озеро Онежское и лишь отсюда загибала также на юг, направляясь по Вытегре в Белое озеро и дальше по Шексне. Таким образом получалось, в сущности, четыре входных пути, и каждый из них обозначается уже в IX веке крупным торговым и поли-

тическим центром: на Двине Полоцк, в котором Рюрик посадил одного из своих мужей; в бассейне Чудского озера и р. Великой Изборск (на Ю. З. близ Пскова), занятый, по преданию, Трувором; по Волхову сначала Старая Ладога, затем Новгород, где засел сам Рюрик, и на Белом озере город, где княжили Синеус. Каждый из этих пунктов, или близкие окрестности его, отмечен и многочисленными монетами, а подчас и чисто скандинавскими находками, подтверждающими, что здесь были скандинавские гнезда*).

Наибольшее во всех смыслах значение получил путь по Волхову с Новгородом, ставшим центром, вокруг которого сплотилась вся «Русь» от Полоцка до Ростова (см. выше стр. 309). Тут, в бассейне Ильменя и в особенности к северу от него, по Волхову и на Ю. В. от Ладожского озера по Сязи, Паше, Воронеге и другим речкам мы находим в могильниках следы наиболее древних в России (от начала IX века!) и многолюдных скандинавских поселений с богатым скандинавским инвентарем и чисто скандинавскими типами погребений. На табл. I читатель видит типичный инвентарь скандинавской

*) Только в Полоцке и ближайших окрестностях его до сих пор, насколько мне известно, скандинавских вещей не найдено вовсе, но принадлежность его к скандинавским центрам засвидетельствована летописью. Кстати замечу раз на всегда: этот пример наглядно показывает, что отсутствие археологических данных не может служить доказательством чего бы то ни было. Возможно, что были находки, пропавшие для науки; возможно, что завтрашний день даст их. Не очень далеко от Полоцка, в Люцинском могильнике (Витебской губ.) скандинавские предметы нашлись, хотя в малом количестве. Что касается Белоозера, то поселение IX века лежало не там, где ныне город Белозерск, а на Шексне, где теперь Крохино, и обозначается древним городищем. Раскопок здесь, к сожалению, — а может быть и к счастью, — до сих пор не производилось. Я говорю «к счастью» потому, что лежащий неподалеку высокий курган «могила Синеуса» (едва ли, впрочем, ему принадлежащая) был раскопан лет 50 тому назад, да так, что неизвестно, каково было устройство могилы и что в ней найдено. Для науки она погибла навсегда.

могилы из раскопок Бранденбурга на р. Паше близ дер. Кириллина: таких предметов масса в пределах Швеции. Найденные в южном Приладожье скандинавские древности восходят ко времени от первой половины IX века приблизительно до начала XI века*). Не подлежит сомнению, что мы имеем здесь дело именно с древнейшими и скандинавскими поселениями в России; они довольно густой сетью покрывают весь край до Ильменя, заходя и за это озеро, на что указывают и многочисленные следы имен «Руси» и «варягов» в географической номенклатуре этой области. Здесь исходный пункт и имени «Русь», как нам выяснилось уже на основании других соображений (см. выше, стр. 323).

Наконец милостивая судьба и счастливая рука археолога (Н. И. Репникова) открыли нам в 1912 году и остатки того города, который, по летописи, срубил себе Рюрик в Старой Ладоге, раньше, чем перейти в Новгород. Они лежат на глубине нескольких метров под современным горизонтом и состоят из фундаментов трех домов, грубо сложенных из бревен, и колодца (см. рис. 2 по фотографии шведского археолога Арне). Найденные здесь поделки и — по близости — куфические монеты, не оставляют сомнения в том, что перед нами тут действительно остатки скандинавского поселения IX века, построенного на месте более древнего финского, которое жило еще культурой каменного века. Надо думать, что дальнейшие раскопки вскрыли бы всю площадь этого скромного городка, — первой ячейки русского государства. Мы увидим ниже, что Старая Ладога играет некоторую роль и в исландских сагах под именем Aldeigjuborg. Через нее по Волхову шла так сказ. столбовая дорога, по которой проходили скандинавские вятизи, направляясь ко двору Владимира и Ярослава, и только об этой дороге упоминается в сагах.

Большое значение для торговли имела и линия, проходя-

*) Раскопки Ивановского к в. от Ленинграда, и Бранденбурга в южном Приладожье, см. Материалы по археологии России № 20 (1896 г. Спицын) и 18 (1895, Бранденбург).

щая через Белое озеро, так как она представляла наиболее удобное для варягов сообщение с верхней Волгой. Весь этот путь отмечен монетами и скандинавскими находками по Свири, в Олонецкой и Вологодской губерниях. Особенно много их в южной части его, там, где он по Шексне достигает Волги. Ярославский край и в особенности близкие окрестности самого Ярославля представляли один из центров скандинавской жизни в России, как показали многочисленные случайные находки и в особенности раскопки Тихомирова и Городцова в селе Михайловском и в Большом Тимиреве. Недаром Ярослав Мудрый основал именно здесь в первой половине XI в. город, названный его именем. Но следы «русской» в древнейшем смысле жизни тянутся и дальше на юг в области, прилегающей к левому берегу Волги: продолговатый четырехугольник, окаймленный средним течением этой реки и нижней Окой, весь этот край, обозначаемый городами Ростов — Переяславль — Суздаль — Муром, сыгравший в XII — XIII в. такую решающую роль в истории русской государственности, усеян могильниками, в которых найдены многочисленные очень типичные скандинавские предметы. К сожалению, неумелые раскопки графа Уварова, производившиеся здесь в 50-х годах прошлого века и вскрывшие почти 8000 могил, не дают возможности разобраться научно в богатом материале и тем нанесли науке непоправимый вред. Но основной, интересующий нас факт все же ясен: здесь, в земле Мери и Муромы в IX — XI веках жило немало скандинавов. Они вошли в состав новгородского «русского» княжества: по летописи, Рюрик посадил в Ростове одного из своих мужей, и Святослав «иде на Оку рѣку и на Волгу», не прямым путем с Днепра, а кружным, из Новгородской области, когда шел походом на Вятичей в 964 году. Имена Ростова, Суздаля и Муромы упоминаются и в исландских сагах (см. ниже). Очевидно, заходящие исландцы находили здесь своих соотечественников. И именно в окрестностях этих городов найдено наибольшее ко-

личество скандинавских предметов*). Но в течение XI века скандинавский элемент вероятно уже слился с окружавшей его финской стихией и с немногочисленными славянскими колонистами, поселившимися здесь, вероятно, из Новгородской области. Когда в середине XII века началась русская (в новом смысле) колонизация Ростово-суздальского края, шедшая с югозапада, из бассейна Днепра, то она, повидимому, уже не застала здесь никаких следов варяжской жизни. Но возможно, что в нашем богатые Илье Муромце мы вправе видеть отголосок этой далекой старины.

До начала X века все четыре линии — двинская, псковская, новгородская и белозерская — тянулись к Волге и тем или иным путем сливались с этой великой водной артерией, направлявшей русские товары на восток. Но торговля шла не только по этим линиям; она, как мы видели, проникала, благодаря главным образом хазарам, и в самое сердце России: в центральных губерниях (Москва, Калуга, Рязань, Тула, Курск) скандинавских предметов нет, но есть много куфических монет, доказывающих, что и эти края были втянуты в торговлю с востоком. Эти срединные торговые пути, как с севера, так и с востока, достигают и верхнего и среднего Днепра, где вновь появляются и скандинавские изделия. На верхнем Днепре приблизительно в 8 верстах к западу от Смоленска, там, где в IX—X веках стоял древнейший Смоленск, а теперь лежит село Гнездово, находится огромный могильник, частью раскопанный Сизовым, Сергеевым и Абрамовым**). Оказывается, что и тут был крупный центр скандинавской жизни и торговли, о котором летопись упоминает уже при Олеге. Найденные здесь древности доходят до начала XI века, как почти всюду. Особое значение этот пункт приобрел, когда

*) См. материалы у Спицына, Древности бассейнов рек Оки и Камы, в Материалах по археол. России № 25 (1901), и его же Владимирские курганы, в Изв. Археол. Комм. вып. 15 (1905).

**) Матер. по арх. России 15 (1902) и 28 (1905), и Записки Русского Археол. Общества VIII (1906).

был открыт днепровский великий путь в греки. Он ведь лежал на самом этом пути.

Произошло это, как известно, уже в конце IX века. Перенеся центр политической жизни с новгородского севера на Днепр, Русь поворачивается фронтом на юг, к Черному морю и Византии, и тем в корне меняет свою политическую и хозяйственную ориентацию. Перед юным государством открываются новые перспективы, и торговля с востоком начинает терять прежнее значение и интенсивность. Она была до известной степени подорвана уже в конце IX века, когда колебалась сила хазарская, и она замирает с конца X в., когда хазарское царство пало и приволжские и южнорусские степи начинают заливать азиатскими кочевниками *). Мы видели, однако, что варяжские элементы, жившие этой торговлей, еще кое-как держались до начала XI века не только на Днепре, но и на верхней Волге.

После всех этих мелочей, нам пора оглянуться. Картина представляется мне ясной, и резюмировать ее, думается, излишне. Мне хотелось бы только пополнить ее несколькими штрихами, важными с точки зрения нашей проблемы. Археология многократно доказывает существенный для нас факт, что скандинавы являлись в Россию не только странствующими «гостями» — торговцами или викингами — искателями приключений и грабителями. Они оседали тут и в одиночку в городах, и группами в основанных ими селениях, живя здесь своей скандинавской жизнью, хороня своих покойников на свой лад. На оседлость этих элементов указывает между прочим и то обстоятельство, что в могильниках неоднократно встречаются женские украшения чисто скандинавского типа: очевидно, скандинавы оседали здесь со своими скандинавскими же семьями, хотя они рано и легко сливались с тузем-

*) Ниже мы на основании скандинавских источников познакомимся с попыткой возобновить сношения с востоком, сделанной около 1040 г. при Ярославе. Попытка эта кончилась неудачей.



Рис. 2. Остатки скандинавского поселения IX века в Старой Ладоге (по фот. Архе).

цами, живя среди них. И на это также имеются многочисленные указания в могилах.

Еще любопытнее и важнее, в этом смысле, другое наблюдение: многие из находимых предметов, сохраняя в общем свой основной скандинавский тип, носят на себе явные следы чужого, большею частью восточного влияния. Мы можем усмотреть в этом доказательство их местного, русского происхождения: они привезены не из-за моря, а сработаны здесь, местными ремесленниками.

Каково же было политическое устройство этих широко разбросанных по русской земле скандинавских селений? Я имею в виду не отношение их к туземным славянам и финнам, а собственную их организацию. Едва-ли мы ошибемся, если предположим, что в разных местах тут сидели такие же скандинавские «князья», какими были Рюрик и его братья. Из летописи мы знаем еще про Рогволода, отца Рогнеды, пришедшего из-за моря и севшего в Полоцке, где раньше правил один из мужей Рюриковых. Вскольз упоминается Туры, от которого получил название город Туров. В 903 г. к Игорю «приведоша жену отъ Пскова, именем Олгу», — это позднейшая святая Ольга, мудрейшая из жен. Ее чисто скандинавское имя дает право предположить, что она была дочерью какого-нибудь князя, засевшего в Пскове, хотя вокруг этого вопроса идет, как известно, горячий спор. Спорна также личность Мала, князя древлянского; возможно, что и он был скандинавом.

В 912 г. договор с греками заключают послы «отъ рода Рускаго» такие-то (следует 15 чисто скандинавских имен), «иже послани отъ Олга, великаго князя Руского, и отъ всѣхъ, иже суть под рукою его свѣтлых и великихъ князь», и в договоре Игоря с теми же греками в 945 г. упоминаются не только некоторые члены киевской династии, но и какие-то другие лица, которые шлют в Византию в составе общего посольства своих особых послов, на ряду с послами великого князя. Вероятно мы вправе видеть в них мелких шведских

«князей», которые либо посажены великим князем по городам в качестве наместников, либо были ранее независимы, но присоединены к киевскому княжеству Олегом и Игорем.

Обратимся теперь к скандинавским источникам и посмотрим, что они дают для решения и освещения интересующих нас вопросов.

Окончание следует

Проф. Э. Кренкель

ВЫМЕРШИЕ ВЕЛИКАНЫ

Перевод с рукописи

В очень древние периоды жизни земли, юрский и меловой, возраст которых исчисляется миллионами лет, на земле процветала порода гигантских, ныне вымерших, животных. По сравнению с представителями современного животного царства, величина и массивность этих гигантов средних периодов жизни земли представляются прямо чудовищными.

Многие легенды различных народов рассказывают о громадных, сказочных животных и драконах. Но эти легенды черпают свой материал не из существования тех древних животных, которые послужат предметом этой статьи, и которые вымерли задолго до появления на земле человека. Они коренятся скорее в воспоминаниях о покрытом густою шерстью северном слоне, мамонте, и о многих других животных, которые в последнем, так называемом четвертичном, периоде жизни земли населяли ее вместе с древнейшим человеком, знавшим в то время лишь каменные орудия. Мамонт, достигавший высоты в 4—5 метров, является карликом по сравнению с гигантскими животными предшествующей поры и жил еще сравнительно недавно в северной Сибири большими стадами; там неоднократно извлекались из промерзшей земли хорошо сохранившиеся трупы этих животных, с мясом и шерстью.

Остатки фантастических форм средней, так называемой «мезозойской» эры, сохранившиеся лишь в определенных сло-

ях земной коры в Северной Америке, Африке и Азии, представляют чрезвычайно большой интерес для изучения развития животного царства. Поэтому, везде, где только оказывались следы их окаменевших остатков, производились тщательные раскопки, часто требовавшие больших расходов и немалого самоотвержения ученых, но зато венчавшиеся богатыми результатами.

Северная Америка шла в этих работах впереди других стран. Там имеются места нахождения скелетов динозавров (Dinosauri) — так мы называем этих мезозойских великанов — совсем исключительные по своему богатству и великолепию. Для разработки их американский миллиардер Карнеджи неоднократно предоставлял свои неограниченные средства. Прекрасные гипсовые слепки с этих северо-американских гигантов, имеющиеся в некоторых европейских музеях, — его дары.

Те горные породы, в которых сохранились остатки динозавров, называются в Северной Америке атлантозавровыми слоями. Благодаря богатству содержащихся в них окаменелых остатков рептилий, они получили всеобщую известность. Атлантозавровые слои залегают в восточной стороне северо-американской горной области. Они отложились в конце юрского периода, на покрытой великолепными лесами и обширными степями суше, изрезанной бесчисленными и многоводными реками и озерами. На их берегах и жили большие динозавры в сообществе с другими животными — плотоядными хищниками, черепахами, крокодилами.

В 1879 году Марш раскопал в атлантозавровых слоях штата Вейоминг, близ Комо, первый великолепный скелет бронтозавра (*Brontosaurus excelsus*). Лишь в конце 90-х годов прошлого столетия, благодаря энергичным изысканиям в Вейоминге и в Колорадо были открыты неожиданно богатые залежи скелетов и костей. Первое из этих местонахождений, известное под названием «The Great Dinosaur Quarry», открыто было в 1897 году экспедицией, снаряженной американским естественно-научным Музеем в Нью-Йорке. Когда Осборн впервые посетил это место, он заметил среди степного

кустарника и цветущих кактусов отдельные осколки камней темно-коричневого цвета. Исследование показало, что эти мнимые камни представляли выветрившиеся кости. Вскоре после этого Осборн нашел бедренную кость длиной в 2 метра. Когда ее стали раскапывать, оказалось, что к ней, в естественном соединении, прилегают берцовая кость и задняя нога. Все эти кости вместе составляли заднюю конечность гигантского динозавра *Diplodocus*.

Работа с помощью заступа и динамита, продолжавшаяся несколько лет, освободила из твердой горной породы огромное количество остатков динозавров, которые Осборн шутливо прозвал «настоящим Ноевым ковчегом». Остатки большого динозавра лежали здесь рядом с маленькими хищными динозаврами, формы с тяжелыми панцирями рядом с тонкокостными, похожими на птиц.

Важнейшие из больших северо-американских динозавров следующие:

Бронтозавр (*Brontosaurus excelsus*) (Рис. 1), скелет которого, лишь незначительно дополненный, выставленный в Нью-Йорке, — достигал длины в 22 метра. Его живой вес рассчитывают в 35 000 кг. Вид его крайне своеобразен. Маленький череп с многочисленными слабыми зубами, которые годились только для разжевывания мягких и сочных растений, сидит на длинной, толстой шее; позвонки ее усажены изогнутыми назад короткими шейными ребрами для прикрепления сильных мышц. Полые внутри для большей легкости, они напоминают позвонки птиц. Только в хвостовой области позвонки становятся массивными. Кости передней и задней конечности также массивны; в них нет даже мозгового канала. Сильные и прямые, как столбы, конечности поддерживают тяжесть короткого, толстого туловища, оканчивающегося длинным хвостом. Короткие передние ноги широко расставлены, чтобы лучше поддерживать массивную, вытянутую вперед шею. Эти тяжеловесные, медленные в своих движениях и тупоумные

великаны проводили большую часть своей жизни, стоя в вязком болоте, растениями которого они питались.

Второй гигант Северной Америки — диплодок (*Diplodocus*), достигавший длины в 25 метров и высоты в 4—5 метров. (Рис. 2). От только что описанного бронтозавра он значительно отличался по своему внешнему виду. Шея его была длиннее, доходя до 7 метров, и тоньше, с изгибом в виде буквы S. Позвонки и тут полые, хвост кончался длинной, тонкою плетью. Передние конечности (руки) сгибались сильнее, чем у бронтозавра. Кости ног стояли прочно и прямо друг над другом, как столбы. Диплодок был житель озер, проглатывавший водные растения и мелких водных животных.

Сильно защищен против нападений хищных зверей был стегозавр (*Stegosaurus*) (Рис. 3) — из тех же атлантозавровых слоев. Его можно было бы назвать ходячей бронированной башней. Спина его была усажена огромными плоскими костями, возвышавшимися в два ряда над хребтом; хвост, снабженный роговыми образованиями и двумя парами острых костей, представлял страшное оружие защиты.

У стегозавра, как и всех прочих динозавров, был поразительно маленький череп; полость для головного мозга была прямо таки ничтожна. В пасти было 92 зуба, но настолько незначительных и слабых, что они годились только для мягкой растительной пищи. Передние ноги короткие, задние длинные и стройные. У ноги только три действующих пальца, у короткой же руки — пять. В области таза позвонки имеют очень широкий мозговой канал; полость их в 20 раз превышает полость черепной коробки. Поэтому часто говорили о «тазовом мозге» стегозавров. У молодых животных этот «тазовый мозг» больше, чем у взрослых. Может быть, ему свойственны были определенные функции по питанию и пищеварению. Стегозавр едва ли был водным жителем, как оба гредшествующих динозавра, и вероятно он жил в лесах.

Среди хищных динозавров, врагов малоподвижных травоядных животных, также встречались крупные представители: так, например, зубастый цератозавр (*Ceratops*), с

костяным гребнем на носовой кости и двумя рогами около глаз, достигавший длины в 10 метров.

Небезинтересно было бы знать, имеем ли мы перед собою в найденных гигантских экземплярах исключительных особей, которые достигли этой величины, благодаря особенно благоприятным условиям, в глубокой старости, или это были нормальные в то время размеры для всей породы. Возможно, что продолжительность жизни этих животных была вообще очень велика. Черепахи, как известно, и теперь достигают 150-летнего возраста, и даже выше. О быстроте роста динозавров, к сожалению, нельзя составить себе ясного представления. В пользу медленности их роста, быть может, говорит то обстоятельство, что малые размеры их жевательного аппарата позволяли им принимать в известный срок лишь весьма незначительное для их гигантского тела количество пищи. Впрочем, на условия роста какой-либо группы животных влияют и всякие другие биологические моменты, сравнительную важность которых взвесить трудно: таковы, например, использование пищи, обилие и качество ее, наконец и спокойный темперамент и тупость животного.

После того, как извлеченные из недр земли североамериканские великаны возбудили всеобщее внимание и удивление, весть о подобной же находке в немецких восточноафриканских колониях в 1907 году вызвала живой интерес. В южно-восточной части этой колонии, на берегу Индийского океана, живописно расположен в тени кокосовых пальм город Линди. К северо-востоку от него, на расстоянии нескольких дневных переходов, поднимается над волнистым плоскогорьем невысокая вершина холма Тендагуру. Эта резко обрисованная и видная на большом расстоянии вершина, круто поднимающаяся над долиною Мбемкуру, открывает прекрасный вид на всю местность, которая в средние периоды жизни земли была богата населена всевозможными видами динозавров, от гигантских, до мелких видов. Открытие этих залежей костей динозавров посчастливилось инженеру Затлеру; пересекая лес, он заметил лежащие поперек тропинки полувывет-

рившиеся окаменелые кости. Он сообщил о своей находке профессору Фраасу, известному палеонтологу из Штуттгарта, который как раз в то время находился в Восточно-Африканской колонии. Фраас поспешил в Линди, и после восьми дней работы определил род и возраст найденных костей. Отдельные куски он выкопал и привез в Германию. Возраст тендагуровых пластов окончательно удалось установить лишь позднее, причем оказалось, что они относятся к верхне-юрскому и нижне-меловому периоду, т. е. что они одного возраста с атлантозавровыми пластами Северной Америки. В виду верного успеха, очень быстро удалось собрать в Германии, путем пожертвований, необходимые для раскопок средства, особенно благодаря энергии Геологического Института при берлинском Университете. Экспедиция двинулась в путь из Марселя 15 марта 1909 года и 16 апреля достигла места своего назначения, горы Тендагуру. Руководителями работ были Яненш и Генниг из вышеуказанного Института. Несколько лет продолжались раскопки новых местонахождений в окрестностях Тендагуру и эта трудная работа в африканских лесах увенчалась богатыми результатами, превзойденными даже все ожидания.

Уже первые разведки участников экспедиции дали представление о богатстве этого кладбища динозавров. Окаменелые кости и обломки их покрывали землю; рыхлая почва была с них смыта дождями, и они свободно выступали на поверхность. На расстоянии $\frac{3}{4}$ часа ходьбы к северу и к югу были обнаружены следы новых залежей, что говорило о большом горизонтальном распространении содержащих кости пород. Работы были начаты с 75 неграми. Уже самое начало было многообещающим: вскоре были обнаружены хорошо сохранившаяся бедренная кость и несколько связанных позвонков, из которых затем развился целый, хотя и не совсем полный скелет (Рис. 4). Яненш сообщает о методе раскопок следующее: «В тех местах, где видны были кости, грунт вокруг них разрыхлялся. Во многих случаях таким образом удалось, при сравнительно небольшой затрате работы, освободить лежавшие

неглубоко остатки динозавров. Но такие, залежавшие на небольшой глубине кости, большей частью оказывались поврежденными выветриванием и раз'едающим действием корней. Для того, чтобы извлечь хорошо сохранившиеся останки из большой глубины, закладывались шахты в таких местах, где можно было ожидать успеха, и продолжались в стороны и вглубь до тех пор, пока мы не наткнулись на кости, или — что случалось реже — пока мы не убеждались, что работа в данном месте бесполезна. В тех местах, где попадались кости, шахта расширялась, для того, чтобы можно было высвободить соседние остатки скелета; таким образом часто получались очень широкие рвы в несколько метров глубины. При раскапывании одного гигантского динозавра, нам пришлось, следуя направлению его позвоночного столба, достигнуть глубины в 10 метров под поверхностью земли, причем стены шахты пришлось укреплять плетением из бамбука и древесными стволами».

При раскопках в Тендагуру наблюдалось двоякого рода расположение костей. Часто встречались отдельные кости, лишенные связи с остальным скелетом. В некоторых местах они лежали целыми горами. Среди них попадались и очень большие кости, очевидно принадлежавшие одному животному. Только в редких случаях находили большие части скелета или даже почти полные скелеты, у которых позвонки, ребра и кости конечностей сохранились в естественном соединении. Редко находили черепа: у динозавров они были небольшие и нежные, и потому плохо сохранялись.

Но освобождение костей из окружающих их пластов было только первой частью всей работы. Как только кость была обнажена, приступали к ее препарированию. Ловкие и специально обученные этому делу негры очищали их ножами и резцами и пропитывали раствором каучука для придания им прочности. После препарирования кости поднимались с места и укладывались. Ломкие кости предварительно окружались слоем гипса или глины и затем упаковывались в траву и бамбуковые трости. В таком виде носильщики выносили

их на плечах или головах к берегу (Рис. 5). Часто четверем, восьми и даже двенадцати неграм приходилось трудиться над одною ношею.

Тысячи костей извлечены таким образом в Тендагуру из недр земли, с общим весом свыше 100.000 кгр.

Среди найденных здесь динозавров имеются представители целого ряда видов, родов и пород. Янгенш приводит их каждый в отдельности; но названия не имеют для нас значения. Трудная обработка останков и, главным образом, крайне кропотливое препарирование и дорого стоящая установка в берлинском музее, не настолько еще подвинулась вперед, чтобы уже теперь можно было дать полную картину многообразной и богатой индивидуумами фауны того времени. Все же возможно установить главнейшие типы и составить себе представление об условиях их жизни.

Главную роль среди этих появившихся снова на свет динозавров Тендагуру играет семейство *завропозов* (*Sauropoda*), к которому принадлежат и упомянутые выше бронтозавр и диплодок. Это семейство отличается длинной шеей, удивительно малой головой, длинными, узкими зубами, очень длинным хвостом и передвижением на четырех ногах. Они частью земноводные животные, как живущий ныне гиппопотам, частью жители суши.

Между исполинами Тендагуру из этого семейства *завропозов* есть одно животное, которое по величине очень походит на американского диплодока; это одна из замечательнейших гигантских рептилий земного средневековья — *брахиозавр* (*Brachiosaurus*) (Рис. 6). В то время как диплодок и бронтозавр обладали короткими передними конечностями, и внешний облик их определялся коротким туловищем, брахиозавр, наибольшее из всех известных до сих пор позвоночных с полным скелетом, отличался очень длинными передними конечностями, придававшими его фигуре совсем иной вид. Его огромное туловище поддерживалось могучими конечностями, причем как передние, так и задние ноги, повидимому, имели почти одинаковую длину. У одного из брахиозавров

тендагуровых слоев, *Brachiosaurus B. Fraasi*, передняя и задняя конечность имеют длину в 170 см. Еще больше она у *Brachiosaurus Bapcai* из тех же слоев: плечевая кость этого животного достигала длины в 213 см. у одного экземпляра и в 210 см. у другого! Это самые длинные из известных по ныне плечевых костей окаменелого позвоночного животного. (Рис. 7 и 8).

Строение скелета брахиозавра указывает на то, что он жил в воде, в которой он мог стоять еще при глубине в 12 метров.

«Если бронтозавр», говорит Абель, «представляет жителя прибрежных болотистых мест, а диплодок — жителя более глубокой полосы атлантозаврового потока Северной Америки, то брахиозавр мог отбавиваться в еще большие глубины и образует в этом отношении конечное звено ряда своеобразнейших четвероногих водных обитателей, живших когда-либо на земле».

В тендагуровых слоях был найден и экземпляр, очень похожий на американского бронированного стегозавра, и названный *кентаврозавром* (*Kentaurosaurus*). Но строение его костяного панциря было иное.

Как же образовались эти столь интересные костяные залежи в Тендагуру?

Они залегают в земляной массе мощностью в 150 метров в 3 этажа от 20 до 30 метров толщиной, отделенные друг от друга грубым песчаником с остатками морских животных. Самые кости покоятся в мелком мергеле, отлагающемся на очень плоском морском берегу, и особенно в таких местах, которые более или менее защищены от прибой морских волн выступающими островами, коралловыми рифами, мелями или косами. В прослойках песчаника между мергелями кости отсутствуют. Почему их нет именно здесь, это объясняется, быть может, тем, что эти слои песчаника и во время отлива были так глубоко покрыты водою, что динозавры сюда не заходили, или тем, что песчаник, в противоположность вяз-

кому мергелю, выдерживал тяжесть животных; в мергеле же они увязали и погибали.

Фраас рассматривает тендагуровые слои, как наносы в дельте большой реки, которая, подобно Нилу, несла свои воды из глубины Африки в море. Вокруг ее устья образовались широкие лагуны, и в этой тонкой местности и находили смерть динозавры. Яненш же и Генниг видят в тендагуровых слоях настоящие морские отложения, основываясь на том, что между скелетами лежат морские раковины, остатки каракатиц и рыб. Водный бассейн, на дно которого опустились трупы исполинов, был, следовательно, море. В это море динозавры, значит, каким-то образом должны были попасть, так как жизнь их протекала не в соленой воде морского побережья. Но таких многоводных потоков, которые могли бы вынести попавшие в них трупы разных животных в открытое море, тоже не было. Дело в том, что в двух местах были найдены скопления окаменелых скелетов маленьких хищных динозавров в 50 и свыше экземпляров одной породы. Такой выбор определенной породы животных, конечно, не может быть осуществлен потоком воды. Естественнее предположить, что животные эти внезапно, вследствие какой-либо катастрофы, погибли целым стадом, в том месте, где они находились. Насильственная смерть уничтожила их. Быть может, они жили на берегу Индийского океана, выходили на сухой морской берег ища пищи, и были здесь настигнуты быстро надвинувшимся приливом. Или жажда во время сильной засухи заставила динозавров Тендагуру передвинуться в тонкую область лагун, где они и увязли, благодаря своему большому весу. Какова бы ни была в частности их смерть, одно можно считать несомненным: динозавры утонули в плоской прибрежной полосе моря, и это явление повторялось часто, через большие или меньшие промежутки времени.

Абель, один из лучших знатоков ископаемых позвоночных, не согласен с этим объяснением Геннига. Он, наоборот, считает, что трупы динозавров принесены издалека и лишь похоронены в лагунах, которые временами затоплялись морем;

большая река, протекавшая из глубины Африки, медленно перетаскала их сюда. Трупы в более или менее разрушенном состоянии достигали дельты; конечности сгнивали и первыми падали на дно; вздутое же получающимися при разложении газами туловище плыло дальше; этим объясняется тот факт, что все кости одного животного почти никогда не встречаются вместе. По мнению Абеля, следовательно, место смерти животного не совпадает с местом его погребения и раскопок. Для предположения, что все большие динозавры тендагуровых слоев уничтожены катастрофами, есть также мало оснований, как для массового появления динозавров в атлантозавровых слоях Северной Америки. Лишь в редких случаях, катастрофы, быть может, действительно уничтожали целые стада этих животных; так, вышеупомянутое стадо в 50 голов, вероятно, было смыто внезапным сильным наводнением.

Итак, различные исследователи расходятся в толкованиях относительно происхождения костных залежей.

Пеструю жизнь животного царства в восточной Африке того времени, Генниг описывает следующими словами: «Там лениво переступали эти чудовищные громады с шеями длиною в 12 метров и шириною почти в два метра, и с ногами, превосходящими всякую фантазию, там кипел весь этот род больших и малых драконов, вплоть до ничтожной ящерицы; там проходили стада бронированных чудовищ с огромными остриями на спине и хвосте, там быстро перебегали на задних ногах маленькие завры, а другие летали по воздуху; там водились внушавшие всем страх хищники и исполины; исполины спасались от хищников только благодаря своим размерам и питались растениями и мелкими морскими животными. Богатая и роскошная фауна современной Африки с трудом может сравниться по разнообразию с тем, что представляется здесь нашему взору».

По своему составу восточно-африканская фауна динозавров проявляет замечательное сходство с атлантозавровыми слоями Северной Америки. Все эти завровые области принадлежат к верхне-юрской формации, и отчасти к нижне-

меловой, т. е. относятся к переходному периоду от юры к мелу. Это был кульминационный пункт в развитии гигантских животных.

Тесная связь между фауной восточной Африки и Северной Америки заслуживает внимания с точки зрения палеогеографии, т. е. географии древних периодов жизни земли. Близкое родство этих фауновых областей, ныне разделенных глубокими, непроходимыми для наземных животных морями, заставляет предполагать, что в конце юрского периода восточная Африка и Северная Америка соединялись сушей, по которой кочевали эти несомненно очень медленно передвигавшиеся животные. Быть может, Азия служила этим моллом. Там, в Монголии, недавно открыты остатки динозавров. Но сведения об этом новом открытии пока еще настолько скудны, что невозможно дать полной картины этой фауны. Гранер и Грегори дают нам описание окаменелых останков *Protocepatops Andrews*.

Понятный интерес возбудили яйца динозавров, найденные в трех гнездах. В одном из этих яиц будто бы содержится зародыш. До этого времени не было известно, что динозавры, — или по крайней мере, некоторые из семени динозавров, — клали яйца.

Упомянутые до сих пор типы животных относятся к классу рептилий, который в лице их дал несомненно крупнейших животных земного шара.

Заметим вкратце, что и класс млекопитающих произвел внушительных по своим размерам представителей. Лишь в самое недавнее время получены более подробные сведения об окаменелых останках странных млекопитающих, найденных в Белуджистане, в горах Бугти. Там в четвертичную эпоху, в миоцене, жил целый ряд различных видов наземных животных, представляющих высшую точку в развитии роста млекопитающих. Самый большой среди них и царь всех млекопитающих принадлежал, повидимому, к разряду копытных, и в частности непарнокопытных, получивший название «*Balutschisterium*». Это было травоядное животное,

жившее в болотах и принадлежавшее к группе древних носорогов. Остатки его найдены теперь и в Туркестане, а также и в Монголии. *Balutschisterium* обладал могучими конечностями; плечевая кость достигала длины в 84 см., бедренная — в 120 см. Запястье было расположено гораздо выше, чем у современной лошади и отстояло от земли на 80 см. Массивный череп, в противоположность черепу нынешнего носорога, был лишен каких-бы то ни было роговых образований; зубы были самые примитивные. От современного носорога,

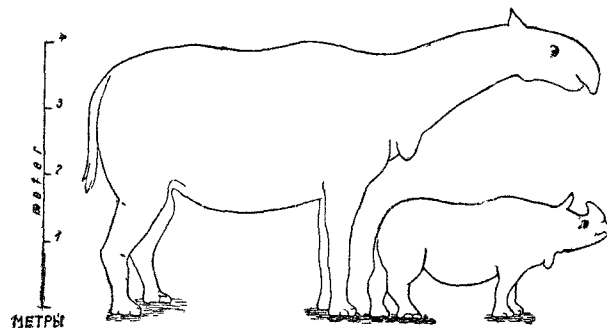


Рис. 9. Сравнительная величина миоценового *Baluchitherium* (Grangeri Osb.) и нынешнего носорога (*Rhinoceros unicornis*).

имеющего, как известно, толстую короткую шею, он отличался и своей длинной шеей, придававшей ему своеобразный вид. Реконструкция, предпринятая Осборном в Нью-Йорке с помощью останков, найденных в Монголии, — череп животного был разломан на 360 мелких кусков, — показывает нам огромную величину этого азиатского носорога. Высота его была более 4-х метров, превышая высоту современного носорога в два раза; то же самое относится и к длине его. И если уже нынешний «маленький» носорог своей неуклюжей, тяжелой фигурой и своими неистовыми движениями на воле

вызывает ужас, то насколько грандиознее должно было быть впечатление от его громадного предка

Вымершие исполины животного царства поражают нас своею величиною и формой. Но именно их огромные размеры вызвали и ускорили их гибель. Благодаря своей тяжеловесности, медлительности и очень низкой интеллектуальности, они были мало приспособлены к борьбе с угрожавшими их жизни условиями, как например болезнями, недостатком пищи, или враждебными нападениями. Их семейства угасли без потомства. Короткий расцвет сменился полным вымиранием. И только сохранившие их кости слои земли свидетельствуют об этой фантастической фауне, которая без оберегавших ее земляных покровов навеки пропала бы бесследно

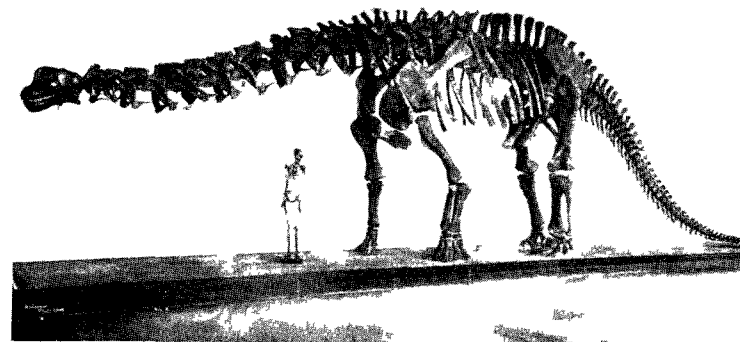


Рис 1 Реконструкция скелета бронтозавра (*Brontosaurus excelsus*) в «American Museum of Natural History» в Нью Йорке

Внизу для сравнения скелет человека



Рис 2 Реконструкция диплодока (*Diplodocus Carnegiei*) По Абелю, Вена

Проф. Иоллес

БАЙРОН

19. IV. 1824.

Лорд Байрон—воплощение романтизма. Все, что он думал и пережил носит печать этого движения, все его поступки и все произведения имеют своеобразную романтическую окраску; его жизнь и облик окружены лучезарным романтическим венцом, он поступает и думает в духе романтизма... Таково обычное восприятие личности Байрона. Но верно-ли оно?

Мне кажется, что нам следовало бы попытаться рассмотреть страничку из его жизни — хотя бы это был один только маленький эпизод — так, как Байрон сам его видел. Мы могли бы, например, вспомнить о том, как он переплыл Гелеспонт. Этот эпизод, — не окружен ли он в глазах мира тем лучезарным венцом и не имеет ли он той романтической окраски, о которой мы сейчас говорили? Я должен признаться, что когда я несколько лет тому назад находился недалеко от того места, где разыгралось это происшествие, я вспомнил в первую очередь не о древности, не о споре между Ахиллом и Агамемноном, мне представлялись в голубых волнах не греческие корабли, а голова смелого пловца; мне приходило на память больше стихов из Дон-Жуана, чем из Илиады, и, если бы мне предоставили выбор — встретить здесь представителя романтической поэзии — Байрона или представителя романтической науки Генриха Шлимана, я бы, не колеблясь, отдал предпочтение его лордству.

I.

После того как Байрон 16-го апреля 1810 года безуспешно пытался переплыть Геллеспонт, он повторил попытку еще раз 3-го мая. Его спутник Гобгоуз (Hobhouse) пишет об этом:

«Байрон был в воде час и десять минут; его товарищ мистер Экенхэд (Ekenhead) — пятью минутами менее... Мой спутник совершил раньше, хотя и менее прославленное, но более опасное плавание. Я вспоминаю, что, когда мы были в Португалии, он проплыл из Старого Лиссабона в замок Белэм. При этом ему пришлось бороться с приливом и с противным течением; к тому же дул сильный ветер, и ему понадобилось два часа, чтобы пересечь реку».

По поводу этой заметки в дневнике Гобгоуза Байрон пишет:

«Все расстояние, которое мы с Э. переплыли, составляет более четырех миль; течение было очень сильное и холодное; на пол-дороге к нам близко подплыла какая то большая рыба; мы не утомились, только немного прозябли; я выполнил это без большого труда. — 26 мая 1810 г. Байрон».

Первое письмо в Англию с упоминанием об этом эпизоде относится к 3-му мая, т. е. написано в тот же день и доказывает, следовательно, что Байрон действительно не был утомлен. Это длинное послание к Генри Дрюри (Drury), младшему учителю, тому самому, с которым он в Гарро сначала встал во враждебные отношения и с кем он позднее подружился. Там говорится еще о других вещах, и почти мимоходом сказано:

«Сегодня утром я проплыл из Сестоса в Абидос. Прямое расстояние между ними не более одной мили, но течение делает это предприятие опасным, так что я сомневаюсь, не остыла ли супружеская любовь Леандра немного во время его путешествия в рай. Я пытался неделю тому назад, но неудачно, хотя я с детства опытный пловец; виноваты были северный ветер и изумительная быстрота прилива. Так как се-

годня утром было тише, я имел успех и пересек «Великий Геллеспонт» за час и десять минут».

Между этим письмом и заметкой в дневнике Гобгоуза есть разница: здесь говорится об одной, там — о четырех милях. Это отчасти объясняется тем, что под прямым расстоянием разумеется действительное расстояние между обоими берегами, тогда как пловцы вследствие течения и прилива должны были проплыть большее пространство. Конечно, четыре мили, вероятно, немного преувеличены.

Следующее за этим письмо от 5-го мая на имя Фрэнсиса Ходжсон (Hogdson): «Мы перенесли некоторые неудобства и преодолели кое-какие опасности, но ничего такого, о чем бы стоило сообщать, если не считать того факта, что я два дня тому назад проплыл из Сестоса в Абидос. Это, да еще некоторые неприятности от разбойников, опасность потерпеть шесть месяцев тому назад крушение на одном турецком судне, посещение турецкого паши, страсть к одной замужней женщине на Мальте, дуэль с офицером, любовные похождения с тремя девушками гречанками в Афинах и, в связи с этим, много забавы и приятные надежды — вот все, чем отличалось мое путешествие со времени моего отъезда из Испании».

Затем следует его письмо от 18-го мая к матери из Константинополя:

«Я прибыл сюда несколько дней тому назад на английском фрегате из Смирны без каких бы то ни было происшествий, о которых бы стоило упоминать. Разве только то, что я высажился для осмотра Троянской равнины и позднее, когда мы стояли на якоре в Дарданеллах, проплыл из Сестоса в Абидос, в подражание господину Леандру, чью историю ты, без сомнения, слишком хорошо знаешь, чтобы мне нужно было здесь еще что нибудь прибавлять, за исключением того, что я, пересекая Геллеспонт, руководствовался менее хорошим мотивом, чем он».

Наконец, у нас есть еще одно письмо к П. Ч. Дэллэсу (R. C. Dalles) от 23-го июня:

«Разумеется, я видел многое, — но довольствуюсь тем, что отмечу мой единственный личный геройский подвиг, именно, — что я проплыл из Сестоса в Абидос. Я совершил его 3-го мая, когда мы с фрегатом «Salsette» стояли на якоре в Дарданеллах. Вы улыбнетесь этому подвигу, но раз он обесмертил одного человека в древности, я не вижу причины, почему бы человеку современному не позволено было им похвалиться, тем более, что у меня не было возлюбленной, которая меня утешила бы на берегу и, следовательно, мой труд должен был быть сам себе наградой.

В промежутке времени между письмами к Ходжсону и к матери имеется, наконец, еще известное прекрасное стихотворение „*Lines written after swimming from Sestos to Abydos*“ В примечании, которое сделал к нему Байрон, еще раз описывается все событие, и он сам указывает на маленькую неточность, но остается при определении расстояния в четыре мили:

«3-го мая 1810 года., пока «Зальзетта» (капитан Ветхорст) стояла в Дарданеллах на якоре, лейтенант этого фрегата Экенхэд и автор этих стихов переплыли с европейского берега на азиатский, точнее из Сестоса в Абидос. Все расстояние от места, с которого мы поплыли, до места нашей высадки на другом берегу, включая кусок, где нас несло течением, было людьми с фрегата оценено более чем в четыре английских мили, тогда как действительная ширина составляет только одну милю. Скорость течения так велика, что ни одна лодка не может переехать прямо. Из этого можно до некоторой степени представить себе расстояние, которое было взято одним из нас за час и пять, а другим за час и десять минут. Вода была чрезвычайно холодна от талого горного снега. Недели за три до этого мы сделали-было попытку, но так как мы в то утро проехали верхом все расстояние от Трои и вода была ледяная, — мы сочли за нужное отложить выполнение плана, пока фрегат, как сейчас замечено, не стал на якоре перед фортами. Тогда только мы переплыли пролив, причем пустились вплавь на значительный кусок выше ев-

ропейского, а достигли берега ниже азиатского форта. Шевалье говорит, что один молодой еврей проплыл это же расстояние ради своей возлюбленной, и Оливер упоминает про одного неаполитанца, который сделал то же самое; но Таррагона, наш консул, не помнил об этих случаях и пытался удерживать нас от нашего намерения. О нескольких матросах с Зальзетты было известно, что они проплыли еще большее расстояние. Единственное, что меня поражает, это то, что раз уже подвергли сомнению достоверность истории Леандра — ни один путешественник не потрудился дознаться, выполняли ли она».

Это, насколько мы знаем, все, что Байрон написал в то время своим друзьям и печатно об этом случае. В своей последующей жизни он только редко возвращается к нему. Только во второй песне Дон-Жуана вспоминает он еще раз о нем, когда говорит о Дон-Жуане: «Лучшего пловца вы едва ли могли бы когда-нибудь увидеть. Он смог бы при случае переплыть Геллеспонт, как однажды (поступок, которым мы могли бы гордиться) это сделали Леандр, господин Экенхэд и я».

Наконец, он полемизирует об этом еще раз в письме к Джону Меррею (John Murray), помеченным февралем 1821 г. и опубликованном в Monthly Magazine в апреле 1821 г. Некий В. Тернер (V. Turner) рассказал в одной книге — «*Journal of a tour in the Levant (1821)*», как он сам пытался переплыть из Сестоса в Абидос и как это ему не удалось. Отсюда он сделал заключение, что труднее пересечь течение из Азии в Европу, чем обратно.

«Относясь с таким доверием к выполнимости этого предприятия, лорд Байрон забывает, кажется, что Леандр проплыл оба пути вместе с приливом и против него, тогда как он (т. е. лорд Байрон) разрешил только более легкую часть задачи, проплыв с приливом из Европы в Азию».

Байрон отвечает длинным письмом, которое мы не можем привести целиком. Тон его спокойный и уверенный. Он рас-

сказывает, что он проплывал еще большие пространства. Так он в Венеции в 1818 году вместе с Александром Скоттом и с Шевалье Менгалдо проплыл с Лидо через Лагуну, канал Гранде, мимо Риальто до церкви Св. Клары; плавание продолжалось четыре часа двадцать минут. Относительно Геллеспонта он пишет:

«Что касается разницы в течении, то я ничего не заметил. Оно плывцу не благоприятно ни с какой стороны, но его можно парализовать, если войти в воду на значительный кусок выше той точки противоположного берега, который плывец хочет достигнуть. Правда, приходится держаться стойко — течение сильно, но можно добраться до другого берега, если хорошо рассчитать. Мой личный опыт и опыт других заставляет меня признать подвиг Леандра вполне возможным: всякий молодой человек, обладающий здоровьем и некоторой ловкостью в плавании мог бы иметь успех с обоих берегов».

И на утверждение Тернера будто рассказ о том, что Леандр проплыл оба пути, нужно считать одной из тех басен, которыми греки с такой готовностью дают название «исторического факта», — Байрон отвечает:

«Что молодой грек героических времен, влюбленный, в полном расцвете своих сил, имел бы успех в такой попытке, не вызывает ни удивления, ни сомнения. Пытался ли он на самом деле — другой вопрос, потому что у него наверное нашла бы маленькая лодка, чтобы уберечь себя от этого неудобства».

Итак, вот полностью то, что Байрон в течение всей своей жизни говорил и думал о своем поступке. Если мы сопоставим все известия, то увидим, что он руководствовался двумя мотивами: во-первых, он хотел разрешить очень трудную задачу в качестве спортсмена. С другой стороны будучи почитателем древности, он хотел доказать, что некоторые дошедшие до нас сведения вполне правдоподобны и не требуют отнесения к царству вымысла. Если всмотреться в его отношение к делу после того, как он выполнил свою задачу,

то легко убедиться, что он — как спортсмен — горд тем, что она удалась, — и какой настоящий здоровый англичанин не гордился бы этим? — А как друг древности он горд тем, что по своему доказал действительное существование Леандра. Но в этом двойном удовлетворении нет ничего преувеличенного и никакого хвастовства. Он никого не хочет озадачить и не прикрашивает себя ложной скромностью. Его тщеславие не раздувается, он просто улыбается своему успеху с той мальчишеской радостью собственной силе, которую вправе сохранить за собою и человек более зрелого возраста. И через десять лет его отношение несколько не изменилось: он смотрит тем же глазами на свое спортивное достижение и на свое отношение к древности. Он не прославляет ни их, ни самого себя, но пытается без хвастовства деловито опровергнуть противника; о какой-нибудь романтической окраске, о лучезарном романтическом венце, о действиях и мыслях в духе романтизма у Байрона нет и речи.

И этот эпизод вовсе не составляет исключения. Если бы мы захотели рассмотреть вопрос полнее, мы могли бы с тем же успехом использовать другие эпизоды из его жизни. Вы можете, например, взять историю с Каролиной Лемб, своим романом столь содействовавшей романтизации Байрона; или время его студенчества, его обручение, его развод с его «ужасной тайной», даже его экспедицию в Грецию — у вас всегда в результате получится то же самое, если только вы будете изучать события не по рассказам современников, а по письмам и сообщениям самого Байрона. Вы будете при чтении этих писем сначала изумлены тем, как ничтожно различие в тоне, пишет ли он своему издателю о своих стихотворениях, или своей возлюбленной о своих чувствах, или своему банкиру о денежных делах, или своей сестре о том, что у них обоих на душе, или друзьям о своих впечатлениях и похождениях, своему адвокату о юридических вопросах, Вальтер Скотту о дружбе и литературе. И вы в конце концов откроете, что за всеми этими документами стоит все та же резко очерченная личность. Она скорее остроумна, чем па-

тетична, скорее спокойна, чем взволнована, скорее упорна, чем легкомысленна, и более склонна к самообладанию, чем к разнузданности. Разумеется, тот, кто возьмет его жизнь в целом без предубеждений, такую, какой она перед нами разворачивается в его письмах, тот не придет все же к выводу, что он провел ее в необычайном мещанском уюте и благоприличии. Но если вы и установите, что его образ действий часто бывал импульсивным и зависел от настроений момента, то вы все-таки должны будете прибавить, что эти настроения могли также и укрощаться спокойным суждением. Если вы открываете в его характере мрачность или страстные или циничные черты, с другой стороны, вы необходимо должны признать, что у того же характера нет недостатка в твердости и последовательности. Если вы поставите ему в упрек, что темперамент увлекает его в чудачества и эксцентричности, вы не сможете не заметить и того, что в конце концов здравый смысл и душевное благородство одерживают над ними верх. Одним словом, если слово «уравновешенный» и не применимо к Байрону ни в качестве сказуемого, ни в качестве определения, то, несомненно, не легко можно было бы назвать его рабом своих страстей, и вы никак не скажете — а эта черта мне кажется признаком романтического духа — что у него в течение жизни разум был побежден и обойден чувством.

II.

Но, спрашивается, можно ли отрицать, что существует внутренняя связь между характером таких героев как Конрад и Манфред и жизнью их творца?

Между жизнью поэта и характером его образов всегда существует какая-нибудь связь. Но откуда мы можем сделать вывод, что отношение Байрона к Конраду и Манфреду было иное, чем у Вальтера Скотта к Эдварду Воцерлей или Квентину Дурвард?

Правда, по первому впечатлению кажется, что в «Консаре» и «Манфреде» литература и жизнь смешиваются все же

иным, почти можно сказать, субъективным образом, но во взаимоотношение жизни и литературы следует всмотраться внимательнее. Не доставляет ли нам еще много хлопот старое учение о том, что произведение искусства должно рассматриваться как продукт традиции, времени и среды? Не заставил ли нас метод, понимающий произведение искусства прежде всего, как симптом, и редко или никогда, как порыв — совершенно позабыть, что оно со своей стороны может иметь существенное влияние на формы жизни, на среду и время? Сторонники этой теории возразят мне, что духовные течения какого-нибудь времени находят свое выражение в великом произведении искусства в такой момент, когда они еще скрыты; и что они только посредством этого произведения искусства проникают в сознание толпы; так что мы, говоря о влиянии произведения искусства на жизнь, мыслим нечто относительное, имеем в виду нечто существовавшее и вне произведения искусства, что — если-бы последнее не появилось — проявилось бы в жизни каким-нибудь другим способом.

Я, со своей стороны, хотел бы на это возразить. Важно не только то, что духовные течения вообще находят себе выражение, но и то, как они проявляются здесь. Я охотно соглашаюсь с тем, что произведение искусства, которое хочет оказывать влияние, должно родиться из духовного движения — сознательно или бессознательно существующего в массе в момент его возникновения, и должно иметь с ним несколько общих свойств. Но я хотел бы прибавить, что то, как оно выражает эти общие свойства, форма в которой им изображается духовное движение, становится с своей стороны чрезвычайно важными для дальнейшего хода самой жизни. Когда появилась «Астрейя» д'Юрфе, некоторые круги общества серьезно начали играть в пастушеские игры, не только во Франции, но и в Германии и в Италии. Когда Вертер поразил мир своим появлением, бесчисленные молодые люди стали одеваться в синий сюртук, желтый жилет и высокие сапоги с коричневыми отворотами. В это платье они, так сказать, одели и душу Вертера, подражая, иногда, даже его самоубийству. Без

труда можно доказать, что влечение к буколическому принадлежит к ясно заметным духовным движениям конца 16-го столетия, ссылаясь при этом на Гуарини и Тассо Монтемайора и Сервантеса; таким же точно образом можно выдвинуть черты сентиментализма, дэндизма и мировой скорби в 18-ом столетии. Но нельзя будет не признать, что, по крайней мере, форма, в которой данная черта проявляется в известное время в данной среде, занята у произведения искусства, и что эта форма становится обязательной для жизни. Обратите внимание на наше собственное время. Сколько молодежи в настоящее время как будто играет в Стриндберга и Достоевского, совершенно так же, как и отцы и деды играли, может быть, в Золя, Бальзака или Гюго. Но играли-ли только, и не устроили-ли они и самую жизнь свою по произведениям этих писателей? Стриндберг и Достоевский несомненно продукты своего времени, и своей среды, и они являются представителями известного духовного направления. Поэтому можно было бы сделать заключение, что их читатели, являющиеся хотя и в более слабой степени такими же продуктами тех же условий и представителями того же направления, только и делают, что наивно присоединяются к тем, кто оказался в состоянии все это выразить сильнее и с большим совершенством. Однако, чувствуется, что этим дело не исчерпывается. Если Стриндберг и Достоевский и не создали выражаемых ими направлений, то своими драмами и романами они во всяком случае много способствовали тому, что они были усвоены другими; и вместе с тем они литературным путем, посредством художественного образа, установили те формы, в которых мы сейчас наблюдаем эти направления в жизни.

Сделаем теперь дальнейший шаг и перейдем от отдельных произведений и форм искусства, которые кажутся связанными с отдельными личностями, к общим формам, которые мы могли бы назвать литературными родами или видами. Мы увидим здесь нечто совершенно подобное. Вы можете спокойно утверждать, что поэзия миннезингеров есть следствие общественных и эротических отношений определенного перио-

да, но будьте уверены, что эти отношения — там где вы их встречаете — возникли в значительной степени из «миннезанга». Вы можете сказать, что происхождение героического эпоса связано с определенным героическим настроением умов; но я бы мог вам назвать ряд эпох — как в древности, так и в позднейшее время, — когда духовное настроение натягивалось на колодку героической поэзии и оформлялось в зависимости от нее. Роман несомненно представляет из себя форму особенно подходящую к типу жизни 19-го столетия, и отсюда можно до некоторой степени объяснить частое появление этого литературного рода в те времена. Но, с другой стороны, бесчисленное множество людей 19-го столетия отчеканивали свой жизненный стиль по роману и — сознательно или бессознательно — переживали свою жизнь, как роман.

Это только немногие примеры. Но из них очевидно, что нельзя рассматривать литературу только, как продукт. Они доказывают, что мы должны признать за нею в то же время значение фактора, дающего форму жизни, и поставить ее в связь с тем, что мы могли бы назвать метафизикой формы.

Если искусство относится к культуре — а у нас, с нашей точки зрения, нет причин в этом сомневаться — то виды литературы, а также и отдельные литературные произведения являются культурными формами. А потому они и как всякие другие культурные формы, в каких бы областях они ни возникали, обладают ценным характером, самобытностью и неприкосновенностью; они развиваются по своему и, благодаря своей общеобязательности, они оказывают влияние на прочее развитие жизни и образованности. То, что должно иметь всеобщее значение, необходимо должно быть обязательно для отдельного человека. Мы находим это всюду — в языке так же, как в игре или в области закона. Если бы каждый мог приписать слову иное значение, оно перестало бы быть понятным; приказ, который можно оставлять без внимания, правило игры, от которого каждый может отказаться, теряет характер закона, и, если в шахматной игре ладья станет делать

ход коня, то игра пропала. Поэтому наше отношение к формам скорее пассивно, чем активно. Субъективное участие каждого члена общества в деле возникновения форм чувствуется гораздо менее, чем объективное влияние этих последних как на всех в совокупности, так и на каждого отдельного человека. Мы только отчасти сознаем ту ответственность, которую мы несем как части целого за возникновение и дальнейшее существование какой нибудь формы. Факт, что только все общество в целом, — а не одна часть его, — в состоянии создать формы, приводит к тому, что каждый смотрит на нес, как на нечто вне его стоящее. Он добровольно помогает ей продлить существование или покоряется ей, скрепя сердце, но, во всяком случае, он подчиняется ее влиянию. О сопротивлении форме речь может идти только тогда, когда индивидуум сознает, что у него нет с ней больше ничего общего, и охотнее согласится стать вне общества, чем продолжать нести за нее ответственность. Успех этой оппозиции опять таки будет зависеть от того, найдет ли этот исключительный человек достаточно приверженцев, чтобы образовать новую общность, в которой могли бы возникнуть новые формы.

Итак культурные формы, называемые нами литературными видами, в общем представляют собою явления, отражающие известные действия, связывающие и потому влияющие на образованность и жизнь данной эпохи. Вследствие этого каждое отдельное произведение искусства есть всякий раз такое явление, которое дает духовному течению известного времени и определенной среды литературную форму с помощью средств данного вида и потому остается таким-же связывающим и полным значения для жизни и образованности. Можно при желании перевернуть этот тезис и сказать, что литература, которая не приобрела влияния на жизнь, либо не возникла из общности, и потому для нее непонятна, либо не сумела найти подходящей формы и потому может не быть отнесена к области искусства.

III.

Вы скажете — это все одна только теория. Да, но она необходима в наше время, когда так охотно представляют себе поэта в виде божественного гончара Тот'а, сидящего за своим неземным гончарным кругом и вертящего человечков по своему усмотрению. Разве нет в ней, в этой теории, горькой необходимости, когда мы вспомним о Байроне, у которого искусство и жизнь в своем взаимодействии переплелись в таком причудливом беспорядке?

Мы называем Байрона поэтом не в том слишком распространенном смысле, что он человек, часть своей жизни или всю жизнь писавший красивые стихи, или, если это ему не удавалось, по крайней мере пытавшийся это делать. Мы называем его так в гораздо высшем, по нашему мнению, смысле — как человека, сумевшего дать духовному течению литературную форму, которая по своей обязательности приобрела очень большое влияние на среду своего времени, на жизнь и на образованность.

Но озадачивает то, что среда и время или, скажем, современники Байрона, так сильно чувствовали обязательность этой формы и победную уверенность, с которой она была найдена, и так ясно ощущали ее влияние на свою жизнь, что они непосредственно после этого стали толковать в этом смысле и жизнь самого поэта. Все знали с уверенностью, что в творчестве Байрона данное духовное направление приобрело раз навсегда неприкосновенное выражение, которое теперь в свою очередь принудительно влияло на духовное развитие эпохи; а потому и Байрона не могли себе иначе представлять, как наиболее ярким воплощением в жизни того, чему послужили выражением Гяур, Корсар, Лара и Манфред. Приверженцы и противники поэта разделяли этот взгляд, и чем сильнее было убеждение в неизбежности влияния этой формы на ход жизни, с тем большей уверенностью она применялась к самому поэту.

Доказательства? У нас их большой выбор, но мы можем удовольствоваться одним.

Гете между 1810 и 1820 гг. все более и более отворачивается от немецкого романтизма, — и тем как будто отрекается от некоторой части своего собственного прошлого. Но в то же время он признает, что форма, в которой это явление выражается в Англии, ценнее того, что совершается в его собственной стране. Он признает значение Байроновского творчества и радуется тому, что он находит у Байрона, связь с его собственной юностью. Ту линию, которая ведет от Вертера и Фауста к Чайльд-Гарольду и позднейшим героям Байрона, он видел лучше, чем кто-либо другой. Поэтому он многократно в устных и письменных суждениях о Байроне превозносит английский романтизм, которым он восхищается, перед немецким, от которого он отворачивается. Никто, конечно, не станет утверждать, что Веймарскому мудрецу недоставало способности к различению или к пониманию эволюционных процессов в области литературы. Однако, и у Гете царит не менее, чем у других, то же самое своеобразное смешение искусства и личности.

Он считает, что Манфред возник под влиянием Фауста: «этот своеобразный остроумный поэт воспринял в себя моего Фауста». И дальше: «Итак, мы находим в этой трагедии положительно квинт-эссенцию настроений и страстей замечательнейшего, на собственную муку родившегося, таланта». И, наконец, лично о Байроне:

«Как молодой, смелый, в высшей степени привлекательный человек, он добился склонности одной флорентийской дамы; муж открывает это и убивает свою жену. Но и убийцу также в ту же ночь находят на улице мертвым, причем однако обстоятельства таковы, что никого заподозрить нельзя. Лорд Байрон удаляется из Флоренции и всю жизнь влачит за собою эти привидения».

Перед нами тут настоящий образец рассказов, какие ходили про Байрона, как они воспринимались не только мечтательными подростками или злоречивыми старыми девами, но одним из сильнейших и яснейших умов своего времени, человеком также мало падким до сплетен, как и до преувели-

чений романтизма. По счастливой случайности — и это возвращает всей истории ее естественную окраску — нам известно и то, как Байрон сам думал о «двойном убийстве во Флоренции». Он тогда еще не читал критики Гете, но слышал о ней со стороны и пишет с тем спокойным смехом, с каким он говорит обо всем, что в мозгу его современников принимало подобные размеры:

«Откуда у тебя Гетевская история флорентийского убийства супругов? На подобные вещи я могу вообще возразить лишь словами Beau Clincher'a (лицо из комедии XVI века), отвечающего жене Eorand'a, когда та ему говорить: «несчастный, он умертвил моего бедного Тимофея». Clincher: «К черту твоего Тимофея. Я говорю: твой муж убил меня — он унес мое воскресное платье».

Он мог бы еще прибавить: так рождаются на свет сказки; но — сказки имеют для нас совсем особенное значение.

В новейшей истории мы не знаем другого лица, относительно которого чувство современников так непосредственно и неуклонно, как относительно Байрона, вычеркнуло бы действительность, чтобы заменить или заслонить ее вымыслом, казавшимся ему, т. е. чувству, нужным.

Начиная с известного утра после появления Чайльд-Гарольда, о котором сам Байрон пишет: «Я проснулся и увидел, что я знаменит» — до его смерти при Миссолунги было два Байрона: один, который писал стихи, и другой, которого конструируют из его стихов; один, который сумел отлить в твердую форму известное духовное течение, и другой, на которого это самое течение смотрело, как на живой образец; один, который в действительности путешествовал по Европе и на итальянском берегу предал сожжению тело Шелли; который стал любовником графини Гвиччиоли и снарядил экспедицию для освобождения Греции; и другой — в котором современники все это видели не так, как оно было в действительности, а всегда через фата-моргана, в фантастически искривленном зеркале; один, который дал романтизму поэтическую жизнь, и другой — в котором для мира воплотилась романтика.

Задача биографа от этого не становится приятнее. Но у Байрона и нет биографа; и если вы лишний раз захотите убедиться, каких незначительных результатов достигает биография, опирающаяся только на факты, вы не можете выбрать лучшего момента, как день его смерти. Здесь дело обстоит также, как с Карлом Великим. Вы можете по документам и историческим данным построить образ исторического императора Карла, но получите результат неверный, потому что император выйдет весьма мало похожим на героя Песни о Роланде и других героических поэм. Вы можете воспроизвести его образ из героического эпоса, но тогда историк пожмет плечами и выразит на лице недоумение. И все-таки хороший биограф должен, делая одно, не оставлять из виду другого. В центре всегда будет стоять то, что можно вкратце называть деяниями или подвигами, и вы увидите, что эти деяния представляют нечто в роде двуликой головы Януса с одним лицом, обращенным к исторической действительности, и другим — обращенным к поэзии; одно смотрит на Эйнгарда и Алкуина, а другое — на двенадцать поэтов. То же самое у Байрона. В центре стоит, если хотите, Манфред; двулико смотрит он: на поэта, знакомого нам по письмам и сообщениям, где он сам дает нам самого себя, и одновременно — на поэтическую переработку того же поэта, созданную современниками.

И все-таки, между ними обоими имеется связь. Поэтическая переработка, создавшаяся на основании того, что выражено в стихах, может быть объяснена из действительности. Она, т. е. переработка доказывает, что сухое жизнеописание разрешает задачу не вполне, и что этим путем мы не достигнем цели. Все три в совокупности — поэт, его творения и то, что из поэта создали современники, дадут нам возможность понять мощь явления и укажут дорогу к уяснению сложного соотношения общественности, форм и индивидуума.

Д-р Г. Вернер

О С Н О В Ы СОВРЕМЕННОГО УЧЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

Явление, называемое «наследственностью», большинство людей принимает за нечто столь само собою понятное, что даже не дает себе труда задуматься над ним, а потому и не чувствует потребности добраться до причины этого удивительного явления. Все же — во все времена — являлись пытливые умы, которые не удовлетворялись установлением факта наследственности, а делали попытки проследить сущность, условия проявления и цель его.

В предыдущие столетия мысль исследователей, занимавшихся вопросами наследственности, вращалась почти исключительно в области предположений и более или менее смутных толкований. Представления их — несмотря на некоторые весьма остроумные наблюдения — были часто ошибочны, парадоксальны и фантастичны. В древности, собственно говоря, только один Аристотель сделал попытку подойти строго методически к вопросу о наследственности, но и то безрезультатно, так как тогда совершенно отсутствовали научные основания, необходимые для объяснения и научной разработки упомянутых вопросов. Средние века, с их совершенно иной постановкой вопросов мышления и исследования, тоже не достигли существенного успеха, хотя, например, понятие о «наследственном грехе», разработанное, главным образом, отцом церкви Августином, указывает на боль-

шую проникаемость ума. Правда, применение этого понятия в том смысле, как его понимали в то время, не совпадает с нашими современными представлениями. Оно было не более как философское понятие и потому не могло служить орудием в руках естествоиспытателя или рабочей гипотезой в общепринятом смысле. Здесь, как и везде, не хватало солидного научного основания, опираясь на которое можно было бы приступить к разрешению чрезвычайно важной и трудной проблемы.

Лишь новейшее время осуществило этот поворот в науке. Культурное развитие четырех последних столетий создало фундамент, на котором оказалось возможным строить науку о жизни в широком смысле этого слова — биологию. Эта наука еще молода, ей едва двести лет, и тем не менее ей посчастливилось сделать такие открытия, что она произвела полный переворот в нашем представлении о сущности жизни.

С исходом средних веков наступило время завоевания мира западной культурой, начавшееся смелыми путешествиями Колумба, Васко да Гама и др. Освобождение мировоззрения от оков мистики и суеверия, гуманизм, эпоха возрождения и реформация, расцвет торговли, техники, индустрии и науки, — вот причины, вновь приведшие человека к усиленному изучению природы. Ему пришлось глубже задуматься над миром организмов и над самим собой, как частью вселенной. Первые шаги на пути роста науки и сущности жизни мы встречаем в XVII-ом веке. Таким образом, начало современного биологического исследования мы должны отнести на двести лет назад. Тогда началась (достаточно упомянуть имя Линнея) кропотливая работа классификации. Старались установить, сколько различных видов растений и животных населяют землю, чтобы раньше всего, хотя бы до некоторой степени, привести в известность и систематически охватить весь невероятно многообразный материал. К концу XVIII-го века, наряду с этим чисто описательным методом, намечаются новые течения в исследовании природы. Все отчетливей выступающая иерархия органического

мира — подразделение его на более или менее далеко стоящие друг от друга группы — привело к потребности сравнить главные типы. Так возникла под руководством Кювье сравнительная морфология, — учение о типических сходствах организмов, а наряду с ней сравнительная физиология — учение о соотношении между строением и функциями отдельных органов, о их взаимной обусловленности и координированном взаимодействии. С этими двумя учениями неразрывно связано третье: история развития или эмбриология — наука об изменениях, которые претерпевает живое существо от яйца до взрослого состояния. Но вскоре руководящая роль перешла к четвертой отрасли — теории эволюции.

Теория эволюции пытается связать основные выводы названных трех наук и привести их в родословно-историческую систему. То, что занимавшимся сравнительной анатомией, описанием животных и растений и т. д. представлялось сходством, имеет гораздо более глубокий смысл: сходство есть ни что иное, как родство. Подразделения мира организмов — родословное дерево, живой отпечаток исторического хода возникновения организмов. К совершенно тем же выводам привела и эмбриология: она тоже наглядно показала, что каждый организм постепенно развивается от простейших до сложнейших форм и проделывая этот путь запечатлевает родословно-исторический процесс. Человек в этом отношении не составляет исключения: он такое же живое существо, как все другие, и потому подчиняется неизбежным, вечным законам природы.

Теория эволюции почти исключительно владела умами биологов второй половины прошлого столетия. Причиной этого была гениальная идея Дарвина и его знаменитого немецкого толкователя Геккеля. Они полагали, что, создав учение о происхождении организмов «путем естественного подбора или подбора в борьбе за существование», они нашли краеугольный камень всей органической жизни природы. В этой борьбе за существование они видели великого созидającego руководи-

теля. Несмотря на значительность и несомненность этого учения, которое обыкновенно называют «дарвинизмом», все же оно не смогло дать ответа на самые животрепещущие вопросы. Главную роль в теории Дарвина играет момент подбора, понятие почерпнутое им из богатого опыта сельских хозяев, бессознательно производивших опыты по наследственности. Но все же этот момент подбора — не более, как проницательная идейная оценка эмпирического положения. Одной Дарвиновской теории недостаточно для причинного обоснования важной проблемы образования видов, так как естественный подбор может происходить только там, где есть из чего выбирать. А это значит: глубоко в организмах должно быть скрыто нечто такое, что позволяет им реагировать в смысле изменчивости на влияния извне раньше, чем начнет действовать в борьбе за существование естественный подбор. Этот слабейший пункт Дарвиновского учения скоро был замечен, и от современной биологии ответвились две новые науки, поставившие себе вопрос о причине этого явления. Эти науки, механика развития, созданная недавно скончавшимся немецким ученым Ру, и экспериментальное учение о наследственности.

Исследования обеих этих наук направлены на самую основную причину: при помощи точных, чисто индуктивных методов стараются проследить и объяснить возникновение и жизнь организмов, пользуясь главным образом экспериментом. Вспомним, что в других науках, как, например, в физике, химии, физиологии, эксперимент уже давно играет выдающуюся, вернее, главную роль. Отличаются друг от друга механика развития и экспериментальное учение о наследственности самой постановкой своих задач. Первая занята открытием законов развития отдельных организмов и установлением причинной связи между последовательными процессами развития. Вторая же старается экспериментально установить сущность и механизм процессов, обуславливающих повторение отличительных признаков родителей их потомством. Так как передача признаков связана с зародышевыми клетками, то

именно в них оно ищет вещественные основания этого явления. Несмотря на различие между механикой развития и учением о наследственности в методике и постановке вопроса, цель у них одна: оба хотят объяснить самые сокровенные явления, происходящие в живой материи. Необходимо еще добавить к сказанному об учении о наследственности, что значение его далеко переросло рамки поставленных им себе научных задач. Не ограничиваясь разрешением чисто биологических проблем, оно оказывает влияние на многие вопросы практической и общественной жизни. Учение о наследственности играет в настоящее время при разведении растений и животных значительную, часто решающую роль и, таким образом, является неотъемлемым подспорьем научно поставленного сельского хозяйства. Также, если не еще больше, касается оно многих вопросов человеческой жизни. Со дня на день оно приобретает все большее влияние на наши представления о расовом составе человечества и на такие важные для будущего человеческого рода области исследований, как изучение семейств, расовая гигиена, евгеника и др. Таким образом, учение о наследственности становится важным, неотъемлемым фактором общественной жизни и блага народа. Выводы современного учения о наследственности, приложенные к человеку, открывают врачу богатый источник биологических знаний. Врач, который благороднейшей своей задачей должен считать не лечение, а предупреждение болезней, не может уже обойтись без науки, основы которой так близко касаются вопросов здоровья народа, а следовательно и его будущности.

Обратимся теперь к самой сути интересующей нас темы. Раньше всего необходимо сказать, что современное исследование наследственности идет двумя путями к разрешению своих проблем. Первый путь — это микроскопическая анатомия. Исходным пунктом этих исследований послужила ее самая молодая ветвь — исследование клетки. При

помощи современной техники микроскопии стараются проникнуть в мельчайшие процессы живой материи, особенно в процессы совершающиеся перед, во время и после оплодотворения. В ничтожно малом и, тем не менее, столь могучем материале стараются выискать вещественное основание явления наследственности, выделить в зародышевых клетках те частички, с которыми связано это явление. Второй путь — это опыты скрещивания, результаты которых оказались весьма плодотворными для выяснения вопросов наследственности. Под скрещиванием или производством помесей мы понимаем спаривание двух различных видов или рас животных или растений, внешние признаки которых достаточно ясно отличаются друг от друга. Рассматривая затем полученное таким способом потомство (помесную породу или гибриды), на основании его своеобразного вида и числовых отношений выступающих признаков, делают обратные заключения о закономерности явлений наследственности.

Теперь, чтобы подойти к первому способу исследований, вспомним, что всякий организм (исключая одноклеточных или простейших) составлен из огромного количества мельчайших кирпичиков, из ничтожных отдельных частичек, которые по их виду под микроскопом называют «клетками». И несмотря на это, всякий организм, насчитывающий во взрослом состоянии хотя бы миллиарды клеток, первоначально происходит из одной единственной яичной клетки; из нее, после ее оплодотворения, постепенно образуется новый организм путем последовательных делений и специализации возникших частей. Оплодотворение яичной клетки (женского элемента) производится одной единственной мужской семенной клеткой. У большинства живых существ (исключение составляют лишь немногие живо-рождающие) оплодотворенное яйцо прорывает совершенно независимо от отца и матери весь процесс развития, результатом которого является новый организм, сходный с родителями. Отсюда ясно, что способность унаследования наперед заложена в оплодотворенном яйце. В учении о наследственности принято выражение:

оплодотворенное яйцо уже содержит в себе все наследственные задатки («гены»).

Оскар Гертвиг, приблизительно 45 лет тому назад, первый точно изучил оплодотворение яйца морского ежа, которое, благодаря своей прозрачности, особенно приспособлено для наблюдения. Он установил, что семенное тельце, снабженное нитевидным хвостом или жгутиком, отыскивает яичную клетку, проникает в нее через определенно обозначаемое место (Mikropyle), которое тотчас вслед за этим замыкается; затем оно приближается к ядру женской клетки и сливается с ним. Это оплодотворение происходит совершенно независимо от отца и матери, прямо в море. Далее тоже не устанавливается никакой связи между развивающимся зародышем и родителями, и тем не менее получается новый организм, обладающий всеми свойствами отца и матери. Разве это не убедительнейшее доказательство того, что в двух зародышевых клетках или гаметах, от слияния которых происходит новое живое существо, уже дремлют все потенции, все силы его будущего образа. Не вдаваясь здесь в подробности, заметим, что сказанное относится также и к сравнительно небольшому числу животных, самка которых принимает на себя длительную заботу высиживания, и даже к млекопитающим, у которых молодой зародыш прорывает свое первоначальное развитие в тесной питающей связи с материнским телом. Мы здесь определенно подчеркиваем, что при вынашивании роль матери сводится исключительно к питанию эмбриона: он при этом не получает нового материала, обуславливающего наследственность. Это нам станет вполне ясным из дальнейшего, когда мы услышим, что, при спаривании различных видов млекопитающих, происходящие от них помеси постоянно наследуют равное число внешних признаков от отца и от матери.

Часто возражают против верности изложенного положения, что значение женского элемента потому должно превышать значение мужского элемента, что яйцо обладает гораздо большей массой, чем ничтожно малая семенная нить. Действительно, яйцо обыкновенно во много раз больше семенной

клетки: вспомним хотя бы об огромной величине некоторых птичьих яиц. И, тем не менее, это ничего не меняет в том факте, что, при нормальных условиях, содержащаяся в оплодотворенном яйце масса, обуславливающая наследственность, получена им поровну от отца и от матери, так как невероятная часто величина яйцевой клетки объясняется скоплением в нем желтка, питательного материала, который затем, при развитии яйца, идет на питание зародыша.

Все эти выводы, однако, показались недостаточно убедительными критически настроенным исследователям. Они пошли дальше и, не удовлетворяясь наблюдением оплодотворения, пытались глубже проникнуть в сокровенные явления жизни зародышевых клеток. При этом они дошли до самых основных знаний о размножении, получивших руководящее значение во всем дальнейшем исследовании наследственности.

Можно считать общеизвестным, что всякая живая клетка состоит из двух важных составных частей: студенистой плазмы и так называемого ядра, которые легко отличить друг от друга. А именно, если окрасить клетку определенными железосодержащими красками, то ядро, особенно его характерная часть — хроматин, сильно окрашивается, плазма же окрашивается слабее. Наоборот, плазма более чувствительна к анилиновым краскам, которые почти не окрашивают ядра. Таким образом, пользуясь микроскопической техникой, легко постоянно отличать оба вещества. Путем опытов удалось доказать, что из этих двух основных частей клетки, важнейшим элементом является ядро. Если разрезать одноклеточное простейшее животное, например, амёбу, на две части так, чтобы ядро было в одной части, то только эта часть, содержащая ядро, остается живой, другая же умирает. Отсюда можно заключить, что ядро является носителем всех жизненных функций клетки. Оно же играет главную роль при размножении, а следовательно и в наследственности. Возьмем снова пример из царства простейших. Когда такое существо приступает к размножению, то сперва делится ядро на две или больше равных частей, — этому предшествуют сложные

процессы, затем каждая из частей обволакивается некоторым количеством плазмы и только тогда животное распадается на части по числу вновь образовавшихся ядер. Вот другой пример, характеризующий условия полового размножения. При оплодотворении яйца морского ежа можно видеть, что количество плазмы, которое приносит с собой семенная нить, совсем ничтожно, но головка ее, содержащая ядро, сливается с ядром яйцевой клетки, и только после этого начинается дальнейшее развитие этой клетки.

Все это с несомненной ясностью показывает, что наследование признаков зависит исключительно или почти исключительно от сил, скрытых в ядрах зародышевых клеток. Но и эти важные выводы не удовлетворили современных исследователей. Удивительные явления, которые происходят в ядрах зародышевых клеток при их созревании, побудили еще тщательней рассмотреть ту вещественную основу, которая является носителем наследственных задатков. Не следует забывать, что речь идет здесь о мельчайших частичках, стоящих почти на границе видимости под микроскопом даже при самых сильных увеличениях. Тем не менее, уже упомянутое свойство этих частичек окрашиваться железосодержащими красками дает возможность их изучить точнее. В известное время жизни клетки, а именно, когда она собирается делиться, вещество ядра принимает форму тесмы, петель или палочек с утолщениями на концах. Эти тельца называют хромосомами, и по нашему современному представлению именно они являются исключительными или, из осторожности скажем, главнейшими носителями наследственных задатков. Они заключают в себе тот материал или, по крайней мере, те силы, которые дают зародышу возможность развиваться в организм, схожий с родителями. Особенно ясно это станет из следующих соображений. Перед делением клетки происходит ли это деление по причине роста, размножения или по какой нибудь иной причине — хроматин ядра располагается в виде хромозом. Число этих последних постоянно для каждого вида животных и растений. Человек имеет 48 хромо-

зом, укусуная муха (*Drosophila*), классический объект современных исследований наследственности, имеет их 4; форель — 12; виноградная улитка и огненная саламандра — по 24, т. е. половину числа хромозом человека; один вид морских ежей — 32, другой — 36; рак *Artemia* — 84; один вид бабочек *Biston* — 102. Существуют формы с 1000 и более хромозом. Можно убедиться, — и это не только в приведенных, но и в других примерах, — что число хромозом четное. При делении клетки каждая хромосома расщепляется в длину, так что число хромозом каждой клетки всегда остается одним и тем же.

Но действительно первенствующее значение приобретают эти хромозомы при созревании зародышевых клеток. В этом случае хроматиновое вещество, после сложных приготовлений, останавливается на которых подробнее здесь невозможно, сокращается наполовину, т. е. половина хромозом выбрасывается, вследствие чего всякая зрелая яйцевая или семенная клетка содержит лишь половинное число хромозом. При соединении двух зародышевых клеток во время оплодотворения, снова достигается их нормальное число путем сложения материнских и отцовских хромозом. Таким образом, выходит, что всякая оплодотворенная яйцевая клетка получает или наследует красящегося вещества ядра (хромозом) поровну от отца (семенная клетка) и матери (неоплодотворенная яйцевая клетка). Так как кроме того каждой хромозоме яйцевой клетки соответствует хромосома семенной клетки, то они образуют пары*). И при дальнейшем развитии яйца, которое обыкновенно непосредственно следует за оплодотворением и состоит в непрерывно повторяющемся делении, эти пары хромозом вполне сохраняют свою самостоятельность или индивидуальность.

*) Часто насчитывают лишнюю хромозому, которая, по видимому, играет важную роль в наследовании пола. Не стоит останавливаться на этом факте, так как он не вносит никакого существенного изменения в наши представления и даже наоборот является сильным аргументом в пользу учения, считающего хромозомы носителями наследственности.

Чтобы дополнить и закончить данный нами схематический очерк вещественных основ наследственности, прибавим, что за последнее время повидимому нашли еще тельца в клеточной плазме, так называемые плазмозомы, которые тоже, может быть, играют некоторую роль в наследственности. Но знания наши об этих клеточных частичках еще ничтожны, в то время как все касающееся хромозом вполне ясно. Поведение хромозом так убедительно и исчерпывающе объясняет весь процесс наследственности, что несомненно именно им принадлежит главная роль в этом процессе, значение же плазмозом не более как подчиненное, параллельное.

Второй путь, которым шли к разрешению проблем наследственности, это опыты со скрещиванием. Выше было сказано, что следует понимать под этими опытами. Поэтому, бросив краткий взгляд на историю развития этой области исследований, обратимся непосредственно к богатым результатам, достигнутым производством помесей.

С тех пор, как человек держит домашних животных, т. е. с глубоко доисторических времен, отделенных от нас десятками тысячелетий, и систематически занимается обработкой полей, (что наступило значительно позже), — он стремится увеличить плодородность своих полей и извлечь возможно большую пользу от своих домашних животных. Поэтому не удивительно, что уже первобытный человек делал попытки скрещивать различные виды домашних животных и культивируемых растений. При этом он скоро должен был заметить, что скрещивание удается тем лучше, чем ближе друг к другу скрещиваемые породы, и чем больше сходство между ними. Человек делал попытки производить помеси раньше, чем научился получать новые расы путем искусственного подбора. При первых же попытках он установил, что невозможно скрещивание рогатого скота с лошастью, собаки с кошкой, курицы с уткой — уже просто потому, что разница в строении половых органов родителей разных видов животных исключает возможность их спаривания, а также между ними нет взаимной склонности, необходимой для спаривания.

Прибавим между прочим, что и современные попытки искусственного оплодотворения остались в данных случаях безрезультатными. Наоборот комбинации более родственных животных или растений вполне возможны и многократно производились. Несомненно самой древней формой искусственной помеси является скрещивание лошади с ослом. Можно с уверенностью сказать, что эти скрещивания производились уже за 2000 лет до нашего летоисчисления, впервые — в северной части передне-азиатского культурного мира. По словам Эдуарда Гана, разведение мулов возникло почти автоматически, когда народы с лошадьми пришли в области, где ослы держались в качестве домашних животных. Заметим, что помесь жеребца с ослицей называется мулом, а помесь осла с кобылой — лошаком. Мы уже сразу здесь наталкиваемся на отличное подтверждение тех представлений, которые мы получили, когда рассматривали материальные основы наследственности. Помеси этих двух взаимно обратных скрещиваний, мула и лошака, так похожи друг на друга, — оба соединяют в себе признаки двух одинаковых, лишь по полу различных родителей, — что обыкновенно, если не знаешь родителей, невозможно решить, имеешь ли перед собой мула или лошака. Производством этой помеси и в настоящее время занимаются почти все народы за исключением тех, которые по религиозным убеждениям избегают их как «нечистые». С древних времен находят, что мулы и лошаки соединяют в себе преимущества обоих своих родителей, но конечно и их недостатки. Что же касается их противоположных признаков, то полученная помесь занимает некоторое среднее положение. Достаточно обратить внимание на уши, которые длиннее, чем у лошади, но короче, чем у осла.

К сожалению мулы и лошаки не годятся для производства над ними дальнейших опытов, касающихся наследственности, потому что помеси этого рода почти всегда бесплодны, и нельзя по прямой линии получить новую помесь: помеси с помесью. Правда, иногда удавались обратные скрещивания: помеси с лошадей или с ослом, но эти случаи так редки и так мало

научно исследованы, что не приводят к дальнейшим выводам. От этого недостатка, стерильности помесей, страдает все исследование наследственности, основанное на производстве видовых помесей. Все же недавно Мейзенхеймер достиг известного успеха, правда на другом материале. Приведем хотя бы этот единственный пример. Скоро будут опубликованы его исследования над бабочками рода *Biston*. Некоторые виды этих бабочек, а именно *Biston pomonarius* и *Biston hirtarius* лучше всего подошли для экспериментов такого рода уже потому, что жизнь этих животных продолжается всего пол года, а кроме того только часть полученной помеси оказывается стерильной, что дает возможность производить обратные скрещивания с исходными видами. Наконец, разница между обоими видами чрезвычайно велика, так что получаемая картина весьма ясна. Эти различия особенно ярко выступают у самок. Самка *B. hirtarius* имеет нормальные крылья, самка же *B. pomonar.* наоборот имеет неразвитые крылья. При скрещивании обоих видов в двух противоположных направлениях, при обеих комбинациях, получают помесных самок с половинными крыльями, по величине занимающими некоторое среднее положение, т. е. в принципе тот же результат, что с длиной ушей у мулов и лошаков. Но далее эти опыты приобретают особенное значение, так как путем систематически примененного метода, удалось обратно скрещивать эти средние виды помесей с представителями исходных видов. При этом получился результат чрезвычайной важности, а именно: скрещивание *B. pomonarius* (с неразвитыми крыльями) с средней помесью дало женское потомство, с крыльями в четверть нормальной величины, а скрещивание чистокровных *hirtarius* (с нормальными крыльями) с той же помесью дало женское поколение с крыльями в $\frac{3}{4}$ нормальной величины. Таким образом снова получился средний, совершенно новый тип. Эти потомки второго поколения, лучше сказать потомки, полученные обратным скрещиванием, выявляют невероятный беспорядок противоположных признаков своих обеих исходных форм. Это в особенности относится к их половым органам,

которые беспорядочно соединяют в себе мужские и женские признаки обоих основных видов. Животные этого поколения в высшей степени двуполы и потому стерильны или, по крайней мере, не приспособлены к спариванию. Нам станет понятна причина этого явления, если, вспомнив предыдущее, мы узнаем, что один из этих двух видов имеет 102 хромозомы, а другой только 28. Поэтому при соединении двух гетерогенных зародышевых клеток, получается сильное нарушение комбинаций хромозом. Федерлей сумел это непосредственно доказать на помесях других бабочек (на вечерних бабочках). Здесь опять нарушение комбинаций хромозом выражается во внешнем виде помесей, в котором замечается бесполое смешение признаков. Это тоже может служить примером того, какое большое значение имеют хромозомы, как носители наследственности или наследственных задатков.

Хорошо известны некоторые другие видовые помеси вроде только что рассмотренных помесей осла с лошастью и помесей между названными видами бабочек. Среди живущих на свободе животных встречаются их только чисто случайно, во первых, потому что они почти всегда бесплодны, а потому не могут передать свой средний характер многочисленному потомству, а, во вторых, потому что условия местности и времени почти исключают такое добровольное скрещивание. Среди такого рода помесей видное место занимает нередко встречающаяся в России помесь тетерева-бerezняка с полевым глухарем. Но мы до сих пор не можем с уверенностью сказать, существуют ли действительно леопориды, свободно живущая помесь дикого кролика с полевым зайцем. Да и в самом деле, каким образом могут войти в соприкосновение, благоприятствующее смешению, дикий кролик, живущий в мрачных норах предпочтительно в лесу, и полевой заяц, живущий под открытым небом на полях. Зато такие видовые помеси встречаются гораздо чаще среди домашних животных и культурных растений; можно также привести много примеров спаривания различных видов животных, живущих на свободе, под руководством человека и ради эксперимента. Но при этом,

как уже было сказано, получаются результаты недостаточные для исследования вопроса наследственности, а потому нам достаточно лишь вкратце упомянуть здесь о них.

О домашних животных прибавим, что из млекопитающих, наряду со скрещиванием лошади с ослом, успешно производились скрещивания одnogорбого дромадера с двугорбым верблюдом. Среди домашней птицы чаще встречаются подобные случаи, но и они имеют безусловно более научное, чем практическое значение. Здесь в первую голову следует назвать помеси павы с индюком, петуха из породы цесарок с индейкой, павлина с домашней курицей и т. д. Упомянем еще многочисленные помеси фазана с различными видами уток, часто дающие замечательные комбинации красок. Среди культурных растений можно привести не меньше случаев видо-вых скрещиваний, и они тоже имеют небольшое значение с хозяйственной точки зрения. Принципиально они, конечно, соответствуют подобным же случаям у животных. Интересны случаи некоторых разнородных садовых и оранжерейных растений: выращивание новых гибридов орхидей прямо таки обратилось в спорт, потому что эти новые искусственные создания, сочетающие в себе красоту двух цветков, действительно велико-лепны.

С научной точки зрения большее значение имеют искусственные скрещивания среди самых различных групп млекопитающих. В зоологических садах нередко встречаются помеси индийского цебубула с европейской коровой, индийского тигра с африканской львицей, жеребца или осла с зеброй и т. д., или те же помеси в обратном порядке. Такие же эксперименты производились над большим количеством животных, стоящих на более низкой ступени развития. Достаточно сказать, что удачно скрещивали многочисленные виды птиц, рыб, насекомых, морских ежей и т. д., и что при этом, как и во всех прочих подобных случаях, помеси имели смешанные признаки своих родителей. На этом закончим разбор первого вида наследственности, так наз. среднего типа, который можно считать почти общим для видовых помесей, но

который также встретится и при другого рода скрещиваниях, как мы сейчас увидим.

Второй тип наследственности, так наз. «мозаичный» тип, имеет мало значения, потому что он очень редко встречается и к тому же может быть рассмотрен, как частный вид среднего типа. В этом случае нет тесного смешения противоположных родительских признаков, и они грубо выступают: внешний вид животного представляет из себя правильную мозаику отцовских и материнских признаков. Яркие представители этого типа встречаются между помесями некоторых крупных пород, например помесь белого петуха *Leghorn-Bantam* с черной курицей *Cochin-Bantam* имеет оперение, напоминающее шахматную доску.

Третий и последний тип наследственности — это случай «доминирующих признаков». Он приобретает огромное значение для наших представлений о наследственности, благодаря роли, которую он играет в тех экспериментах скрещиваний, разбор которых мы теперь займемся. Весь комплекс этих опытов объединяют названием «альтернативная наследственность» или «наследственный тип Менделя». Последнее название дали этому случаю в честь Георга Менделя, Августинского патера в Брюнне, который 60 лет тому назад открыл этот случай и многочисленными опытами над скрещиванием различных пород гороха дошел до анализа закономерного хода наследственности. В то время внимание биологов было поглощено другими вопросами, и это большое открытие было скоро забыто. Только в 1900 году и при этом в трех различных местах, совершенно независимо друг от друга (какое удивительное совпадение!) снова были открыты эти важные законы Корренсом, де Фрисом и фон Веттштейном.

Этот тип Менделя или альтернативный тип проявляется в действительно ясной и единообразной форме только в многочисленных расовых помесях. Если мы скрестим между собой два чудоцвета (*Mirabilis jalappa*) одного вида, но различных рас — первый с красными, а второй с белыми цветами, —

то в первой нисходящей линии (C_1) мы получим только розовые цветы, т. е. получим индивидов среднего типа. Так как расовые помеси, в противоположность видовым помесям, не стерильны, то легко удастся скрещивание этих розовых средних форм как между собою, так и с их родоначальными формами. Но нас не мало удивит появление в этом втором поколении (или короче в C_2), наряду со средним розовым типом, цветов и темно-красных и белых. В таких случаях говорят, что окраска цветка расщепилась. Если же точно подсчитать распределение этих трех окрасок — красной, розовой и белой, — то получается удивительное отношение: 50% розовых на 25% красных и на 25% белых, или 2 : 1 : 1, т. е. отношение, которого следовало ожидать на основании теории вероятности.

Спросят, что имеют между собой общего теория вероятности и наука о наследственности? Однако, на это не трудно ответить, если признать хромозомы за носителей наследственных признаков. Если мы примем, что всякий наследственный задаток, или, как говорят, всякий ген той или иной пары противоположных (*allelomorph*) наследственных признаков содержится в паре хромозом в виде вещественных частей, то при процессах созревания хромозомового аппарата зародышевой клетки (гамет) — принимая во внимание самостоятельность этих частей ядра — должно произойти разделение наследственных задатков в зародышевой клетке, при чем одна половина будет содержать задатки белого, а другая — красного цвета. Далее, при оплодотворении, происходит свободная комбинация хромозом (гамет), а тем самым и задатков (ген). Мыслимы четыре возможности. Все четыре имеют одинаковые шансы, или одинаковую вероятность на осуществление: красный цвет с красным, красный с белым, белый с белым и белый с красным. Но третья и четвертая из этих возможностей дают обе розовый цвет, так что мы имеем два раза розовый, один раз красный и один раз белый цвет.

Обратные скрещивания происходят здесь по такой же схеме, только с той разницей, что при свободной комбинации

ген имеем здесь другие четыре случая вероятности. Напр., если мы скрещиваем растение с красными цветами с растением с розовыми цветами (последнее = красный + белый), то вновь имеем четыре возможности: красный с красным, красный с белым, белый с красным и красный с красным, что означает, что из поколения, полученного обратным скрещиванием (ОС), половина будет иметь красные, а половина розовые цветы. Этому вполне соответствуют данные, полученные опытным путем: отношение красного к розовому равняется 1 : 1.

Этот опыт скрещивания показывает, что хотя первое поколение дает средний тип, но этот тип не чистый, не «генотип», как говорит исследователь наследственности, но содержит в своем зародышевом веществе вполне разделенными задатки обоих родителей разных рас, — это «фенотип». Таким образом, при дальнейшем скрещивании этих помесей должно проявиться, по законам вероятности, расщепление, а именно в том смысле, что во втором поколении получаются по 25% чистого (гомоциготного) типа обоих исходных форм, а наряду с ними 50% не чистого (гетероциготного) помесного типа (закон расщепления!).

Расовые скрещивания сравнительно редко дают средний тип, гораздо же чаще получается тип доминирующих признаков. Этот тип вносит значительные осложнения в столь ясные до сих пор отношения. При нем мы наталкиваемся на удивительный факт, что не все пары признаков обладают одинаковой силой. Поэтому скрещивание не приводит к среднему типу, а один из признаков «выступает», лучше сказать, доминирует над другими. Выясним это опять таки на примере. — При скрещивании желтой садовой улитки с красной улиткой того же вида (*Tachea nemoralis*) получаем в первом поколении исключительно красных животных. Т. е. это скрещивание не приводит нас в S_1 к видимому смешению признаков, а наоборот один признак покрывает другой, является доминирующим. Но несмотря на это другой признак вовсе не исчез: он скрыт, находится в латентном состоянии в зароды-

шевом веществе: желтая краска здесь подавлена, покрыта (она рецессивна). Если мы будем продолжать спаривать между собою этих помесных красных улиток, то в S_2 наряду с красными улитками получим снова и желтых улиток. А если мы подсчитаем, то установим, что на каждые три красные улитки приходится по одной желтой. Полученные таким образом желтые улитки, при дальнейшем скрещивании, постоянно будут производить только желтых улиток. Наоборот, наблюдая красных животных, мы увидим, что при скрещивании их между собой, только $\frac{1}{3}$ из них будет постоянно производить красных животных, остальные же $\frac{2}{3}$ продолжают подчиняться закону расщепления.

Если мы точнее проанализируем этот менделевский случай наследственности, то получим следующую картину. При скрещивании красной улитки с желтой получается, правда, внешне, в качестве фенотипа снова красная. Зато гаметы и здесь опять не чистого типа, они гетероциготны и содержат в себе смесь наследственных задатков красных и желтых. Если далее при комбинации во время оплодотворения красный падает на красный, то уже следующие поколения будут чисто красными, гомоциготными. Также, если желтый падает на желтый, возникает и может далее размножаться чистый, гомоциготный, желтый род. Красный на желтый (равно желтый на красный) дают обязательно формы наружно красные, но которые продолжают расщепляться со всеми вытекающими отсюда наследственными явлениями и далее снова дают отношение: 3 красных : 1 желтый. (Правило доминирования).

Этот тип наследственности (тип доминирующих признаков) чрезвычайно широко распространен. Мы наталкиваемся на него почти при всех расовых скрещиваниях. Но не во всех случаях отношения так ясны и очевидны, как в нашем последнем примере, где вопрос касается лишь одной пары противоположных (allelomorph) признаков, а именно различия красок. Большинство рас напротив того отличаются друг от друга многими признаками. Назовем процесс наследственно-

сти случая улиток с красной и желтой раковинами однократным смещением (моногибридностью), а при скрещивании между собой рас с двумя, тремя или многими противоположными признаками будем говорить о двойном, тройном или многократном смещении, о ди — три — или полигибридности. Можно привести многочисленные примеры подобных случаев. Мы возьмем опять лишь один пример, снова касающийся пород садовых улиток. Не входя в подробности, скажем только, что скрещивание красной полосатой улитки с желтой неполосатой постоянно дает потомство красное и неполосатое, т. е. красный и неполосатый являются доминирующими признаками, а наоборот желтый и полосатый рецессивными признаками. Но в S_2 появляется здесь пестрая смесь разнообразнейших форм, которые тем не менее опять находятся между собой в постоянном, вполне отвечающем теории вероятности, отношении: 9 красных неполосатых, 3 красных полосатых, 3 желтых неполосатых и 1 желтая полосатая. И в данном случае вопрос ясно разрешается анализом наследственности. При свободной комбинации ген, гаметы смешиваются следуя математическим законам и (в связи с законом доминирования) получаются четыре типа, которые между собой находятся в отношении $9 : 3 : 3 : 1$. Из них только желтый полосатый (дважды рецессивный) является чистым гомоготным типом, все другие, за исключением одного из 9 красных неполосатых (дважды доминирующий) — наоборот гетероготны, а потому продолжают расщепляться во всех дальнейших процессах наследственности.

Вопрос еще более усложняется, когда зараз происходит смещение 3 и 4 пар признаков. Уже при 3 парах возможны 64 комбинации гамет и в S_2 появляются 8 различных типов, и именно в отношении $27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1$. При 4 парах соответствующая цифра комбинаций 256 и, следовательно, типов 16; при 10 парах цифры доходят до миллионов. Но насколько мы до сих пор знаем, законы Менделя постоянно остаются в силе, хотя иногда трудно бывает их проследить. Наряду с этим неукоснительно действует закономерность в

том, что каждая пара признаков, совершенно независимо от других, подчиняется законам Менделя. Далее часто встречается, что на одну пару признаков приходится считать не одну пару ген, а две, три или много. Это сильно затрудняет работу по скрещиванию, потому что приходится наблюдать невероятно большое количество экземпляров, чтобы получать данные, хотя бы приблизительной точности. Дальнейшее затруднение заключается в том, что определенные сочетания гамет часто бывает не жизнеспособны или столь слабого сложение, что умирают вскоре после рождения, и потому не могут быть приняты в расчет. Поэтому стали прибегать к разным теоретическим способам, вводили факторы смерти, препятствий и т. д., чтобы полученные данные подвести под правила Менделя. Присоединяться к этому методу пока следует с осторожностью. Так как иногда случается, что в процессах наследования вдруг выступают образования совершенно нового вида, например, при наследовании нашими куриными породами формы гребня, вдруг появляется как доминирующий признак гребень так называемой формы грецкого ореха, то ухватились за теорию отсутствия признаков в настоящее время. Действительно, при помощи этой теории можно случай с наследованием гребня подвести под Менделевскую схему. Но мы не можем здесь подробнее останавливаться на этих скорее теоретических основаниях исследования наследственности.

Современные исследования, а именно исследования американских ученых (Ф. Н. Моргана и его школы) познакомили нас также с некоторыми дальнейшими отступлениями от нормального менделевского процесса наследственности. На более подробный разбор их требует таких основательных предварительных знаний, что мы можем только упомянуть о результатах этих исследований. Так, например, открыты явления «спаривания» признаков наследственности с «половым ограничением» и т. д., и за последнее время — возможность обмена признаков («crossing-over»).

Между прочим, нет закономерности в том, какие признаки доминирующие и какие рецессивные. Даже самые основные

признаки, встречающиеся у диких форм, не являются обязательно доминирующими и наоборот. Чтобы ограничиться одним примером, упомянем, что зубчатая форма гребня домашней курицы, которая характерна также и для дикой индийской основной формы, не доминирующая, как следовало ожидать, а как раз наоборот рецессивна. Это весьма значительное явление.

Следует еще кратко остановиться на тех наследственных признаках у человека, которые более или менее ясно подчинены окраске доминирует над голубой, другими словами, наследование окраски глаз. Если она исходит от чистой генотипической коричневой окраски ириса (радужной оболочки) и такой же голубой, то ее в процессе наследования можно рассматривать как простую моногибридность. В таком случае коричневая окраска доминирует над голубой, другими словами наследование окраски точно следует той схеме, которую мы выше разбирали, говоря о скрещивании красных и желтых садовых улиток: в S_1 только коричневая, в S_2 коричневая и голубая в отношении 3 : 1. Также обстоит дело с характером волос. курчавые волосы (например волосы негров) доминируют над прямыми или прямыми волосами (европейцев).

Также некоторые болезни людей наследуются по законам Менделя. Так, например, наверно можно сказать, что чешуйчатый лишай (psoriasis), ночная слепота (hemeralopie), катаракт и некоторые формы диабета. — все наследуются как доминирующий признак. Наоборот эпилепсия и глухонмота по счастью являются рецессивными признаками.

Таким образом, если эпилептик женится на здоровой женщине, их потомство в первом поколении постоянно бывает здоровым; однако оно только кажется вполне здоровым, потому что эпилепсия не является доминирующим признаком; но каждый член этого потомства имеет в зародышевой плазме, в качестве скрытого признака, рецессивный наследственный задаток эпилепсии. Двое людей с такой наследственностью имеют в своем потомстве — по теории вероятности — 25% больных детей и 75% здоровых; но из этих последних только 25%

вполне здоровы, а 50% снова с дремлющими задатками болезни, т. е. в этом поколении следует ожидать эпилептических детей. Из этого примера видно, какое огромное значение приобретает наука о наследственности для народного здоровья и народного оздоровления. Поэтому за последнее время стараются, главным образом в Америке, применять на практике по отношению к биологии населения результаты, добытые теорией наследственности, т. е. занимаются «евгеникой».

Во всяком случае результаты, к которым приводит современное учение о наследственности, так велики, что всякий образованный человек не может ими не интересоваться. Доктора же, социологи, криминалисты и т. д. обязаны подробно с ними знакомиться, чтобы действительно отвечать требованиям, налагаемым в настоящее время этими званиями на человека.

А. Ульви
ЧУДО В НАУКЕ

Перевод с французского

Слово чудо делит человечество на две части: тех, которые его признают, и тех, которые его отрицают. Как часто бывает в спорах подобного рода, пропасть, разделяющая противоположные воззрения, кажется непреодолимой. Я хотел бы показать, что точка зрения науки, которая намечается за последние годы, уменьшает антагонизм этих двух мировоззрений. Еще недавно, законы природы, установленные на основании опытов и наблюдений, имели в нашем представлении характер непреложности, не допускавшей никаких отклонений; ни один научно мыслящий человек не мог предположить, что действие их может быть нарушено по какой-нибудь причине. Но современная наука, углубляясь в изучение природы, пришла к иному пониманию ее законов: большинство законов экспериментальных наук понимаются нами теперь не как «истины необходимые», а как «истины статистические». Сказать, что ежегодно рождается столько же женщин, сколько и мужчин, это значит — провозгласить закон, т. е. факт, постоянно повторяющийся при наблюдениях, производимых в течение больших промежутков времени в густо населенной стране. Но факт этот является результатом сложного комплекса элементарных явлений, каждое из которых зависит от множества неизвестных причин, обозначаемых нами словом «случай». Нет ничего невозможного в том, что когданибудь

все эти причины сойдутся в одном направлении и дадут значительное, или даже исключительное преобладание одного из полов. Подобное явление, если бы оно произошло в такой большой стране, как Франция, показалось бы нам, однако, чудом, т. е. как бы отступлением от твердо установленного закона природы. Между тем, далеко не будучи абсурдом с точки зрения науки, оно было бы в порядке вещей, и можно сказать, с некоторым преувеличением, что было бы чудом, если бы не случилось чудес.

Такова точка зрения, которую я, без всякой задней мысли, позволяю себе изложить читателю. Каждый выведет из нее те следствия, которые он считает подходящими, и весьма вероятно, что эти выводы будут отличаться друг от друга, в зависимости от темперамента или воспитания; ибо и наш ум, как и все остальное, подчиняется закону больших чисел, и было бы чудом, если бы мы все были одного мнения.

* * *

Мысль, что материя не заполняет пространство сплошь, а состоит из отдельных частичек, имеющих очень быстрое движение, была сначала только соблазнительной гипотезой, на которой философы и математики изощряли свое остроумие. Ныне она стала неоспоримой истиной, основанной на внимательном изучении броуновского движения, на синтезе молекул Перрэнна, наконец на изучении радиоактивных явлений; не сложные умозаключения убеждают нас теперь в существовании атомов, а непосредственные наблюдения; и на превосходной выставке, которую было ознаменовано пятидесятилетие французского Физического Общества, публике была продемонстрирована машина для счета атомов гелия, где каждый атом, проходивший через узкое отверстие, вызывал нарушение электрического равновесия и соответствовавший ему шум в телефонной трубке. Вес атомов можно определить с точностью до пятого десятичного знака, и с меньшей точностью производится измерение размеров атомов и их средней скорости. Анализ же их движений, обуславливающий физические и хими-

ческие явления, производится с успехом, который превосходит все ожидания. Припомним на примере столь же простом, сколь и возможном, важнейшие данные атомистики; они позволят нам оценить степень точности законов природы.

Возьмем кубический миллиметр азота, или атмосферного воздуха, главной составной частью которого является азот. Этот объем величиною с булавочную головку содержит, при нормальных условиях температуры и давления, 29 квадриллионов отдельных молекул — больше чем могло бы уместиться песчинок в кубе, сторона которого имела бы длину в 200 метров. А между тем эти частички азота далеко не касаются друг друга, так как разделяющее их расстояние в шестьсот раз больше их диаметра; последняя цифра ясно указывает на необычайно малые размеры молекул. Но эти данные представляют лишь средние величины, по той причине, что молекулы находятся в непрерывном движении. Число последних в одном кубическом миллиметре газа — как население города — не постоянно, а приблизительно уравнивается уходящими и вновь поступающими молекулами. То же самое можно сказать и о средней скорости движения молекул: она равняется 454 метрам в секунду; но это не значит, что частички материи совершают этот путь в одну секунду по прямому направлению, так как каждая из них 120 000 раз в секунду сталкивается с другими частичками, или со стенкою, и вынуждена изменять свой путь; вследствие всех этих столкновений, действительная скорость молекул изменяется так же часто, как и направление их движения; таким образом, средние значения, которые я только что привел, — лишь наиболее частые или наиболее вероятные; действительные же значения колеблются вокруг них, следуя весьма общему закону, высказанному в свое время Гауссом. С этим «законом отклонений» следовало бы познакомить читателя, и хотя точная его формулировка возможна только при помощи математики, все же и путем примеров можно наметить главные его выводы. Возьмем как простейший пример тот же закон рождаемости. На 800 000 ежегодных рождений (я округляю цифры) считают в среднем

400 000 мальчиков и 400 000 девочек; но при внимательном изучении статистических данных, оказывается, что почти столь же часто бывает 399 000 или 401 000 мальчиков, несколько реже 398 000 и 402 000 и гораздо реже 390 000 и 410 000. Действительные цифры симметрично группируются вокруг некоторой средней величины, которая наиболее вероятна; чем больше отклонение от этой средней величины, тем реже оно встречается. Не угодно ли рассмотреть, например, крайний случай, когда в течение года рождаются только мальчики: в деревне с сотнею жителей, насчитывающей два рождения в год, это явление не было бы редкостью, потому что там оно должно повторяться, в среднем, каждые 4 года; в селении в 500 душ оно произошло бы только раз в тысячу лет; в городке же с 1000 жителей — только раз в миллион лет. Этот закон быстро возрастающей прогрессии показывает, что если бы такое исключительное распределение рождений случилось в таком городе как Париж, то с полным основанием можно было бы говорить о чуде. Но что значат те числа, которые я взял для примера, по сравнению с квадриллионами и квинтиллионами молекул, которые кишат в самом ничтожном объеме вещества едва доступном нашему восприятию? Вот почему законы природы, применимые на практике только к бесконечно большому числу молекул, никогда не дают исключений; но это не значит, что исключения абсолютно невозможны.

Рассмотрим, например, маленькую бумажку величиною в квадратный миллиметр, плоско падающую в спокойном воздухе, и припишем ей вес в десятую долю миллиграмма. Ее падение совершается не только под влиянием ее веса, но и под влиянием тех толчков, которые производят на нее со всех сторон молекулы газа. Нормально, каждая поверхность должна была бы получать в секунду 2 квинтиллиона толчков, противоположное действие которых уравнивалось бы; но так как бумажка падает, то ее нижняя поверхность встречает большее число молекул и с большей скоростью, чем верхняя поверхность, и потому падение в воздухе совершается медленнее чем в пустоте. Между тем, оно все таки совершается, и мы его

наблюдаем каждый раз, когда производим опыт. Но предположите, что в какую-нибудь секунду нижняя поверхность случайно получит на 20 триллионов ударов больше, чем верхняя: этого избытка было бы достаточно для того, чтобы уничтожить вес бумажки, и мы увидели бы, что она повисла в воздухе. Но это явление могло бы осуществиться, в среднем, раз в 30 000 лет; что же было бы, если бы мы захотели сделать подобное же наблюдение с полоскою свинца? И что нужно было бы подумать о тех людях, которые возымели бы надежду, увидеть внезапно приподнявшийся и неподвижно повисший на воздухе роуль?

Приведенные рассуждения доказывают нам две вещи: во первых, в виду огромности чисел, имеющих место в кинетической теории материи, исключения из законов природы теряют всякий практический интерес; эти законы сохраняют все свое значение, и мы можем с полной уверенностью опираться на них. Но нам кажется также, что мгновенное отклонение от этих законов не абсолютно невозможно, и не может быть отвергнуто а priori во имя науки. С этою точкою зрения, которая ничего не меняет в практической реальности, мы еще встретимся на следующих страницах.

* *
*

Если существует истина, признанная наукой, то это невозможность вечного движения, или, выражаясь точнее, работы, полученной даром; не существует и не может существовать механической системы, которая производила бы больше работы, чем сама потребляет. Академия Наук отказалась входить в рассмотрение сообщений относящихся к *perpetuum mobile*, и можно думать, что это постановление принято ею не легкомысленно. Но этот принцип, справедливый для машин, которые мы умеем строить, и для работ, поддающихся нашим измерениям, не был бы обязательным для существ бесконечных малых, размеры которых были бы сравнимы с размерами атомов. Если существуют разумные бактерии, то весьма ве-

роятно, что вера в невозможность вечного движения для них не есть научный догмат. Глубокий и ясновидящий ум Максвелла (Maxwell) сделал этот вывод очевидным и облек его в юмористическую форму, свойственную англо-саксонскому гению.

Предположим, говорит он нам, что два сосуда наполнены воздухом, или каким либо иным газом, и соединены очень узким отверстием, которое может быть открыто или закрыто движением клапана. Когда клапан открыт, молекулы газа циркулируют из одного сосуда в другой, следуя закону случайности, т. е. так, что, в среднем, в том и другом направлении проходит одинаковое число молекул; тем самым газовое давление поддерживается постоянным и одинаковым в обоих сосудах.

Но вообразите себе, что очень ловкое существо, «дух» Максвелла, быстро двигая клапаном, пропускает молекулы в одном направлении и преграждает им дорогу в другом. Мало по малу, один из сосудов наполнится газом, другой же опустеет. Без затраты работы (потому что открывание и закрывание клапана происходило без затраты энергии) создастся разность давлений, которую можно использовать для механической работы, и совершенно бесплатно.

Конечно, с меньшим остроумием можно заметить, что дух Максвелла, как некогда кобыла Роланда, обладает всеми качествами, кроме реального существования; и что на практике все же остается невозможность интегрирования атомических движений, чтобы извлечь из них энергию, которою можно было бы пользоваться. Но последнее не представляется нашему уму, как истина фундаментальная и первостепенная, и не безумна мысль о том, что человечество найдет еще способ для использования этой энергии атомов.

Замечу тут же, что рассуждение аналогичное рассуждению Максвелла, можно провести по отношению к отрицательным электронам, которые в телах проводящих электричество, движутся во всех направлениях, так же, как молекулы газа. Две соприкасающиеся медные пластинки находятся в состоя-

нии одинакового электрического напряжения или потенциала, потому что блуждающие электроны принимают состояние известного статистического равновесия, являющегося результатом компенсации всех их некоординированных движений. Но ничего нет невозможного в том, что в один прекрасный день игра этих комбинаций произведет нарушение электрического равновесия между двумя пластинками путем аккумуляции электронов на одной из них. И так как это научное чудо, по всей вероятности, заставит себя долго ждать, можно вообразить клапан, который способен влиять на прохождение электронов, и управляющего его движениями духа, — родственника предшествующего, который пропускает атомы отрицательного электричества только в одном направлении. Тем самым, будет осуществлен постоянный и даровой электрический ток. Таким образом, законы электрического равновесия в свете современных теорий теряют свой обязательный характер, и потому отклонение от этих законов не означало бы научного скандала.

* *
*

Следствия из этого нового воззрения распространяются и в других направлениях. В 1824 году Сади Карно, сын знаменитого члена Конвента, с гениальной интуицией провозгласил принцип, который, — освященный прогрессом целого столетия — превратился в один из главных камней научного фундамента. По принципу Карно, каждая машина, превращающая теплоту в работу, должна работать между горячим и холодным источником, — т. е. другими словами, что разность температур так же необходима для термической машины, как разность уровней для гидравлической. Правда, никакое прямое доказательство не может быть приведено в пользу этого утверждения, потому что характерная особенность принципа и заключается именно в его «недоказуемости», т. е. в невозможности вывести его из более понятной истины.

Принцип Карно удовлетворял до сих пор всем требованиям экспериментальной науки; но это не помешало Максвеллу и

Гиббсу сомневаться в том, что он оказался бы применимым в бесконечно малом мире атомов. Чтобы обосновать это ограничение ясным примером, нальем в стеклянный цилиндр концентрированный раствор медного купороса, прекрасный синий цвет которого известен каждому; поверх этого раствора осторожно нальем чистой воды, избегая смешения жидкостей; опыт производится в помещении, защищенном от всяких температурных колебаний, каковы, например, глубокие подвалы Парижской Обсерватории. По истечении года, исследуем снова наши жидкости: мы установим, что медный купорос не остался в нижней части сосуда, но что он распространился по всей высоте жидкого столба; это хорошо известное явление диффузии. Какое бы объяснение ему ни давали, один факт остается несомненным, — это то, что медный купорос был поднят, т. е. что совершена была механическая работа, без того, чтобы могла быть обнаружена малейшая разница в температуре. И вот, — принцип Карно поколеблен. Значит ли это, что его нужно отложить в сторону, как одну из тех провизорных истин, которые превзойдены опытом? Физики не идут так далеко; они удовлетворяются тем, что низводят его на степень «статистической истины», применимой к термическим машинам, сооружаемым людьми, и не применимой к молекулярной механике. Если рассматривать вселенную умственным взором при таком увеличении, что мельчайшие ее частицы принимают индивидуальное существование, то становится заметным, что и температура есть нечто иное, как некоторое среднее обозначение, и что полное равенство или постоянство температур никогда не осуществимо. В газобразной среде, например, температура находится в соответствии со скоростью движения молекул и возрастает вместе с нею, следуя простому и хорошо известному закону. У азота, служившего нам примером, эта скорость составляет 454 метра в секунду при нуле, возрастая при 100° до 531 метра в секунду. В жидких и твердых телах изменение совершается в том же смысле, следуя более сложному закону. Но мы видим, что каждая молекула имеет свою собственную скорость,

меняющуюся тысячи раз в секунду в этой сложной игре молекулярных столкновений; средняя скорость движения молекул имеет постольку же реальный смысл, как и средний возраст или средний рост жителей какой-нибудь страны. Нам нужно привыкнуть к мысли, что внутри твердой или жидкой массы, также как и газообразной, не существует строго определенной температуры, но что там от точки к точке и от момента к моменту создаются температурные разности, зависящие от колебаний скорости молекул. Когда в нашем опыте молекула медного купороса поднималась вследствие диффузии, скорость ее уменьшалась, подобно скорости камня, брошенного вверх, против силы тяжести; следствием этого являлось понижение ее температуры, и можно сказать, что работа ее поднятия была результатом переходящей и местной разницы температур.

Этот вопрос был подвергнут вычислению Эйнштейном, который оценивает возможные колебания температуры приблизительно в тысячную долю градуса, а объемы, в которых они могли бы быть наблюдаемы, если бы мы обладали достаточно чувствительными измерительными приборами, — в миллионную долю кубического миллиметра. Но есть люди, которые предпочитают хорошее наблюдение самым мудрым расчетам, и к их удовольствию может быть замечено, что действие этих температурных колебаний проявляется в явлении флуктуаций, которое наблюдалось Смолуховским. Известно, что для каждой жидкости существует так называемая «критическая температура» или «температура полного испарения», при которой жидкость и ее пар имеют одинаковую плотность. Так, жидкая углекислота превращается без остатка в пар, как только ее температура поднимается выше 31° ; по соседству с этой предельной температурой, жидкость и получающийся из нее газ так мало отличаются друг от друга, что достаточно самого ничтожного колебания температуры, чтобы вызвать оживление или испарение. Случайные изменения, обусловленные волнением молекул, способны произвести перемены состояния внутри жидкой массы; от этого происходит нарушение однородности, которое становится заметным нашему глазу, благо-

даря помутнению жидкости, или характерной опалесценции; таким образом, явление, видимое невооруженным глазом, возмещает о пертурбации внутри вещества, вызванной волнением молекул.

Итак, в то время, как один из руководящих принципов науки опускается на степень статистической и лишь вероятной истины, температура нам кажется некоторым средним состоянием, которое не исключает, а даже требует местных и временных колебаний; но эти случаи будут тем менее вероятны, чем больше они отклоняются от средней величины. Логически рассуждая, не исключена такая возможность, что одна из точек холодного тела внезапно нагреется до температуры белого каления, или, наоборот, что можно будет коснуться раскаленного предмета, не получив ожога. Но при попытках численно определить возможность такого научного чуда, мы сталкиваемся с бесконечно малыми числами такого порядка, что они должны привести в отчаяние тех, которые надеялись бы стать свидетелями подобных явлений. У них в миллионы раз больше шансов разделить порошки разных цветов, встряхивая стеклянку, в которой они смешаны, или увидеть, как в бутылке чернил все красящие молекулы отделяются от раствора.

* *
*

Этот разбор некоторых физических законов, к которому можно было бы прибавить все радиоактивные явления, возвращает нас ко взглядам греческой философии, считавшей, что мир управляется случаем. Можно задуматься над тем, привлечем ли вывод отдельной науки вне пределов этой науки. Но нельзя считать, что физика и ее законы заключены в стены физических лабораторий; они управляют всем материальным миром, и даже миром одушевленным. Мы построены из тех же атомов, из которых состоит окружающий нас воздух и камни мостовой, и те же молекулярные столкновения проис-

ходят и в теле живых существ. Эти столкновения подчинены законам больших чисел, и те состояния и формы, которые появляются чаще всего, соответствуют и наибольшей вероятности. Опыт доказывает, что они не строго определены, но что совершаются флуктуации, т. е. колебания небольшой амплитуды вокруг известного типа или среднего состояния. Таким образом индивидуумы отклоняются в большей или меньшей степени от нормального типа, который образует «вид», и математический закон Гаусса связывает воедино те из этих отклонений, которые поддаются измерению, столь же точному как и колебания, совершающиеся в газообразной среде; и здесь от времени до времени могут появляться аномалии и уродливые формы. По этому новейшему воззрению, уроды не являются исключениями, которые противоречат общему закону; они необходимые формы, потому что появление карликов и великанов неизбежно, но оно тем реже, чем больше рост их отклоняется от средней величины, которая соответствует наибольшей вероятности.

Итак, весь мир, как живой так и мертвый, представляется нам построенным по одному типу, который физика сумела анализировать, и подчиняется одним и тем же глубочайшим законам. Впрочем, статистические законы были открыты в биологических и социологических явлениях тогда, когда о применении их к миру атомов не было еще и речи. Все эти явления допускают исключения, по стольку более редкие, по скольку рассматриваемое явление сильнее отклоняется от своей нормальной формы. Эти исключения одновременно кажутся нам и неизбежными и непредвидимыми; но мы не умеем их предвидеть только потому, что ограниченность нашего разума и близорукость нашей науки не позволяют нам распутать сложное сплетение действующих причин. Мы походим на дикарей, которым кажется чудесным умение белых предсказывать солнечное затмение; и можно себе представить, что существа более одаренные, чем мы, или вооруженные познаниями, которых нам не хватает, были бы в состоянии предсказывать и эти исключительные явления.

Я не буду настаивать дольше на этих предположениях, которые выходят за пределы позитивной науки. Но мне кажется, что из всего предыдущего можно вывести заключение, что решительные отрицания известного научного догматизма не соответствуют уже состоянию наших знаний. Законы природы не составляют больше непреодолимых преград; они допускают, и даже призывают исключения; они вычеркнули из своего словаря слово «невозможно», заменив его словом «невероятно». Впрочем, науку не интересует вопрос, какую пользу можно будет извлечь из этой перемены; подобно тому, как она остается безразличной в суждениях о добре и зле, она не вмешивается ни в споры различных школ, ни в конфликты совести. Она лишь нащупывает ту частицу истины, которая доступна нашим органам чувств и нашему разуму, и которая, быть может, составляет только часть Правды.

Проф. К. Войле,

директор Лейпцигского этнографического музея

ЭТНОГРАФИЯ В ГЕРМАНИИ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Перевод с рукописи

В этнографии больше, чем в какой-либо иной науке имеет значение сочетание «полевой» работы, т. е. работы по собиранию материала и наблюдений на местах, с работой кабинетной: последняя может тогда лишь развиваться на прочном фундаменте, если «полевая» работа снабжает ее неоспоримым материалом.

В средней и восточной Европе понятие полевой работы совпадает, в общем, с термином этнографии, а понятие кабинетной работы с термином этнологии. По сравнению с общим английским выражением — *anthropology*, это дифференцирование является несомненным шагом вперед, так как резко выделяет из слишком неопределенной по своему содержанию «науки о человеке» более элементарную описательную этнографию и высшую сравнительную или общую этнологию, при чем антропология этим самым сводится к понятию физической антропологии. С другой стороны, новейшие течения, особенно немецкой этнографии, выяснили, что понятие об этнографии совсем не так элементарно и просто, как считалось до сих пор. Его понимали как нечто, связанное лишь с настоящим моментом; говорили: этнография это — точное определение культурного состояния народа в данное

время. Такое ограничение во времени теперь уже неприемлемо; главным образом, под влиянием учения Фридриха Ратцеля об исторической глубине человечества начали изучать культуру народов, углубляясь в их прошлое, при чем стремятся получить точный разрез ее наслоений. Эту новую научную отрасль можно назвать исторической этнографией. Мы вернемся к ней в дальнейшем изложении.

1. ВРЕМЯ ДО ВОЙНЫ

Этнография начинает развиваться в Германии со времени появления в 1858—1872 г. г. шеститомного труда «Антропология первобытных народов», начатого Теодором Вайтцем и доведенного до конца Георгом Герландом. Этот труд имеет мало общего с антропологией, как ее понимают теперь; он является скорее несравненной для того времени и не утратившей до сих пор своего значения этнографией первобытных народов Африки, Америки, Индонезии, Австралии и Океании. Лишь первый том его посвящен вопросам общего характера, преимущественно тем, которые касаются единства человечества и его первобытного состояния.

Во время появления Вайтцевской антропологии возникают два движения, которые получили большое значение для развития этнографии в Германии. Одно — это выступление немецкого народа на мировую арену, его коммерческое проникновение во все моря, а затем и прочная колониальная политика в Африке и Океании; другое движение, чисто научное, возбужденное Адольфом Бастианом, сводится к подчеркиванию важности этнографических наблюдений и собирания материала среди первобытных народов, пока еще не поздно.

Не случаен тот факт, что именно в немецких торговых кругах оба движения впервые претворяются в дело. Задолго до других, крупный торговый дом Цезаря Годефруа в Гамбурге стал заниматься не только торговлей в Океании, но также и собиранием этнографического материала наряду с естественно-научным; одновременно он посылает туда специали-

стов-исследователей и публикует их наблюдения. Слава, которой пользовался гамбургский музей Годеффруа в 1870 и 1880-ых годах, была вполне заслужена. После внезапного крушения этого старого торгового дома, и музей его был, к сожалению, разбит на несколько частей. Большая из них перешла в лейпцигский этнографический музей. Дивные старинные материалы относящиеся к эпохе, когда Океания была еще абсолютно незатронута европейской псевдокультурой, являются и ныне несравненной по своей ценности частью музея даже среди прочих, сильно разросшихся за это время коллекций его.

Музеи

Десятилетия от 1870 приблизительно, до 1900 г. можно вообще назвать эпохой этнографических музеев, не уменьшая этим ценности более абстрактной части этнографии. Говоря об этих музеях, нельзя не упомянуть имени Адольфа Бастиана. Этот замечательный человек родился в 1826 году в Бремене. Медик по призванию, он в 1851 г., сейчас после окончания университета, отправился в путешествие, которое в течение 8 лет привело его почти во все части земного шара. Он вернулся в том же году, когда появилась книга Чарльза Дарвина о происхождении видов, и, как этот труд лег в основу новой биологии, так с полным правом можно назвать тот же 1859 г. началом новой этнографии.

Дело в том, что и Бастиан тоже открыл новые перспективы. Подобно тому, как Дарвину во время кругосветного путешествия бросилось в глаза физическое варьирование видов, Бастиан установил единство, общее в духовных предрасположениях человечества. Он начал публиковать результаты своих наблюдений немедленно после возвращения из путешествия, но его теория (географических провинций и т. д.) является яснее лишь позже, на основании целого ряда дальнейших путешествий и многочисленных публикаций. Вполне понятно и ясно она, впрочем, никогда не была изложена Ба-

стианом — его манера писать, особенно позднейшая, слишком витиевата и запутана, — и никому из многочисленных последователей его, пытавшихся сделать это, попытка не удалась.

Но тем ярче выступают заслуги Бастиана в конкретной этнографии, поскольку она представлена в музеях. Зародыши таковых имелись в Европе издавна и во многих местах, особенно в виде так называемых кунсткамер различных князей. Это были собрания всего, что казалось в последние столетия замечательным и достойным сохранения; коллекции редкостей, как мы бы теперь сказали. В Берлине они восходят до Великого Курфюрста (1640—1688), дальновидность которого вывела политику страны за узкие границы его родины и привела к первому выступлению Пруссии-Германии на арену колониальной политики. Его попытка обосноваться на побережье Верхней Гвинеи свелась, к сожалению, к короткому эпизоду.

Бастиан, благодаря энергии, которую трудно было предположить в таком слабом и физически незрелом человеке, сделал с 1868 г. эту берлинскую кунсткамеру тем, чем она является ныне: поистине универсальным собранием предметов материальной культуры всех внеевропейских частей света и народов. Кто видел это построенное в 1880 г. здание в юго-западной части тогдашнего Берлина, тот знает, что устройство его оставляет желать очень многого; но, если лучшие времена позволят когда-либо сделать общедоступным весь инвентарь, то будет ясно, что работа собрания материала велась здесь в более значительных размерах и, главное, целесообразнее и систематичнее, чем даже у тех народов, которым история благоприятствовала вступить на целые столетия раньше в ряды колониальных держав.

С течением времени, следуя примеру Бастиана, и другие немецкие государства и даже города приступили к устройству этнографических музеев; некоторые, как гамбургский и лейпцигский музеи, восходят приблизительно к тому же времени, как и музей Бастиана; другие возникли лишь, как следствие немецкой колониальной политики начиная с 1884 г. В на-

стоящее время Германия насчитывает больше дюжины этнографических музеев, которыми заведуют и руководят специалисты, не считая многочисленных меньших коллекций даже в совсем маленьких городах, руководимых любителями. Из 15 больших музеев так же универсальны как берлинский, или стремятся к такой же универсальности, музеи в Лейпциге, Гамбурге, Штуттгарте, Дрездене, Франкфурте на Майне, Кельне, Мюнхене, между тем как музеи в Бремене, Любеке, Маннгейме, Гильдесгейме, Брауншвейге, Фрейбурге (Баденском) и Ганновере поставили себе более узкую цель, систематически развивая лишь определенные области. В общем, немецкие музеи содержат едва ли не больше этнографических ценностей, чем музеи какой-либо иной страны. О научном использовании этих ценностей, мы будем говорить ниже.

Общества

Рука об руку с устройством этнографических музеев идет основание обществ для изучения этнографии; они являются частью причиной, частью следствием устройства музеев. Первое по давности, количеству членов и научному значению, несомненно «Общество антропологии, этнологии и первобытной древности» в Берлине, основанное в 1869 году Рудольфом Вирховым, Адольфом Бастианом и друг. и стоящее до сих пор во главе этнографии в Германии. Другие подобные ему по своим целям, организации, образовались с течением времени и в других городах, как то в Мюнхене, Гамбурге, Лейпциге, Дрездене, Геттингене, Бонне и друг. Сборным пунктом их всех явилось, также основанное в 1870 г. Рудольфом Вирховым, «Немецкое общество антропологии, этнологии и доисторической археологии», заседания которого происходили до войны ежегодно и «орган» которого (Korrespondenzblatt) был в течение многих десятилетий главным рассадником этнографических идей в Германии.

Обществом, преследующим более практические реальные цели, является основанное в 1873 г. Адольфом Бастианом

«Немецкое общество для исследования экваториальной Африки» или, как оно потом называлось, «Африканское Общество». Оно не задавалось вначале никакими реальными целями, а посылало между 1873 и 1885 гг. целый ряд чисто научных исследователей как в западную, так и восточную Африку, как напр. Германа Висмана, Пауля Погге, Макса Бухнера и друг. Результатом этих работ в западной Африке явилась разведка Лоанды, через бассейн источников Кассай почти до Танганики и древнего государства Лунда, и очень хорошее знакомство с народностями побережья Лоанго; в восточной Африке — хорошее знакомство с народностями Ваниамвези и их соседей.

Путешествия

Со вступлением Германии в ряды колониальных держав в 1884 г., картина совершенно изменяется.

С 1884 до 1914 г. ведется дружная работа по изучению чужих стран и народов. Все круги принимали в ней участие: чиновники и офицеры, купцы и плантаторы, миссионеры и ученые — все они, если и не всегда умело, но все-же с бесконечной любовью отдавались ей.

Интенсивности исследований чужих народностей в немецких колониях способствует прежде всего и тяготение к путешествиям. Было бы совершенно невозможно даже в рамках большой статьи перечислить хотя бы значительнейших путешественников, их маршруты и добытые ими данные. Географическим результатом для немецких владений в восточной и юго-западной Африке, Того, Самоа, немецкой Микронезии и частей Меланезии, являются образцовые, доведенные до высокой степени точности съемки, а для Камеруна, немецкой Новой-Гвинеи и Архипелага Бисмарка — подготовка их. В первых из перечисленных колониальных областей — каждая тропинка, каждая деревушка, можно сказать, были картографически установлены. В этнографическом отношении результаты не были столь значительны; изучение самых народно-

стей сопряжено с слишком большими трудностями. Тем не менее, во всех африканских колониях основные очертания выяснились вполне, а относительно некоторых народностей и народных групп духовный облик и материальная культура были изучены очень подробно. Сравнение с соседними колониями англичан, французов, бельгийцев и португальцев несомненно было бы в пользу немцев.

Разделение Африки и Океании между современными колониальными державами ограничило в общем и географически-этнографические изыскания узко-национальными рамками. Теперь работают охотнее на пользу своей страны и своей науки, нежели чужой. Этой точки зрения голландцы и французы придерживаются издавна, а бельгийцы со времени основания господства Конго; англичане же следует ей лишь до известной степени, а немцы еще того менее. С тех пор как Александр фон Гумбольдт вступил на почву Южной и Средней Америки, эти области становятся для них как-бы родовой научной вотчиной, главным образом и в этнографическом отношении; а в особенности после двух экспедиций Карла фон Штейнена (в 1880 годах) в Шингу, мы встречаем целый ряд прекрасно подготовленных этнологов в стране первобытных народов Южной и Средней Америки. Известнейшими из них стали Кох-Гринберг, Макс Шмидт, Теодор Прейс и Карл Саппер, но большое значение имеют и другие.

Также и в Африке, Океании и Азии мы находим немецких этнографов, как Пассарге, Фробениуса, Шахтцабеля, герцога Адольфа Фридриха Мекленбургского, его спутников и многих других в английских, французских, бельгийских и португальских колониях; мы встречаем их в Голландской Индонезии, в Китае и других частях восточной и средней Азии; короче говоря, они не оставили своей прежней приверженности к научному исследованию, как таковому, независимо от политических целей.

С внешней стороны все эти начинания лишь в единичных случаях достигали размеров и размаха американских экспедиций; такое гигантское предприятие, как экспедиция Джи-

зёпа (Jesup Expedition), которая должна была заняться расовыми и культурными взаимоотношениями между северо-восточной Азией и северо-западной Америкой было бы невозможно в Германии, где условия совершенно иные. Сравнить с ними можно пожалуй, только экспедицию в Океанию, проведенную Гамбургским Научным Обществом в 1908-1910 г. при посредстве собственного судна и целого штаба ученых; и два больших путешествия по Африке вышеупомянутого герцога Адольфа Фридриха Мекленбургского в самое сердце экваториальной Африки и в области Нила и озера Чад. Для германских предприятий, характерны небольшие частные экспедиции, снаряженные отдельными личностями. Исследователь становится негром среди негров, индейцем среди краснокожих, канаком среди островитян южных морей. Это дает с одной стороны, совершенно неопределимую с научной точки зрения выгоду любовного проникновения в душу чужого народа, с другой стороны — возможность путешествовать дешево. С 1906 г. исследования в немецких колониях были так организованы, что состоящая при Имперском Колониальном ведомстве «Комиссия для изучения областей, находящихся под покровительством Германии» посылала в колонии ученых специалистов с тем или другим заданием за счет государства. Это были этнографы, географы, зоологи, ботаники и другие; каждая из таких экспедиций обходилась очень дешево и, несмотря на это, давала весьма ценные результаты.

Даже отдельные немецкие музеи снаряжали в последние годы перед войной экспедиции к особенно интересным народам. Обычно деятельность директора музея заключалась в том, что он разыскивал себе сотрудников и коллекционеров на местах, причем он или обращался к людям, интересующимся этнографией, или стремился заинтересовать их своими инструкциями; теперь же стали применять больший масштаб — отправлять в экспедиции специально подготовленных людей. Этот путь был, понятно, недоступен меньшим музеям, и даже большие, как берлинский, лейпцигский и гамбургский, нередко объединялись для достижения действительно

крупных целей; зато и результаты были в каждом отдельном случае вполне удовлетворительными.

Л и т е р а т у р а

Последним и важнейшим результатом каждой науки является литература, которую она создает. В нашей научной дисциплине она распадается на этнографическую или описательную и этнологическую или обобщающую. Последнее выражение слишком узко и не соответствует новому пониманию дела; я бы предложил заменить его словом «культурно-историческую», ибо конечная цель этнологии культурно-исторического характера, она ведь, в конце концов, стремится восстановить нисшие фазисы общечеловеческой культуры.

Между тем как этнографические труды и в Германии существуют давно, — с тех пор, как сыновья ее стали излагать в книгах свои приключения в чужих краях, — этнологическая литература возникла недавно. Два спутника Джемса Кука в его втором путешествии (1772—1774), Рейнгольд Форстер и сын его, Иоганн Георг Форстер, являются, пожалуй, первыми представителями этого направления. Затем, построенная на очень широком основании десяти томная «Всеобщая культурная история человечества» историка культуры Густава Клемма (Лейпциг 1842—1853), которая содержит еще много ценного и для современного этнографа. В несравненно большей степени относится это и к появившейся в 1875 г. «Этнографии» уже упомянутого Оскара Пешеля.

С выступлением немцев на всемирную арену, явившемся следствием их объединения в 1871 г., и особенно после приобретения собственных колоний, литература этой области знания быстро растет, подобно лавине. Показателем этого являются периодически издаваемые библиографии, которые, соответственно историческому развитию этой науки, обнимают как географию, так и этнографию. Главным произведением немецкой этнографии этого первого почти пятидесятилетнего периода, является обширная объемом и богатая содержанием

«Этнография» Фридриха Ратцеля (1882 и 1894), (F. Ratzel, Völkerkunde), капитальный для того времени труд, равного которому мы не находим ни у одного из других народов.

Другие выдающиеся немецкие труды по этнографии: Генрих Шуртц — «Первобытная история культуры», (H. Schurtz, Urgeschichte der Kultur, 1900) и многотомная «Народная психология» (1904—1920) Вильгельма Вундта, (W. Wundt, Völkerpsychologie), которая в сущности, представляет построенную на довольно широком основании этнологию, поскольку речь идет об языке и искусстве, о мифе и нравах, о праве и обществе, между тем как материальное, культурное достояние осталось почему-то совершенно незатронутым. Далее нужно назвать «Труд и Ритм» Карла Бюхера, (Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus, 5 изд. 1919), где превосходно разрешается вопрос о происхождении труда, и «Происхождение народного хозяйства» того же автора. Наконец, «Возрастные классы и мужские союзы» Г. Шуртца, (H. Schurtz, Altersklassen und Männerbünde, 1902) открывает совершенно новые для того времени перспективы в отношении развития общества. Что касается бесчисленных позднейших произведений, необходимо указать на литературные обзоры последних десятилетий.

М е т о д ы

Установить научный характер этнографии довоенного времени чрезвычайно трудно. Все прочие гуманитарные науки упрекали ее в отсутствии определенного метода и иногда не хотели признавать ее равноправия с остальными университетскими науками; хотя и не отрицали ее права на существование, — что было бы впрочем и невозможно, даже со стороны самого ярого противника, в виду прекрасного собранного материала, более богатого, чем в какой-либо другой научной дисциплине. Ярким выражением этого длившегося десятилетия пренебрежения является роль золушки, которую приходилось играть этнографии до последних почти лет при немецких высших учебных заведениях. В сущности, лишь

всемирная война, горький урок преподанный ею Германии и печальные последствия недостаточного знания психики чужих народов, разрушили это заблуждение.

Прежние упреки справедливы в том отношении, что в тогдашней этнографии не намечалось ясных тенденций; правда, стремились, руководствуясь имеющимися наблюдениями, сконструировать нечто в роде лестницы, по которой распределались народы, снизу вверх, но не выходили из унаследованного от 18-го века определения «первобытных» народов и видели в них нечто совершенно отличное от народов культурных. На этой точке зрения основано даже такое, еще недавнее произведение, как «Первобытные и культурные народы» Альфреда Фиркандта, (A. Vierkandt, *Naturvölker und Kulturvölker* 1896).

Но в глубине все-таки зарождается уже нечто вроде метода, как его понимали старые науки. Бастиану во время его первого путешествия, как уже выше было указано, больше бросилось в глаза то общее, что объединяет человечество. Он рассматривает это общее, как проявление одинакового духовного предрасположения, которое при наличии известных условий должно привести к одинаковым культурным результатам. Он занял в этом вопросе позицию, противоположную прежней, существовавшей в течение столетий, которая видела везде заимствования там, где проявлялось сходство в внешнем культурном достоинстве или нравах или обычаях. Так было еще при старом Лафито (1724), который устанавливал связь между известными народами северной Америки и определенными народами передней Азии, и так продолжали думать и в 19-м столетии.

В сознательном противоречии с Бастианом, хотя и независимо от приверженцев старой теории заимствований, Фридрих Ратцель заявляет с 1891 г., что попытка Бастиана, объяснить сходные черты в культуре человечества психологически, лишена научного основания, что она даже ненаучна. ибо излишне заниматься явлением, которое может развиваться самопроизвольно или повсеместно. Наоборот, при каждом совпа-

дении необходимо, прежде чем думать об оригинальном происхождении, тщательно исследовать вопрос, не заимствовано ли оно. Так как заимствование может явиться лишь как следствие странствований народа или его идей, и так как и то и другое являются факторами историческими, то этот метод можно назвать историческим. Ратцель пришел к своим взглядам на основании целого ряда работ, которые он написал в начале 90-х годов о луке; ему бросилось в глаза, очевидно, сходство известных форм лука в бассейне Конго с такими же в Индонезии и Меланезии, — обстоятельство, которое он мог объяснить себе лишь при помощи генетических связей. В конце того же десятилетия Лео Фробениус расширил учение об этих совпадениях целым комплексом культурных явлений в обеих областях; как-то прямоугольный дом с двускатной крышей, применение исключительно растительного материала в одежде и украшении, а частью и в вооружении, короче говоря, в каждодневном обиходе. — тайные союзы, употребление масок, людоедство и искусство резьбы. Фробениус объединил весь этот комплекс явлений под одним именем «западно-африканского культурного круга».

В 1904 году, наконец, Анкерманн и Грэнбер дали этому учению еще более широкое основание. Они утверждали, что каждая культура является чем-то законченным, неделимым; отдельные ее элементы сами по себе не обладают самостоятельной жизнью, они становятся жизнеспособными лишь как части единого целого; они связаны между собой органически. Вследствие этого неправильно при этнографических исследованиях выделять какое-либо единичное явление из единого культурного целого основываясь на том, что культуры являются, будто бы, случайной группировкой отдельных элементов, которые могут возникать в разных местах независимо друг от друга и комбинироваться как угодно. Это неправильно; чужие элементы могут усваиваться только там, где имеется такая же или подобная духовная структура, как у народа, в которого они заимствуются. Негр находится в течение столетий под европейским влиянием, между тем он ничего, аб-

солютно ничего, не перенял, кроме нескольких культурных растений и домашних животных, и, если отнять это немного от африканской культуры, она окажется точно такой, какой она была полтысячелетия тому назад.

Бастиан в своей психологической системе различал два слоя в культурном достоянии человечества: нижний — это то, что обще всему человечеству на основании его одинаковой духовной структуры. Он называет его «элементарной мыслью» (Elementargedanken). Над ним всегда лежит слой, созданный каждым отдельным народом как своя собственная культура под влиянием окружающей среды и пространства, которое он занимает. Этот слой он называет «народной мыслью» (Völkergedanken); наконец, пространственные условия, в которых протекает жизнь каждого народа — «географической провинцией». Элемент пространства играет роль и в психологической теории постольку, поскольку одинаковость духовного предрасположения, сказывающаяся в «элементарной мысли» могла быть достигнута первобытным человечеством лишь на его общей прародине.

Такую «элементарную мысль» признавал и Ратцель, он называет ее лишь — «общим достоянием». Также и теоретики «культурных кругов», как называют себя представители нового учения, не могут отрицать одинаковых духовных предрасположений, но они ограничивают их самым нижним первобытным слоем каждой культуры. Правда, они тут же признают, что возможны и самостоятельные одинаковые открытия даже в самых верхних слоях, но только при наличии одинаковой духовной атмосферы и одинаковых общих условий. Так, Лейбниц и Ньютон, независимо друг от друга, дошли до учения о бесконечных величинах, Роберт Майер и Герман Гельмгольц до открытия закона сохранения энергии и т. под. Это несколько не удивительно; но было бы чудом, если бы негр самостоятельно, без нас, избрал дирижабль, основанный на тех же принципах, какие известны европейцу.

Таким образом, одинаковые духовные предрасположения сказываются лишь в самых низших слоях; выше начинается

дифференцирование. Как доказательство, сторонники приводят следующее: человечество во время своего расселения по земному шару дифференцировалось на расы; почему же оно не могло одновременно дать и разные культурные вариации? Из чего следует, что если мы ныне находим две одинаковые или схожие по существу культуры, мы имеем дело с разрозненными частями единого когда-то целого или же, по меньшей мере, с ростками из того же самого корня.

Таким образом «элементарная мысль» Бастиана отнюдь не отрицается; она лежит совсем внизу; позднее она проявляется только там, где человечество осталось очень консервативным. Дело в том, что культура не дифференцируется во всех своих частях одинаково сильно; некоторые ее части изменяются быстро и значительно, между тем как другие остаются неизменными и проявляются даже в высших культурах.

Ожидаемое здесь возражение против применимости теории заимствований, а именно, что первобытному человеку вследствие его технической беспомощности невозможно было переплыть целые океаны, — пытаются устранить указанием на то, что, если человек сам расселился по всей обитаемой земле, то это было возможно и для его культуры. Отсюда именно происходит возможность родственных культур даже и в странах, очень отдаленных друг от друга.

За этим идет уже настоящая аргументация: каждая культура имеет свою собственную структуру; она составлена, правда, из различнейших элементов, — примитивной домашней утвари рядом с глубоко религиозными идеями, простой техники наряду с сложнейшими правовыми формами; но тем не менее она неделима уже по одному тому, что все эти части выросли на одной и той же духовной почве. Для этого состояния устойчивости сочетаний употребляют выражение «постоянство культурных типов».

Это постоянство типов делает для нас возможным проследить историю человечества даже там, где не имеется письменных документов. Все культуры настоящего времени, в большей или меньшей степени, смешаны; нигде более не име-

ется чистой первобытной культуры; над ней везде лежат более молодые слои, и даже самые первобытные элементы изменяются; должны были произойти смещения из старого и нового. Разрез сверху до низу должен показать наслоения, при помощи которых легко может быть установлена относительная давность культурных элементов.

Благодаря этнографии, мы знаем пространственное распространение явлений, иначе говоря их расположение друг подле друга; путем же этого вертикального разреза узнаем расположение одного над другим; таким образом дана система координат; каждый отдельный пункт может быть точно установлен, т. е. каждая отдельная составная часть культуры может быть безошибочно определена в отношении своего возраста и происхождения. Систематическое проведение этого метода по всей земле делает возможной генеалогию обще человеческой культуры.

Таков в общих чертах ход мыслей учения о культурных кругах. Если спросить себя теперь, разрешило ли оно, наконец, так горячо обсуждаемую проблему подобия культурных явлений и можно ли его одновременно приветствовать, как давно желанный метод нашей научной дисциплины, то нужно прежде всего установить, что, судя по тому, как новое учение было принято в Германии, действительно все ожидания, кажется, сбылись. Некоторые сомнения могут быть вызваны лишь тем обстоятельством, что именно специалисты очень холодно и даже частью отрицательно относятся к нему и что за-границей, повидимому, его вообще не признают. Но, быть может, в этом сказалось влияние войны и ее последствий.

В рамках нашей чисто реферирующей статьи мы не можем углубляться в критику; те из читателей, которые интересуются этим вопросом, найдут пути и возможности познакомиться с ним ближе. Мы укажем лишь на некоторые особенно слабые пункты, но и то лишь после того, как мы познакомимся еще с третьей попыткой объяснить совпадения и сходство явлений общечеловеческой культуры. Эта попытка относится однако уже к послевоенному времени.

II. ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Ужаснейшее событие в истории человечества, которое мы называем «мировой войной» отразилось, естественно, в сильнейшей степени на всей научной жизни, и особенно должна была пострадать именно та дисциплина, которая больше других связана с заграничными странами: этнография. С наступлением английской блокады, Германия оказалась отрезанной от за-границы, а когда в войне приняли участие и южно- и восточно-европейские народы, средняя Европа стала похожа на крепость, — величайшую, которую когда-либо видела мировая история, — осаждаемую со всех сторон.

Прежде всего отпала возможность «полевой работы»; экспедиции стали невозможны. Те, которые были уже начаты, в южной Америке, Африке, в Океании и Азии должны были быть немедленно приостановлены, не говоря уже о том, что их участники получили возможность лишь после окончания войны вернуться на родину. К таким принадлежат экспедиции Турнвальда в немецкой Ново-Гвинее, Шахтцабеля в Южной Анголе и Штетцнера в Юго-западном Китае. Все три дали очень интересные результаты; экспедиция Турнвальд, главным образом, с социологической точки зрения, Шахтцабеля — в вопросе о гамитическом элементе, который несомненен у готтентотов, очень вероятен у гереро, и может быть теперь предположен у народов исследованных им областей.

Лишь два немца могли продолжать свою работу вне Германии в течение всего военного времени: капитан Детцнер в немецкой Ново-Гвинее и профессор Т. Преис среди индейцев в северо-западной части Южной Америки. Детцнер был застигнут войной в глубине большого острова; он многократно пытался пробраться вдоль центральной горной цепи в местность, принадлежащую голландцам; но это ему не удалось. Его четырехлетнее пребывание на острове дало, все-таки, тот результат, что доказало значительную густоту населения последнего. К сожалению, Детцнер не был доста-

точно подготовлен этнографически, чтобы провести более глубокое научное обследование.

Прекрасный этнолог, Теодор Прейс, пользующийся всеобщим признанием в Германии и за границей, особенно в области сравнительного изучения религий, целых четыре года оставался среди уитото и кагаба и собрал бесчисленное количество текстов. Результаты его работ ныне публикуются; они не ниже полученных им во время его прежних экспедиций в Северную Мексику.

Что было потеряно в отношении «полевой работы» в чужих частях света, стремились заменить доступными, ближе лежащими областями, прежде всего театром военных действий на востоке и юго-востоке и нейтральным севером. Правда, тут нигде нет речи о первобытных народах, но Прибалтийские области, Польша, Украина и Балканский полуостров хранят еще такую массу интересного в народной жизни и столько культурных пережитков, что каждый настоящий этнограф найдет в них обильную пищу для своей работы. Сначала, несколько больших музеев послали туда специалистов, а затем военное управление взяло в свои руки это дело и организовало его в больших размерах, причем для отдельных областей были устроены «комиссии для обследования страны». Географические и этнографические результаты таких работ в Польше выразились уже в об'емистом издании текстов и атласов; для остальных областей придется волею-неволею выждать лучшие времена. Во всяком случае, война привела к тому, что мы, этнографы, открыли, наконец, и Европу. Вряд-ли преувеличивали когда говорили, что в других частях света мы знаем каждое местечко и каждую орду, между тем как не имеем понятия об основах европейской культуры.

Как известно, интенсивная научная работа вообще не прекращалась и во время войны. В течение и непосредственно после нее были основаны даже три новых университета: в Кельне, во Франкфурте на Майне и в Гамбурге, и многочисленные исследовательские институты в области гуманитар-

ных наук, после того, как такие-же естественные институты были открыты еще до войны. В настоящее время в Германии имеется три института для изысканий в области этнографии, в Лейпциге, Берлине и Мюнхене: они преследуют, приблизительно те же цели, что и Bureau of Ethnology в Вашингтоне, с той лишь разницей, что они не ограничиваются исключительно населением своей страны, а делают человека вообще предметом своих изысканий.

Для постановки преподавания этнографии в высших учебных заведениях Германии сделано еще недостаточно; новые науки приобретают у нас вообще лишь с большим трудом право гражданства в кругу издавна установившихся университетских дисциплин. Этнография постигла в этом отношении та же судьба, как географию, которой понадобилось целое столетие, чтобы получить по ординарной профессуре в немецких университетах. После того как Бастиан уже в 1868 году был допущен в Берлине к чтению лекций по этнографии, наконец, во время мировой войны и непосредственно после нее основаны были три ординатуры: в Мюнхене, Лейпциге и Гамбурге. Даже в двух вновь основанных университетах, во Франкфурте на Майне и Кельне, не пошли навстречу духу времени настолько, чтобы дать этнографии полноправного представителя. Меньшие университеты, конечно, отпадают совершенно; здесь в лучшем случае, представители географии, по мере своих склонностей и знаний, заботятся о преподавании по нашей специальности.

Несмотря на все это, продуктивность в этнографической литературе держалась на подобающей высоте и во время войны. Приведение здесь наиболее выдающихся трудов, а тем более подробное перечисление их излишне, так как мы можем указать на «Систематическую библиографию научной литературы Германии за 1914—1921 г.», т. I, теоретические науки, (Берлин 1922) и продолжения ее за 1922-23 гг. (Берлин 1924) изданные по поручению берлинского представительства Русского Народного Комиссариата. Просвещения заслуженным редактором этого журнала, профессором Ф. А.

Брауном и доктором Гансом Презентом. Хотя там приведено лишь самое главное, издания эти охватывает длинный ряд глав. Немецкая наука может быть довольна достигнутыми ею в такое тяжелое время результатами.

III. ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Если время войны было необычайно тяжело, как для повседневной жизни немцев, так и для немецкой науки, то годы после войны скоро стали для них катастрофическими. Продиктованный в Версале мирный договор является, в сущности, ничем иным, как санкционированным продолжением войны другими средствами.

Прежде всего — свобода передвижения. По договору она осталась за немцами; но как они пострадали от предпринятого против них невероятного похода лживых наветов последних десяти лет! Единственные области, где они могли не бояться враждебного к себе отношения, их колонии, отобранные у них под предлогом, что они будто-бы не пригодны ни в моральном, ни в интеллектуальном отношении обращаться с населением колоний и воспитывать его. Несравнимое по своей преданности отношение восточно-африканских негров к немцам, со всех сторон одолеваемым тысячекратно большей силой врагов, в течение всех четырех лет, и бесчисленные призывы туземцев всех колоний к немцам — вернуться, так как при них им жилось лучше, бросают на это утверждение такой же яркий свет, как и многочисленные отчеты французских, бельгийских и английских носителей международных «мандатов»: оказывается, что почти все учреждения и порядки, введенные в колониях немцами, признаются образцовыми и достойными подражания.

Затем условия валюты, т. е. полное обесценение денег. Для развития этнографии последствия этой финансовой катастрофы проявляются, естественно, в тех же отношениях, как и для всех вообще немецких наук: в почти полной невозможности продолжать печатание научных трудов и покупать их;

в автоматически вытекающей из этого опасности потерять связь между собою и с заграничными обществами, и в возникающей вследствие этого невозможности удержаться на прежней высоте.

И, наконец, а пожалуй даже прежде всего «полевая» работа! Как могут немецкое государство или отдельные общества, а тем более этнографические музеи думать об экспедициях, при наступившем в Германии общем хозяйственном кризисе? На долгое время немцев нужно считать исключенными из области этнографических исследований на местах. Послужит ли это на пользу этнографии вообще, — в этом вероятно усомнятся даже наши жесточайшие противники, если они припомнят результаты добросовестной работы немецких исследователей. Жертвой ненависти и мстительности врагов пали и наши миссионерские общества. Они прежде всего были изгнаны из местностей, где обосновались, большей частью, уже давно; впоследствии вновь допустили хоть тех миссионеров, которые по своей национальности принадлежали к «державам-победительницам» или к нейтральным государствам. Но о возобновлении их деятельности в прежнем размере нигде пока речи нет. Какое это имеет значение для этнографической «полевой работы», сможет оценить лишь тот, кто знаком с богатым содержанием различных миссионерских журналов или выходящего в Медлинге близ Вены «*Anthropos*», или же с публикациями многочисленных протестантских миссионеров в области Килиманджаро. И здесь также близоруко были растратены невозместимые ценности.

Работа дома

Под давлением обстоятельств, немецкая этнография должна была, точно также как и во время войны, ограничиться работой у себя на родине. Несмотря на всю тяжесть такого отречения, это было сравнительно легко благодаря тому, что как в музеях, так и в этнографической литературе, накопился почти необозримый сырой материал, ждущий обработки. Но и здесь прибавилась капля горечи, — она заключается в труд-

ности, даже невозможности в настоящее время обнародовать результаты работ. Тем не менее, в самые последние годы вышли в свет очень значительные, во многих отношениях фундаментальные, труды.

Антропология. Если новейшая литература ставит себе, преимущественно, более узкие цели чем прежде, то это понятно: мы недавно лишь, как я уже сказал, «открыли Европу», и имеем теперь полное основание приступить к разработке этого открытия. Наряду с этим географическим заданием умаи владеет и биологическое — вопрос о наследственности. Он выдвинулся, как результат проигранной войны, показавшей даже самым близоруким из нас, как жестоко отомстило за себя наше незнание с психикой чужих народов. Особенности же народной души покоятся на законах наследственности. В связи с этим ближайшей целью было проверить, применим ли закон Менделя к человечеству.

По отношению к Европе господствует, поддерживаемое с 1900 года наиболее успешно американцем Риплеем, (Ripley), учение о трех расах: об *homo europaeus*, т. е. европейском или северном человеке, *homo mediterraneus*, т. е. средиземном и *homo alpinus* или альпийском человеке. Первые две рассматривались как вторично дифференцировавшиеся ветви одного ствола; а *homo alpinus*, как пришедший с востока чужеземец монголоидной крови.

Это учение о трех расах должно было в Германии уступить недавно место теории о четырех расах. Новым является «динарский» тип. Это — высокий человек-гигант с большим носом и как бы обрубленной сзади головой. Название свое динарцы получили от динарских Альп на крайнем северо-западе Балканского полуострова; но, подобно остальным расам, они встречаются и в некоторых других частях Европы. Вместо старых названий *mediterraneus* и *alpinus*, один из новейших авторов, Ганс Гюнтер (Günther), предлагает называть эти типы: западными (*westisch*) и восточными (*ostisch*). Мы имели бы, таким образом, в Европе: северную, западную, восточную и динарскую расы и кроме того, пожа-

луй еще яфетическую, существование которой с возрастающим успехом утверждают русские ученые, Н. Я. Марр и Ф. А. Браун. Они понимают под ней совокупность этнических элементов, которые до сих пор не поддавались классификации в существующей системе рас, а именно басков, иберов, лигуров, этрусков, пелазгов, лелегов, каров и рэтов. Гюнтер предлагает названия «северные», «западные» и «восточные», чтобы этим указать на главную область распространения этих рас и направление их расселения. Книга Гюнтера (*Rassenkunde des deutschen Volkes*), с 14 картами и 537 рисунками, 3-ье обработанное издание И. Ф. Лемана, Мюнхен, 1923 г.) не ограничивается, как можно было бы предположить по названию книги, одной Германией; она касается всей Европы, и не исчерпывается вопросами физической антропологии, а рассматривает европейца со стороны его духовных задатков, а также его первобытную историю и его судьбы в прошедшем, настоящем и будущем. В общем, она охватывает такой огромный материал, что изучение ее может быть настоятельно рекомендовано каждому европейцу.

И вопросам наследственности также Гюнтер уделяет много места. Они являются, как было уже упомянуто, вторым коньком немецкой биологии и, особенно, антропологии. Больших и малых трудов о наследственности появились после войны дюжины, так что было бы трудно дать их обзор, если бы они все не были настроены на один лад.

Это общее им всем направление — менделизм или менделейничание (Mendelei), как противники в насмешку называют эту одностороннюю приверженность законам, открытым монахом августинского ордена в Брюнне, Менделем. Словно по уговору, на человечество переносятся законы, установленные Менделем (а с первых лет нашего века и многочисленными другими естествоиспытателями, по их мнению окончательно), в отношении растений и животных. Совершенно исключается понятие о смешанных расах; все развитие происходит по указанным этими законами, линиям по направлению к исходным типам, и нет ничего легче, как указать в каждом человеке на

земле или, по крайней мере, в Европе, составные черты его расы, или, чтобы точнее выразиться, определить из формы его головы, его физиономии, строения волос, роста, походки и т. д. какие черты в нем являются доминирующими (dominant), и какие — рецессивными (recessiv). Уверенность, с какой производится такое определение расы, абсолютна; она не только распространяется на фотографии, но не останавливается даже перед изображениями на древнейших картинах. Расовый вопрос считается разрешенным, — к великой радости сторонников этой теории.

Можно быть различного мнения о значении этого новейшего направления в немецкой антропологии. Но его следует приветствовать за то, что оно окончательно порвало с преувеличенной оценкой антропометрии и выдвинуло человека в его целом, и к тому же как физически, так и духовно. Но правильно-ли методологически простое перенесение законов Менделя на человека, т. е. на существо, которое совсем не поддается эксперименту, — является вопросом спорным, тем более, что чистые крайние типы, насколько мне известно, нигде не установлены; объяснять же бесспорное существование смешанных рас, как например, гамитов, исключительно половым подбором, — совершенно уже не допустимо.

В связи с учением о наследственности, много места занимает и расовая гигиена; с начала этого столетия и особенно после страшного кровопролития мировой войны, а также под влиянием того факта, что Германия наводнена значительным количеством инородных элементов, в особенности с востока, вопрос этот стал интегрирующей частью биологической литературы. Новейшим и во многих отношениях замечательным произведением ее является двухтомный труд Баур-Фишер-Ленца «Основные черты учения о наследственности у людей и расовая гигиена» (Т. I. Учение о наследственности у людей; т. II. Подбор и расовая гигиена, 2 издание, Мюнхен 1923 г. *). Баур — типичный менделианец; но и он должен

* Baur-Fischer-Lenz, Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, 2. Aufl. München 1923.

признать, что законы Менделя не могут быть безоговорочно применимы ко всем различиям в расах. Ленц считает целебным средством против неизбежного ухудшения белой расы борьбу с алкоголем по американскому и скандинавскому образцу, затем борьбу с половыми болезнями, подбор имеющих право на потомство — путем принудительного медицинского осмотра перед браком, реформу системы налогов, законов о праве наследования и т. п. Фишер, наконец, стремится выяснить сущность образования рас; он идет при этом приблизительно теми же путями, что и Гюнтер, но приходит к большему количеству рас, устанавливая существование на юго-востоке еще одной передне-азиатской расы и одной восточной.

Этот интенсивный интерес к европейцам привел к тому, что, приблизительно с 1909 г., не сходит со сцены и вопрос о происхождении человека. В стоячее болото чисто антропометрической антропологии Герман Клаач бросил крылатое слово о морфологическом или, вернее, морфогенетическом методе исследования и вместе с тем смело создал совершенно новую гипотезу происхождения человека. Она основана на утверждении, что рука человека не является чем-то благоприобретенным, а перешла к нему из геологически давних времен; для очеловечения нужно было лишь преобразование прежней задней руки, применяемой дотопе для хвативания в густом первобытном лесу, в теперешнюю ногу, служащую для опоры и ходьбы, и выпрямление тела из полупрямого-полусидячего положения в перпендикулярное. Нога, по Клаачу, произошла вследствие длительной необходимости лазить по отдельно стоящим деревьям; для этой цели первобытный человек должен был либо выйти из прежней своей обстановки, первобытного леса с густо сплетенными вершинами, либо прежняя обстановка сама сменилась более открытыми ландшафтами. Примыкая в этом отношении к антропологу Штензаку, Клаач считает, что это новое лазание происходило тем же способом, как теперь у первобытных народов. Последние не лезут с помощью колен, а бегают по деревьям вверх двойным способом. Тонкие стволы они охватывают наверху руками, ногу

же прижимают выемкой, находящейся между пяткой и мякишем, так что она как-бы присасывается к стволу. Для толстых же стволов, которые нельзя обхватить руками, они берут лианы или какие-либо иные приспособления для обхвата. тогда как нога прижимается к стволу лишь мякишем.

Клаач полагает, что при длительном применении этого способа лазания прежний большой палец задней руки стал. вследствие прижимания к выемке этой руки, теперешним большим пальцем ноги; таким же образом образовалась выемка на ноге, и мякишь ее. Одновременно необходимость придать телу нужное для лазания положение — отбросить назад верхнюю часть его, вызвала резкий сгиб позвоночника, характерный для человека. Отсюда же произошли и наши плечи и единственная по своей силе мускулатура наших рук.

Как и следовало ожидать, эта новая гипотеза встретила в науке самый резкий отпор; надо полагать, что она была слишком проста, чтобы убедить приверженцев старой школы. Но только последние не могли предложить ничего лучшего или, вернее, вообще ничего взамен ее.

И когда этот же Клаач в 1910 г. примкнул к полигенизму, когда он, следуя зоологу Мельхерсу, установил связь неандертальской расы с предками гориллы, и ориньякской расы с предками оранг-утана), — тогда его стали высмеивать. К сожалению, немецкая антропология слишком рано (в 1916 г.) потеряла этого своего «революционера».

Теперь, несколько лет спустя после смерти Клаача, ему отдается должное. А именно, Фишер в упомянутом принадлежащем трем авторам труде тоже разбирает вопрос о происхождении человека, и разрешает он его также, как Клаач, с той лишь разницей, что Фишер, примыкая к работе д-ра Вейденрейха, приписывает образование ноги не лазанию, а простому выпрямлению туловища с переходом человека на открытые места.

¹) См. «Беседу» № 1, стр. 273 сл. 277.

Доисторическая археология. Ни одна из отраслей этнографии не развивалась в последние десятилетия так быстро, как доисторическая археология или первобытная история человека; Германия кишит коллекциями и большими и малыми музеями этого рода; она насчитывает сотни, а быть может и тысячи представителей этой науки или считающих себя таковыми. Современное состояние изысканий в этой области может быть обрисовано приблизительно следующим образом.

Учение о трех «веках» (каменном, бронзовом и железном) остается прочным, как догмат; в течение последних 30 лет здесь не было возражений. С тех пор делали большие усилия точнее выработать абсолютную хронологию их, примыкая к недавно скончавшемуся, пользующемуся в Германии огромным авторитетом шведу, Оскару Монтелиусу. На ряду с этим так интенсивно занимались «наукой лопаты» и производили раскопки с таким пчелиным прилежанием, какое свойственно немцам, когда им что засядет в голову. Упомянутые коллекции служат тому лучшим доказательством. Что касается научной обработки находок, то в общем не пошли дальше отчетов о раскопках и несколько ремесленных построений о доисторической культуре. Более широкие горизонты намечаются лишь в самое последнее время, — у Косинны «Доисторическая археология Германии, (*Die Deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft*, 3 изд. 1921) и у Карла Шухгарта «Старая Европа с точки зрения развития ее культуры и стиля» (*Alteuropa in seiner Kultur- und Stilentwicklung* Берлин 1919 г.). Эти два автора придерживаются диаметрально-противоположных взглядов; но в одном они сходятся, — в том именно, что старая сказка, будто весь свет с востока, (*ex oriente lux*) должна быть оставлена совершенно, что правильнее как раз обратное. Выражение «*ex oriente lux*» нужно здесь понимать скорее в узком, чем в широком значении слова; в этом значении мы старики, понимали его, как антропологическое и культурное происхождение индоевропейцев с востока; Косинна и Шухгардт идут дальше и полагают, что

даже прекрасная и чрезмерно возносимая древне-греческая культура иноземного происхождения, что она, также как и ее носители, происходит с севера. Во всяком случае, со времени неолита непрерывный поток культурных ценностей льется из западной и центральной Европы частью вниз по Дунаю или через теперешнюю Россию, частью окольным путем через западное Средиземноморье на восток. Сюда относятся некоторые основные черты типов поселений; и даже приписывавшаяся до сих пор финикийцам азбука яко-бы западно-европейского происхождения.

Параллельно этому действительно широкому размаху научной мысли идет мелкая работа; пытаются до мелочей выяснить отдельные культурные комплексы. В тесном соприкосновении с этнологией стремятся перенести в доисторическое прошлое ее учение о культурных кругах. Каковы результаты этой работы — покажет будущее.

Такой же проблематичностью отличаются и новейшие попытки связать современные расы Европы и в частности Германии с до-историческими. Начинают с неандертальской и пытаются найти связь также и с ориньякской; но и в том, и в другом случае, без какой бы то ни было уверенности. Несколько более надежными представляются эти попытки по отношению к так называемой расе Сто-Magnon; но где и как происходило дальнейшее развитие ее — остается пока совершенно неясным.

Этнологический метод. В 1902 г. в берлинском рейхстаге открылся первый немецкий колониальный конгресс. В 1905 и 1910 г. происходили два следующих съезда; они должны были стать периодическими, повторяясь каждые пять лет; но разразилась война, колонии были потеряны, и эта многообещающая организация распалась.

На первом же съезде в докладе берлинского антрополога и этнографа профессора фон Лушана впервые было произнесено слово «конвергенция» (*Konvergenz*). Это понятие было разработано год спустя Паулем Эренрейхом (*Ehrenreich*) в специальном докладе на тогдашнем антропологическом съезде,

но приобрело лишь недавно большее значение в этнографии, главным образом благодаря большой работе, которую тот-же профессор фон Лушан опубликовал в 1918 г. в Известиях венского антропологического общества под заглавием «Связи и конвергенция».

Выражение «конвергенция» взято из зоологии. Наиболее известным примером этого явления служит сходство, замечаемое у страусов на южных оконечностях трех больших материковых массивов: настоящего страуса южной Африки, нанду в Южной Америке, казуара Ново-Гвинее, эму в Австралии, вымерших пород моа в Новозеландии и также вымершего страуса-гиганта на Мадагаскаре. Между тем как прежде считали, что все они происходят от одной общей первобытной формы, и на этом основании даже предполагали существование большого южного материка, теперь установлено, что страусы эти развились из совершенно различных пород птиц. Вследствие того, что в течение бесчисленных тысячелетий все они одинаково утратили способность летать, у них развивалось и дальнейшее сходство в строении тела, почему они в настоящее время кажутся членами одной и той же семьи.

Первопричиной такой конвергенции считают одинаковый характер обстановки, в которой протекало их развитие. Профессор Лушан указывает на то, что животные, оставляя сушу и становясь водными, приобретают форму рыб, что их конечности приобретают плавательные перепонки или становятся плавниками, или-же совсем исчезают, и что они приспосабливаются к новой среде и своим скелетом.

Другой род конвергенции проявляется в том, что одна и та же цель достигается разными средствами. Самым ярким примером этого рода являются рога жука-рогача, которые совершенно сходны с рогами оленя и служат для той же цели — борьбы самцов из-за самок, причем у жука для этой цели развиваются мандибулы, между тем как рога оленя вырастают из шишек на лобной кости. Таким образом, здесь та-же цель привела к аналогичным формам.

В общих рамках этнографии конвергенция привлекается к объяснению как физического облика, так и материальной культуры человека. Для иллюстрации сходства рас вследствие сходных условий географической среды, проф. фон Лунан приводит старый пример африканских негров и меланезийцев. По утверждению знатоков обеих рас, их часто нельзя было бы отличить одну от другой, если-бы не было одной неоспоримой приметы, заключающейся в свойстве их волос. А именно, хотя обе расы курчавы, у негров волосы вьются значительно мельче, чем у меланезийцев.

Дальнейшим примером физической конвергенции считается образование типа янки. Это явление общеизвестно, — что потомки белых поселенцев северной Америки с течением времени выливаются в вполне определенный, резко очерченный тип янки. Немецкий американец Боас считает возможным утверждать, что эта конвергенция наступает в северной Америке уже в первом поколении; сицилианцы и восточно-европейские евреи быстро начинают походить друг на друга формой головы. Одни, от природы длинноголовые, становятся круглоголовыми, другие, от природы круглоголовые, становятся длинноголовыми. Боас пока еще не хочет вывести отсюда заключения, что эта конвергенция имеет целью создать в будущем единый американский тип.

Это понятие конвергенции входит теперь третьим принципом, наряду с психологическим принципом Бастиана и историческим Анкерман-Гребнера для объяснения сходности в культурных достояниях человечества. Так как совпадения и сходства основаны на характере территории, т. е. обусловлены географически, то основывающийся на конвергенции метод можно назвать географическим.

В немецкой этнологической литературе последних лет не прекращалась полемика по этим вопросам, но она не приводила к окончательному решению. Самые ярые защитники учения о культурных кругах давно уже не удовлетворяются тем, что для объяснения западно-африканского культурного круга перекидывают мост через Индийский Океан; они объяс-

няют и сходство культуры южных американцев с меланезийской путем заимствований; даже скандинавский бог Тор приводится к генетической связи с полинезийским богом — Мауи. Для заимствований нет никаких пространственных границ! Даже такой трезвый этнограф, как автор отдела Америки в «Иллюстрированном народоведении», Бушана, Вальтер Крикеберг после решительного отрицания в первом издании, во втором всецело примыкает к этому принципу. По его мнению, первобытные полинезийцы легко могли перенести культурные ценности с своих островов на побережье Южной Америки.

Нужно сохранять хладнокровие перед таким чрезмерным увлечением. Сильнейшее оружие исторического метода заключается в так называемом количественном критерии. Оно сводится к тому, что одно культурное явление может, конечно, возникнуть независимо и самопроизвольно в различных частях света путем самостоятельного изобретения, или путем конвергенции; но если имеется налицо целый комплекс общих культурных явлений, то такое предположение невозможно, и необходимо допустить заимствование. Здесь, однако сейчас же возникает возражение: если человечество (что признает и это учение) в своем происхождении едино, — почему же одинаковое духовное предрасположение не может привести и к одинаковым культурным комплексам? И почему одна и та-же одинаково направленная сила не может быть присуща одинаковым географическим условиям? Если с этой точки зрения внимательно рассмотреть главный козырь этого учения, — западно-африканский культурный круг, то он много теряет в убедительности, уже по одному тому, что характер страны совсем не допускает иной культуры, чем та, которая здесь развилась. Где никогда не было больших млекопитающих, там не могла и возникнуть культура, пользующаяся кожей и мехом.

Второй из основных пунктов этого учения вызывает два или даже три возражения. Говорят: при расселении по земле, человек физически дифференцировался, — не мог ли он одно-

временно создать и различные вариации культуры? Но, если он их создал, ему не за чем было впоследствии их заимствовать. Если же это следует понимать иначе, а именно в том смысле, что это творчество было вызвано там и здесь одинаковыми условиями, — то что же это обозначает, как не одинаковое духовное предрасположение, т. е. психологический момент?

И в третьих. Заимствования через значительные пространства, даже через целые океаны приурочиваются к очень давним временам, которые иногда так отдалены, что нужно перенестись в первобытнейшие времена человечества. Но это тот период, когда царит еще «элементарная мысль», которая признается ведь и учением о культурных кругах. Таким образом мы и тут снова возвращаемся к фактору одинакового духовного предрасположения.

Наконец, последнее. Если время передвижений самих народов или их идей лежит так далеко в глубине веков, как обычно полагают, то существовали-ли уже тогда все имеющиеся по сей день сходные черты и, были-ли они просто унаследованы с того времени? Это обозначало бы застой в духовной жизни человечества, который противоречит всему, что мы знаем даже о самых отсталых народах. Если же эти сходства проявились лишь позже, то объяснения их следует искать либо в учении Бастиана, либо в конвергенции. Очевидно, дело совсем не так просто, и победное шествие учения о культурных кругах встречает на своем пути не мало препятствий. Тем не менее его нужно приветствовать. Правда, никто из беспристрастных критиков не признает его притязаний, т. е. не станет считать его единственным правильным методом этнографии, но оно является все-же одним из методов ее и притом методом недурным. Если главная задача этнографии заключается в том, что бы воздвигнуть здание человеческой культуры в виде роскошного дворца, то и учение о культурных кругах доставит для этого здания множество вполне пригодных камней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таков сжатый обзор развития этнографии в Германии, как он представляется лицу, стоящему в центре его. Поэтому возможно, что многое здесь представлено в неверной, т. е. слишком короткой перспективе и смотрящему со стороны кое-что может казаться иным. Но с этим приходится мириться, пока международные сношения не станут такими же тесными, как прежде. Тогда иностранец несомненно сможет дать более объективную оценку.

Одну черту во всяком случае придется признать за немецким народом: тяготение к науке он сохранил независимо от обстоятельств, при которых ему пришлось жить последние десять лет, даже теперь, когда чаша нашего политического и хозяйственного прозябания опустилась так низко, что, думается, ниже как будто и некуда.

И даже шаг к более реальному пониманию задач этнографии сделал этот «народ поэтов и мечтателей» непосредственно после войны; он начал насаждать ее не только в высших, но и в средних учебных заведениях. Антропология и раньше уже занимала скромное место в рамках биологии; этнология же и наука о доисторическом прошлом не входили в план преподавания. Археология должна теперь предшествовать преподаванию истории, этнология же вплетается в преподавание всех культурно-исторических предметов, т. е. истории, родооведения и географии, языков и даже религии. В Саксонии уже 4 года тому назад ввели эту новую систему; провести ее во всей Германии несомненно будет нелегкой, но тем более благодарной задачей будущего.

Профессор Гарри Шмидт

ОСНОВЫ РАДИОТЕЛЕФОНИИ

Когда в 80-х годах прошлого столетия Генрих Герц производил свои знаменитые исследования по распространению электрических волн, подтвердив таким образом на опыте замечательную теорию Максвелла, он был во всяком случае не в состоянии предположить, какое широкое практическое применение будут иметь результаты его работы. Итальянский физик Маркони был первым, которому удалось применить открытые Герцом электромагнитные волны для «беспроволочной» телеграфии. С этого момента наблюдается быстрое развитие этой отрасли техники. Благодаря новейшим изобретениям удалось разрешить проблему, о разрешении которой человечество к концу прошлого столетия даже и не мечтало, а именно: вопрос о **беспроволочной телефонии**, т. е. передаче на расстояние и по всем направлениям при помощи электромагнитных волн, например, человеческой речи. С каждым днем все расширяется круг тех людей, которые при помощи своих собственных приемников слушают разнообразную по своему содержанию программу большого числа станций отправления. Поэтому, понятно, почему широкие общественные круги, которые мало интересуются вопросами физики, чувствуют теперь потребность уяснить себе сущность радиотелефонии. Они обращаются к специалистам с вопросом, как возможна эта в высшей степени удивительная передача через пространство звуков на такие большие расстояния и в столь совершенной форме. Дать основные ответы на эти во-

просы является задачей последующих строк. Настоящая статья отнюдь не претендует на полноту, она должна лишь облегчить читателю понимание специальной литературы по этому вопросу.

Основная мысль, на которой построена радиотелефония, может быть выражена в немногих словах. Если мы себе представим электромагнитную волну так, как она схематически изображена на рис. 1, то задачей радиотелефонной станции отправления будет: во-первых, возбудить эти волны, а во-вторых, поставить их в зависимость от ритма речи. Последнюю зависимость следует понимать следующим образом: человеческая речь есть физическое звуковое явление, каждый звук — ничто иное, как волнообразное движение воздуха, которое характеризуется своим особым ритмом. И здесь для наглядно-



Рис. 1



Рис. 2

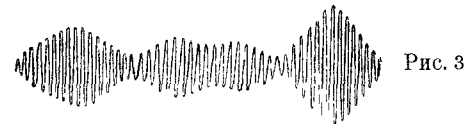


Рис. 3

сти мы можем прибегнуть к чисто схематической волнообразной линии, как она представлена на рис. 2. Перенести подобный звуковой ритм на электромагнитную волну нашего рис. 1, значит так изменить с помощью известных приспособлений эту волну, что она принимает форму, изображенную на рис. 3. Сущность этих рисунков может быть разъяснена тем, что очертание электромагнитной волнообразной линии подобно

звуковой волне. Такого рода электромагнитные волны рассылаются станцией отправления в пространство во все стороны. Эти волны улавливаются приемной станцией, где при помощи особых приспособлений они вызывают появление соответственных звуковых волн, что влечет за собой восприятие определенного звука. Наша задача состоит в дальнейшем лишь в том, чтобы несколько подробнее остановиться на деталях практического характера, необходимых для проведения в жизнь только что объясненных основ радиотелефонии.

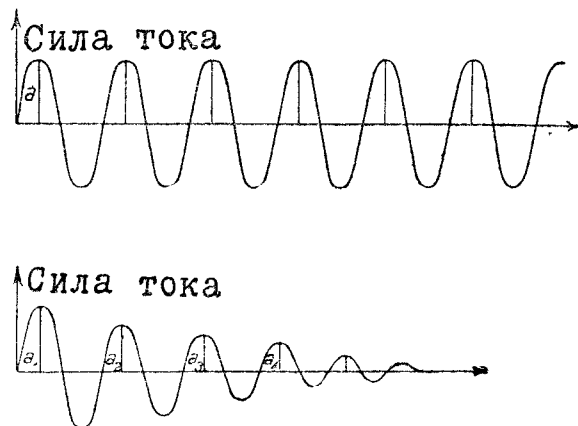


Рис. 4 и 5

Что касается электромагнитных волн, то совершенно очевидно, что для радиотелефонии пригодны лишь незатухающие волны (рис. 4); затухающие (рис. 5) не могут иметь применения *), потому что при затухающей волне совершенно немыслима чистая передача звуковых колебаний, что стано-

*) Эти и все следующие рисунки взяты из книги: Dr. Hans Fern, *Die Radiofibel* (см. литературу в конце статьи). За любезно предоставленные клише выражаю свою благодарность издательству Akademische Verlagsgesellschaft.

А в т о р.

вится ясным после вторичного сравнения рис. 1 и 3. Кроме того, также очевидно, что передача происходит тем лучше, чем скорее следуют друг за другом отдельные колебания волны, т. е. чем больше частота (число колебаний в секунду), так как тем меньше будет вредное влияние собственного ритма электромагнитных колебаний на ритм передаваемых колебаний. Для удобного получения подобных электромагнитных колебаний высокой частоты употребляют в радиотелефонии почти исключительно трубочный отправитель. С действием

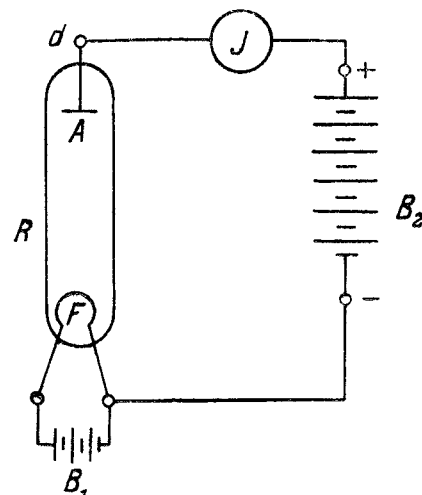


Рис. 6

этих приборов мы можем познакомиться при помощи нескольких схематических рисунков. Рис. 6 изображает простую катодную трубку, т. е. со всех сторон закрытую стеклянную трубку R , из которой по возможности выкачан весь воздух; внутрь трубки введены нить накаливания F и анод A . Нить F накаливается при помощи тока достаточно сильной батареи B_1 . В накаленном состоянии нить излучает электроны —

мельчайшие частицы отрицательного электричества. Вторая батарея B_2 присоединяется своим отрицательным полюсом к F . Отрицательное электричество батареи B_2 вызывает у электронов ускорение. Эти электроны движутся в трубке по направлению к аноду. К аноду присоединены последовательно очень чувствительный амперметр и положительный полюс батареи B_2 , так, что в этой замкнутой цепи, питаемой этой батареей идет ток, который называется анодным; соответственно этому и вся цепь также называется анодной. Сила анодного тока зависит, конечно, от напряжения батареи, присоединен-



Рис. 7

ной к F ; эта зависимость изображена на рис. 7. Если между нитью накаливания и анодом A поместить так называемую решетку, т. е. густую металлическую сетку, и присоединить к ней положительный полюс третьей батареи B_3 , так, как это изображено на рисунке 8 (так называемая цепь решетки), то часть двигающихся электронов задерживается у решетки, в то время, как остальные достигают анода. Таким образом мы имеем параллельно анодный ток и ток в цепи решетки — ток решетки. Сила обоих токов при данном напряжении батареи у нити накаливания F будет, конечно, зависеть только от напряжения батареи в цепи решетки. Кривые рис. 9 дают ясное представление о вышеупомянутых отношениях. Эти кривые

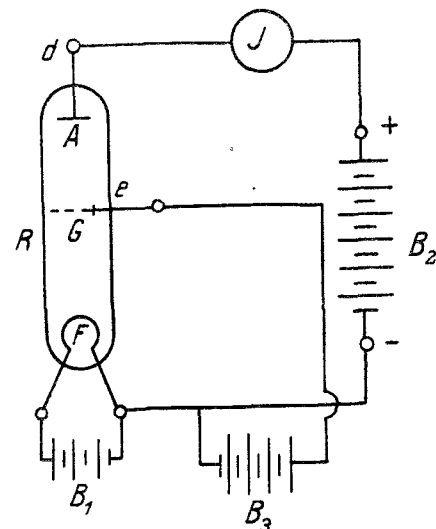


Рис. 8

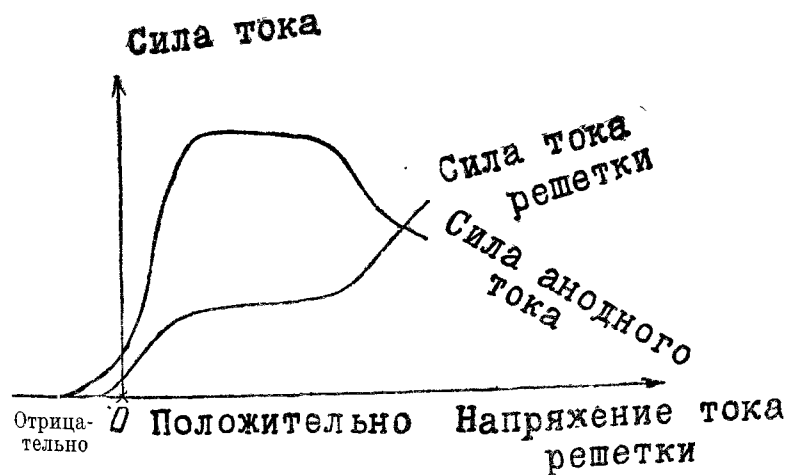


Рис. 9

указывают на то, что при незначительных колебаниях напряжения решетки должны следовать довольно значительные колебания силы анодного тока. Этот факт дает возможность пользоваться катодной трубкой для получения электромагнитных колебаний высокой частоты. Одна из схем соединений, особенно пригодная для этой цели, изображена на рис. 10. В

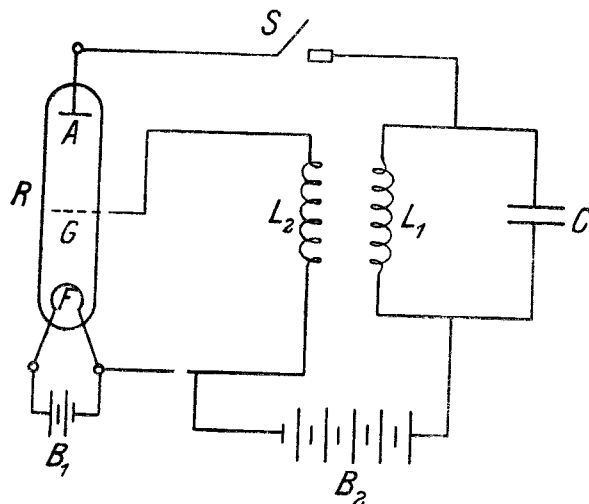


Рис. 10

анодной цепи включены: выключатель S , катушка самоиндукции L_1 и конденсатор C . В цепи решетки имеется также катушка L_2 , которая установлена против катушки L_1 . При помощи достаточного накаливания нити F приводится в действие поток электронов, потом выключателем S вдруг замыкается анодная цепь; тотчас же в этой цепи появляется сильный ток (импульс). Этот ток, который проходит также и через катушку L_1 , возбуждает, вследствие взаимной индукции катушек L_1 и L_2 , ток противоположного направления в цепи решетки. Решетка G получает благодаря этому заряд, который сильно

ослабляет, может быть даже и совсем уничтожает, ток анодной цепи. Результатом этого является вторичная, но в противоположном направлении, взаимная индукция катушек L_1 и L_2 , что в свою очередь влечет за собою перезарядку решетки G . Последнее опять приводит в действие поток электронов и весь процесс начинается сызнова. Это повторяется непрерывно. Автоматические колебания напряжения решетки вызывают усиленные колебания силы тока в анодной цепи, что наглядно изображено на рис. 11.

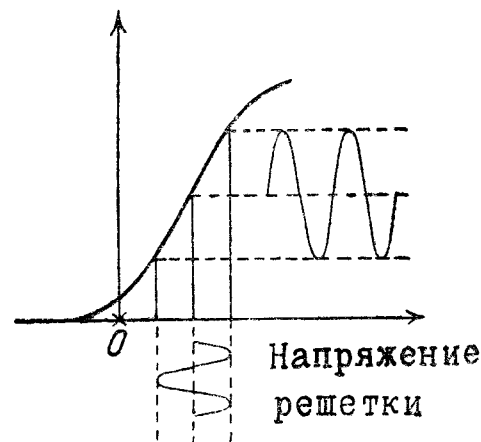
Сила анодного
тока

Рис. 11

В цепи, состоящей из L_1 и C , происходят вследствие этого электромагнитные колебания высокой частоты; эти колебания без всяких затруднений могут быть применены к радиотелефонии. Для того, чтобы привести их к излучению, т. е. к возбуждению таких электромагнитных колебаний, которые распространялись бы в пространстве, пользуются взаимной индук-

цией двух катушек L_1 и L_3 , что видно в общих чертах на рис. 12. С помощью этой взаимной индукции переводят эти колебания в так называемую «открытую цепь колебаний» II, т. е. в антенну e , которая кроме катушки L_3 содержит еще конденсатор C_2 , заземленный ради лучшей утилизации энергии проволокой d .

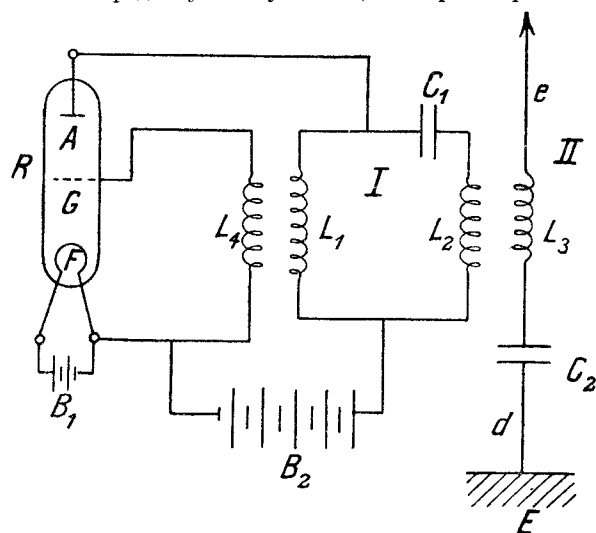


Рис. 12

После того, как в общих чертах указано было получение электромагнитных колебаний, необходимых для радиотелефонии, остается только для полного понимания действия станции отправления объяснить метод превращения звуковых колебаний в электромагнитные. Для этих целей служит микрофон — прибор, который уже давно известен и употребляется также в обыкновенном телефоне. С помощью рис. 13 объяснен принцип действия микрофона. На этом рисунке изображена маленькая батарея B , один полюс которой присоединен к металлической пластинке P , другой же последовательно через амперметр металлической рамке R . В рамке R крепко за-

ката в высшей степени эластичная металлическая мембрана M ; пространство между M и P заполнено мелкими свободно лежащими угольными зернышками. В виду того, что угольные зерна представляют собою сравнительно хороший проводник электричества, — прибор J должен показать присутствие электрического тока, который проходит в данный момент в цепи. Допустим, что перед мембраной говорят. Она подвергается тогда действию воздушных волн и благодаря своей эластичности начинается колебаться. Ритм этих колебаний зависит от рода действующих на нее воздушных волн, поэтому значит и от ритма звуковых колебаний. Вследствие этих колебаний мембраны меняется ритмически плотность слоя угольных зернышек. От плотности этого слоя в свою очередь зависит сопротивление прохождению тока, которое оказывают угольные зернышки. А именно: при увеличении плотности угольного слоя сопротивление уменьшается, при уменьшении же — увеличивается. Таким образом, ритмические изменения в слое влекут за собой соответствующие ритмические изменения сопротивления, следовательно, также и изменения силы тока, которая зависит от сопротивления. Замкнутая электрическая цепь микрофона будет, значит, испытывать изменения силы тока с тем же ритмом, как и звуковые колебания, действующие на мембрану.

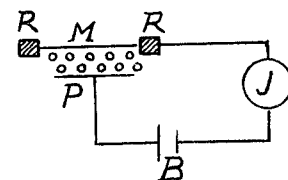


Рис. 13.

При подлежащем, здесь лишь коротко упоминаемом, соединении микрофона с электромагнитной цепью колебаний мы достигаем того, что очертания кривых колебаний силы тока и электромагнитных колебаний подобны, что мы схематически изобразили на наших трех первых рисунках. Волны, посылаемые антенной по всем направлениям почти на неограниченное пространство, принимают таким образом данный звуковой ритм.

Обратимся теперь к рассмотрению приемной станции радиотелефона. Прежде всего необходимо, конечно, объяснить,

таким образом электромагнитные волны могут быть уловлены приемной станцией. Это достигается тем, что устанавливается надлежащим образом настроенная, так сказать, градуированная по принимаемым волнам цепь колебаний, которая и здесь обыкновенно называется антенной. Очень удобна так называемая рамочная антенна. Она состоит попросту из проволоки, которая намотана на крепкую раму, один виток около другого, оба конца проволоки подведены к конденсатору у основания рамы. Емкость этого конденсатора можно регулировать, и с помощью этого происходит настройка на принимаемую волну. Само собой разумеется, что принимаемая волна обладает очень незначительным

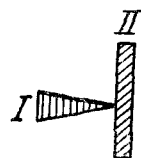


Рис. 14

количеством энергии, так как вся энергия станции отправления распределяется по всем направлениям совершенно равномерно так, что для каждого отдельного направления остается минимальное количество ее. Чтобы получить на приемной станции хотя бы более или менее благоприятный результат, нужно принятые там колебания значительно усилить прежде, чем при помощи нижеописанных приспособлений явятся возможность получить ритм речи станции отправления. Это усиление возможно при помощи той же катодной трубки, если принимаемые колебания пропускаются через цепь решетки. Вследствие уже ранее объясненных и на рисунке 13 показанных процессов в анодной цепи появляются значительно усиленные колебания той же частоты. Последние могут быть использованы для получения звуковых колебаний. Этой цели служит и, так называемый, детектор, соединенный с телефоном. Существуют детекторы самых разнообразных видов, но мы остановимся только на, так называемом, кристаллическом детекторе. Главные части этого прибора — металлическая игла I и к ней слегка прижатая кристаллическая пластинка II (рис. 14). Действие его основано на странном факте, сущность которого еще до сих пор не выяснена, а именно: электромагнитные колебания могут проходить через прибор

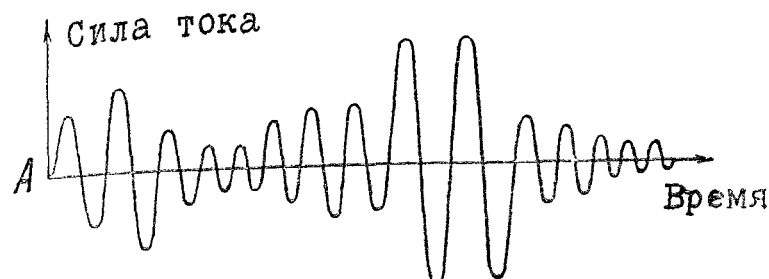


Рис. 15 (a)

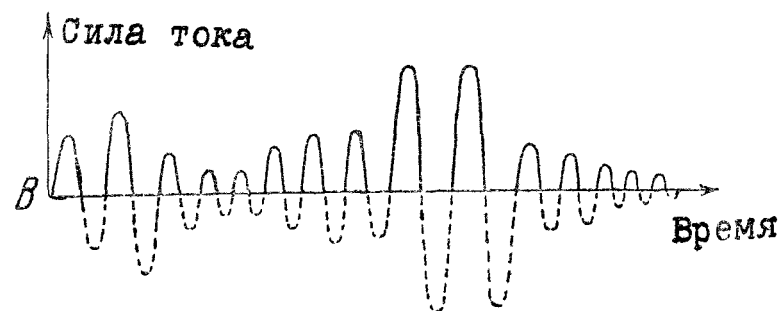


Рис. 15 (b)

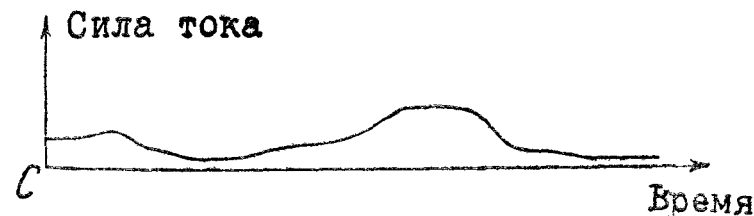


Рис. 15 (c)

только в одном направлении, — в противоположном направлении они теряются. Это действие наглядно поясняет рисунок 15. Кривая А изображает здесь собою электромагнитное колебание, очертание которого подобно какому либо звуковому колебанию; оба друг другу противоположные направления колебаний разделены на рисунке на две половины осью координат времени. Если перенести это колебание на цепь, в которой находится детектор, то импульсы тока будут пропущены только в одном направлении, — в противоположном направлении они будут затухнуть. Последнее отмечено на кривой В тем, что затухшие импульсы, лежащие под осью координат времени, штрихованы. Таким образом мы получаем при помощи детектора ряд чрезвычайно быстро следующих импульсов тока одного и того же направления. Эти импульсы соединяются в проводнике в постоянный ток, т. е. ток одного направления. Сила этого тока, как показывает кривая С, зависит от силы соответствующих импульсов в В. Появляющиеся в С колебания силы тока безупречно соответствуют колебаниям речи

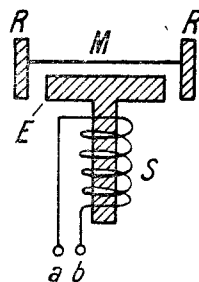


Рис. 16

вызвавшим принятую волну А. С помощью этого дана возможность воспринять в телефоне звуковые колебания. Такой телефон, как это указано на рисунке 16, состоит из тонкой, в высшей степени эластичной железной мембраны, которая крепко зажата в рамке R перед магнитом E. Магнит этот снабжен катушкой из тонкой проволоки, к концам которой включается постоянный ток, о котором была речь выше в связи с кривой С. Изменяющаяся сила этого тока меняет точно в том же ритме силу магнита E, т. е. силу мембраны M, так что мембрана двигается взад и вперед в ритме колебания силы тока. Мембрана, другими словами, выполняет колебания, ритм которых совершенно аналогичен ритму звуковых колебаний, перенесенный принятой электромагнитной волной.

Таким образом, воздушные волны, произведенные телефоном, дают возможность слышать слова, сказанные на станции отправления. Этим самым сделан последний шаг в беспроводной передаче звука на расстояние; все действительно существенное в радиотелефонии объяснено.

Правда, объяснено только самое существенное. Для более точного понимания и более глубокого проникновения в тайники радиотелефонии необходимо объяснить целый ряд подробностей, с одной стороны, чисто научного, с другой же, чисто технического характера. Но уже во вступлении было указано, что рассмотрение подробностей не входит в задачи этой краткой статьи. Мы хотели ограничиться только основами, хотели дать хотя бы приблизительное представление о сущности радиотелефонии. Желющие заняться этим вопросом более подробно должны обратиться к специальной литературе. С этой целью прилагаем к концу характеристику трех книг, которые, как нам кажется, заслуживают в первую голову внимания. При этом порядок характеристики этих книг был установлен с таким расчетом, что от менее подробного описания переходят к более полному учебнику.

ЛИТЕРАТУРА

Hans Fern, Die Radiofibel, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. Leipzig 1924, цена 1.50 M.

Эта книга представляет собою первое введение в теоретические основы беспроводной телефонии она не требует значительной специальной подготовки. Не придется особенно большого значения объяснениям подробностей технического характера. Книга старается уяснить наиболее существенное и дать при помощи простых и наглядных рисунков легко понятные объяснения.

P. Lertes, Der Radioamateur, 3 Auflage, Verlag von Theodor Steinkopf, Dresden 1924 цена в переплете 7.50 M.

Во вступительной главе разъясняются основные физические и электротехнические понятия. Вторая глава разбирает

различные системы станций беспроволочного телеграфа. Темой третьей главы является радиотелефония. В четвертой главе говорится о любителях беспроволочного телеграфа и телефона в Германии и за границей. В пятой главе дан краткий исторический обзор развития беспроволочного телеграфа и телефона. В приложении имеется, между прочим, список больших станций беспроволочного телеграфа и телефона, время отправления метеорологических сведений важнейших европейских станций, список важнейших немецких радиоприемников, цены радиоаппаратов и их частей, а также и официальные постановления о немецких центральных радиостанциях.

E. Nesper, Der Radioamateur „Broadcasting“, 3 Auflage, Verlag von Julius Springer, Berlin 1923.

Очень обширный и чрезвычайно богато иллюстрированный и прекрасно изданный учебник беспроволочной телеграфии и телефонии. Этот учебник дает сведения как о важных подробностях технического характера, так и о различных схемах соединений. В особенности обращается он к таким читателям, которые хотят сами построить себе приемную станцию. Эта книга содержит, поэтому, указания для постройки всех отдельных частей; далее, что любителю очень полезно, имеется большое число таблиц, кривых и формул. Особенного внимания заслуживает описание экспериментального ящика по радиотехнике Е. Неспера, выпущенное на рынок «Broadcast» в Берлине. Этот ящик содержит необходимые для важнейших схем соединений аппараты, с помощью которых возможна приемка отдаленных станций отправления.

Наконец, следует еще указать на издаваемый Е. Неспером журнал «Der Radioamateur», который является органом немецкого радиоклуба. Журнал выходит в Издательстве Julius Springer. Подписная цена в месяц — 0,40 марок.

С М Е С Ъ

АЭРО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ В ГЕТТИНГЕНЕ

Колоссальное развитие техники воздухоплавания во время войны сопровождалось значительными успехами теории полета. Задачей такой теории полета является, очевидно, прежде всего объяснение того факта, что полет тяжелого тела в воздухе вообще возможен. Разрешение этой проблемы важно не только из чисто научных соображений, но имеет кроме того большое практическое значение. Так как, если бы действительно можно было бы дать себе отчет до мельчайших подробностей во всем том, что происходит при движении тела в воздухе, если бы даже, все факторы, от которых зависит характер полета, были бы известны, то должна была бы явиться возможность построить на основании чисто теоретических данных такую машину, которая вполне удовлетворяла бы всем требованиям; т. е. такую машину, которая совмещала бы наибольшую скорость полета и высоты подъема с наибольшей полезной нагрузкой и надежностью работы. Такая конструкция позволила бы наиболее экономично использовать все полезные факторы, вредные же наоборот, по возможности, сократить. Без труда можно было бы вычислить все то, что достигается обыкновенно с помощью трудных опытов на летательном аппарате, — опытов, число которых обязательно следует сократить до минимума не только вследствие их колоссальной стоимости, но особенно в виду связанной с ними опасности для жизни.

Однако математически обоснованные исследования этих движений в воздухе, которые, между прочим, аналогичны движениям в воде, наткнулись на массу препятствий, преодоление которых казалось почти безнадежным. Результаты, достигнутые с помощью некоторых теоретических предположений не имели никакого практического значения. Правда, в настоящее время в этом отношении произошла существенная перемена. Фундаментальным работам Ленчестера, и особенно Кутта, Жуковского, а также и Бранделя обязаны мы теорией полета, которая настолько совершенна, что ей должна быть приписана заслуга дать по крайней мере в общих чертах картину явлений сопровождающих полет. В частности мы знаем, что последние из целого ряда причин, влекущие за собой сопротивление и подъемную силу, следует искать в некоторых явлениях, которые происходят в очень тонких, непосредственно омывающих плоскости аэроплана слоях воздуха. Эти явления заключаются главным образом в том, что они вызывают вихревые движения воздуха. Последние влекут за собой изменение давлений таким образом, что на верхней стороне плоскостей давление меньше, чем на нижней. Эта разница давлений выражается в подъеме.

Не смотря на то, что прогресс теоретических исследований неопровержим, а в некоторых случаях теория имеет даже возможность разобрать вопрос до мелочей, все же она в том положении, в каком сейчас находится, не может еще вполне удовлетворить всем требованиям практики. Некоторые вопросы, которые имеют для аэротехники большое значение остаются теорией не разработанными. Нужно поэтому значительное усовершенствование теории, чтобы она была в состоянии в таком случае оказать помощь. Техник в это время, конечно, не может оставаться бездейственным; потребности практики заставляют его прибегнуть к самопомощи. С помощью опытов пытается он приобрести знания необходимые для разрешения его проблем. Но и в данном случае наука может указать ему путь, говоря каким образом можно результаты, полученные на сравнительно малых моделях при легко регули-

руемых условиях опыта, перенести на машины натуральной величины. В различных пунктах земного шара появились так называемые аэро-динамические опытные станции, где для продуктивности работы объединились ученые и техники с целью усовершенствовать авионавтику. Поразительно, сколько сделано было здесь в сравнительно короткое время. Широкие круги общества может прекрасно с этим ознакомить издание, которое вышло пока в двух выпусках под заглавием «Ergebnisse der aerodynamischen Versuchsanstalt zu Göttingen» в издательстве R. Oldenburg (München u. Berlin) выпуск 1, 1921; выпуск 2, 1923; первая часть имеется в новом почти неизменном издании. Последующие строки должны служить попыткой дать на основании этих трудов краткие сведения о деятельности этой аэродинамической опытной станции. Труды эти вышли под редакцией проф. Прандтля, заведующего Геттингенской станцией. Чтобы получить более точное представление об этом, настоятельно рекомендуется самому прочесть эти прекрасно изданные выпуски.

Во вступлении сообщается история возникновения станции; в первой главе описана сама станция и ее разнообразные приспособления. Когда настоящий летательный аппарат движется по воздуху с определенной скоростью, то это влечет за собой целый ряд явлений. На опытной станции подражают этим явлениям тем, что подвешивают достаточно уменьшенную в своих главных частях совершенно точную модель аэроплана в равномерную и прямолинейную струю воздуха. С помощью особых приспособлений измеряются силы, т. е. сила сопротивления и подъемная сила, действию которых подвергается модель под влиянием течения воздуха. Пользуясь простыми формулами можно полученные результаты перевести на настоящие аэропланы. Таким образом возможно исследовать особенности различных систем аэропланов и выбрать из них наилучшую.

В этом коротком описании важнейших задач аэродинамической опытной станции достаточно выяснено, что главным аппаратом станции будет так называемый воздушный

канал, т. е. приспособление, в котором модели подвергаются действию струи воздуха, и при этом производятся все необходимые измерения. Главная трудность состоит в том, что в искусственных воздушных течениях постоянно появляются довольно сложные вихревые движения, которые конечно, влияют довольно значительно на воздушные силы, действующие на летательный аппарат. Чтобы иметь более или менее приемлемое приспособление, нужно сократить эти влияния до возможного минимума. Нужно, следовательно, обратить внимание на тщательность конструкции прибора для успокоения воздуха. Нет поэтому ничего удивительного в том, что описание такого аппарата в Геттингенском издании занимает сравнительно много места. Это описание содержит для специалиста множество важных подробностей, которые, конечно, для неспециалиста менее интересны. Мы их поэтому опустим и удовлетворимся только коротким замечанием. Сильный вентилятор производит струю воздуха, которая в помещении для опыта имеет сечение в 4 кв. метра и может быть доведена до скорости в 50 метр. в секунду. Хорошо продуманный регулятор дает возможность сделать скорость воздуха постоянной, так что с этой стороны не может произойти ошибок. Модель, которая подлежит исследованию, подвешивается на так называемых «весах трех составляющих» — приспособлении, с помощью которого можно непосредственно измерить силы, действующие на модель под влиянием струи воздуха, а именно: с одной стороны подъемную силу, с другой силу сопротивления. И здесь также мы вышли бы за рамки нашей статьи, если бы хотели познакомить наших читателей с конструкцией этих весов. Интересующимся этим вопросом мы должны посоветовать обратиться к оригиналу.

Вторая глава первого выпуска дает короткий обзор Прандлевской теории несущих плоскостей. Этот обзор, правда, может прочесть с пользой только тот, кто уже обладает некоторой подготовкой. В третьей главе описаны детали техники опытов и постройка моделей. Четвертая самая важная глава этой книги содержит чрезвычайно богатое собрание эк-

спериментально достигнутых результатов. Сообщенный здесь материал отличается поразительной разносторонностью. И неспециалист должен при перелистывании прийти к тому заключению, что он имеет перед собой богатый клад для инженера строителя летательных аппаратов. И действительно Геттингенские результаты имеются у каждого аэротехника; на аэропланых заводах они служат справочником. Форма поперечного сечения, несущих плоскостей аэроплана, так называемый профиль, имеет решающее для их свойств значение. Самые разнообразные профили подверглись поэтому в Геттингене подробнейшим испытаниям относительно их сопротивления и подъемной силы. Сотни профилей были испытаны и результаты этих измерений занесены в таблицы, причем соответствующий профиль каждый раз точно воспроизведен. Из приведенной литературы видно, какое большое участие принимают сотрудники Геттингенской опытной станции в развитии научной аэронавтики.

Второй выпуск «трудов» аналогичен в распределении материала с первым. Он также начинается описанием новых приспособлений и измерительных приборов, переходит потом к теории сопротивления у многоповерхностных планеров и кончает сведениями о новейших чрезвычайно важных опытах, на которых мы также не можем подробно останавливаться.

Резюмируя все это, нужно подчеркнуть, что оба выпуска как с научной, так и с технической стороны равноценны. Их богатейший материал будет еще долго иметь громадное значение. Геттингенской станции и ее заслуженному заведующему нужно только пожелать, чтобы и в будущем они имели достаточно средств, которые необходимы для продолжения их успешной работы.

О НЕБЬЮЩЕМСЯ И КОВКОМ СТЕКЛЕ

Сотрудник иенской стекольной фабрики «Schott und Gen.» Э. Бергер опубликовал недавно интересную статью о ломкости стекла, вызываемой механическим и тепловым воздействием (срав. «Die Naturwissenschaften» 12-ый год издания, выпуск 4, стр. 79—83, 1924). Эта статья была вызвана рекламными объявлениями, главным образом американского происхождения, в которых «небьющемуся стеклу» приписывались самые невероятные свойства; сообщаем здесь вкратце содержание этой статьи.

Причиной разбиваемости стекла является физическое свойство, называемое обыкновенно хрупкостью. Каждое вещество обладает, как известно, в большей или меньшей степени свойством эластичности, т. е. свойством менять под влиянием сил давления или натяжения свою протяженность и принимать первоначальные размеры при прекращении действия этих сил. Если действовать, например, на металлическую проволоку силой натяжения, то она растягивается так, что это удлинение исчезает, если действие силы натяжения прекращается. В случае, если действие силы натяжения перешло известную границу, то оказывается, что при удалении действующей силы, проволока подверглась постоянному изменению, которое тем значительнее, чем сильнее было действие силы натяжения; при известном максимуме натяжения проволока наконец разрывается. Таким образом металлы обнаруживают сначала эластичность, затем они растягиваются, т. е. частицы передвигаются по отношению друг к другу, далее наступает момент, так называемой тягучести металла, пока, наконец, не достигается момент разрыва. Совершенно иначе обстоит дело со стеклом. Оно, правда, обладает в довольно значительной степени свойством эластичности, но лишено зато совершенно тягучести, так что момент разрыва наступает непосредственно после прекращения способности принимать первоначальную форму. Это как раз то свойство

стекла, которое называется хрупкостью. Аналогично обстоит дело и при ковке. При помощи сильного удара переходитесь здесь граница эластичности, и металлы могут при этом изменять свою форму; у стекла, напротив, удар влечет за собой излом, так как хрупкость исключает тягучесть. Вследствие этого существование ковкого стекла будет до тех пор невозможным, пока не удастся каким либо образом уничтожить его хрупкость. При помощи различных фактов Бергер, однако, доказывает, что физические свойства стекла будут, по всей вероятности, всегда препятствовать достижению этой цели. В известных случаях, напротив, возможно уменьшить в довольно значительной степени ломкость стекла при механическом воздействии; конечно, очевидно, что подобное «каленое стекло» обладает очень ценными для техники преимуществами.

Что же касается известной ломкости стекла при сильной и внезапной перемене температуры, то ее можно уменьшить только выработкой таких сортов стекла, которые обладают наименьшей расширяемостью под влиянием теплоты. Идеалом в этом отношении было бы кварцевое стекло, которое можно, не вызывая ломки, опустить в раскаленном виде в холодную воду. Однако, вследствие тугоплавкости и высокой цены, оно едва ли имеет практическое значение; нужно было поэтому испробовать приблизиться к нему в отношении теплостойкости при помощи специальных сортов стекла. Известно, что в Иене уже издавна изготавливаются стекла, которыми в этом отношении достигнуты поразительные результаты; — здесь достаточно напомнить о газовых цилиндрах у ауэровских колпачков, которые изготавливаются из так называемого шоттовского цилиндрического стекла. Что же касается вышеупомянутых американских стекол, то здесь идет дело о стеклах подобных некоторым известным иенским, и которые в отношении их характерных свойств никоим образом не могут их значительно превосходить.

БИБЛИОГРАФИЯ

Fritz Knapp: *Die künstlerische Kultur des Abendlandes. Eine Geschichte der Kunst und der künstlerischen Weltanschauungen seit dem Untergang der Alten Welt.* Bonn und Leipzig; Kurt Schröder 1923. 3 тома 435, 507, 437 стр с иллюстр.

Автор дает очерк развития изобразительных искусств от раннего средневековья до наших дней. Первый том, озаглавленный «Vom architektonischen Raum zur plastischen Form», посвящен средневековому искусству и раннему ренессансу, второй — «Der Sieg der malerischen Anschauung» — расцвету ренессанса (чинквеченто), барокко и рококо, третий — «Die malerische Problematik der Moderne, vom Klassizismus zum Expressionismus» рассматривает искусство последних полутора столетий от Винкельмана до новейшего экспрессионизма. В основе развития искусства для автора лежат две проблемы: проблема пространства и проблема формы. Искусство запада по мнению автора представляет собой синтез чувства бесконечности (Unendlichkeitssinn), характерного для христианского мирозерцания, с чувством действительности (Wirklichkeitssinn), характеризующим античность. «Целью творческого создания для одного является пространство, бесконечное, глубина, универсальное, для другого — форма, вещественность, ограниченное. Творить пространство и форму все вновь и вновь стремится художественное воображение. Благодаря ему живопись достигает наконец удивительных, небывалых ранее приемов выражения, вмещающих в себе и пространство и форму. В средние века целью является непостижимое, бесконечное, в эпоху Возрождения осязаемый, пластический объект. В эпоху барокко оба течения сливаются: сперва телесность материи в смысле ренессанса преобладает, но рококо вновь вы-

двигает стремление (Sehnsucht) к бесконечному. Дело дошло почти до абстракции; необходимое теперь опять обновление чувства действительности не было достигнуто классицизмом, обращавшимся не к природе и не к чувству природы, а искавшим спасение в подражании формам прошлого. И с тех пор пространство и форма все более стали утрачивать свою жизненную сущность. Атмосферизм пленеристов, импрессионизм были последним обманом... Только когда искусство вновь вырывается над техническими эффектами, когда оно перестанет видеть свою цель в рационалистическом расчете или в чисто внешнем воздействии на чувственные инстинкты и вместо того опять будет искать выражения для мощного внутреннего чувства жизни, только тогда оно опять станет возвышенным, жизненным, могучим подвигом духа...»

Такова схема автора и проведена она последовательно и убедительно. Подкупает чрезвычайно живое, если можно так выразиться, личное отношение автора к своему предмету. Он откровенно признается, что целью его было «дать не энциклопедию, не справочник, а сообщить о собственных переживаниях перед созданиями искусства». Эта субъективность, конечно, влечет за собою некоторую неровность изложения; где автору приходится говорить о художниках и течениях, менее близких его сердцу, он часто делается сухим и поверхностным, но этот недостаток вполне искупается многочисленными другими страницами, как например, главы о венецианской школе, о Рубенсе, Милле, Фейербахе и др. Одним из важнейших достоинств книги являются прекрасные, наглядные, совершенно чуждые фразерству описания отдельных картин. А. Л.



Wilhelm von Kugelgen: *Lebenserinnerungen des Alten Mannes in Briefen an seinen Bruder Gerhard 1840—1867.* Bearbeitet und herausgegeben von Paul Siegwart v. Kugelgen und Prof. Dr. Johannes Werner. Leipzig; K. F. Koehler 1923. 400 стр. с иллюстр.

Имя художника Вильгельма фон-Кюгельгена, автора одного из ценнейших и прелестнейших произведений немецкой

мемуарной литературы («Jugenderinnerungen eines alten Mannes») тесно связано с Россией. Мать его, баронесса Цере фон Мантейфель, была уроженка Лифляндии, сам он родился в Петербурге (20 ноября 1802 г.), где временно проживал его отец, известный художник — портретист Гергард фон Кюгельген. Брат Гергарда фон Кюгельгена, Карл, приехавший вместе с ним в Петербург, остался там в качестве придворного художника; внук его — П. К. фон Кюгельген, умерший в 1904 г. редактор «St. Petersburg Zeitung», видный немецко-русский публицист.

Детство Вильгельма Кюгельгена протекло в Дрездене, где отец его был профессором при академии художеств. Именно этому детству посвящены «Eigenerinnerungen eines alten Mannes», чрезвычайно живо рисующие жизнь в семье художника, отношения его к современникам, к двору. Эпизоды из эпохи занятия саксонской столицы войсками Наполеона, встречи с разными оригиналами доброго старого времени и, наконец, в изображении переживаний самого автора дающие ценный материал из области детской психологии. Живость и теплота — характернейшие особенности воспоминаний Кюгельгена, невольно заставляющие вспомнить «Детские годы Багрова — внука».

Воспоминания Вильгельма фон Кюгельгена заканчиваются 1820 годом — трагической смертью его отца, убитого грабителем в окрестностях Дрездена. Унаследовавший от отца талант Вильгельм фон Кюгельген продолжал свое художественное образование в Риме, в 1828-29 г. г., был в Петербурге, получил титул придворного художника, но не мог там ужиться, в 1833 г. в качестве придворного художника был приглашен в Балленштедт в Гарце, к герцогу Ангальт — Бернбургскому, впоследствии был назначен камергером и играл весьма видную роль при дворе и управлении герцогством, когда в виду душевной болезни герцога его жена была провозглашена регентшей. 1846 год он почти весь провел в Петербурге, где вместе с своим родственником Нефом расписывал Исаакиевский собор. Умер он 25-го мая 1867 г. в Балленштедте.

Предлагаемая книга, изданная сыном П. К. фон Кюгельгена и преемником его по редакции «St. Petersburg Zeitung», Павлом Павловичем фон Кюгельгеном, в сущности, не представляет собою продолжения «Воспоминаний» В. ф. Кюгельгена. Это письма, адресованные его брату, жившему в Эстляндии. Но эти письма обнимают такой обширный период времени и так подробно, живо, наглядно рисуют жизнь автора и его близких во всех мелочах, в них столько теплоты, поэзии, тонких мыслей и замечаний, что не только читаются с захватывающим интересом, но безусловно ощущаются читателем как нечто целое, законченное в себе. Это — письма хроника, письма-дневник, и поэтому заглавие, данное книге издателями, может быть вполне оправдано. Читаются письма с неослабевающим интересом; они дают прелестную бытовую картину жизни в маленькой германской столице эпохи «Biedermeier», картину, которая не смотря на обилие мелких черточек, никогда не становится мелочной, так как надо всем стоит личность автора писем, не только тонкого наблюдателя, но и человека с недюжинным умом и золотым сердцем, обладающего одним ценным для бытописателя даром — юмором. Особенно интересны письма о революции 1848 года, принимавшей в маленьком Балленштедте порой чисто опереточный характер.

Во вступительной статье издателя подробно рассказана история этих писем, сохранившихся не в подлиннике, а в копии, сделанной адресатом, (три тома, 1329 стр.). Рукопись в 1913 году перешла в собственность П. П. фон Кюгельгена, который тогда же задумал издание их. Война помешала осуществлению этого плана; в 1918 году рукопись считалась уже погибшей, но потом она отыскалась вновь и нашлась возможность вывезти ее в Германию. Напечатаны, конечно, не все письма; издатели позволили себе не только значительные пропуски, но и перестановки, руководясь — как сказано в предисловии — мыслью: как бы поступил автор, если бы он с тем же вниманием и с той же любовью, с какими работал над своими «Воспоминаниями юности», редактировал для печати

и эти письма? Так издатели, желая сохранить отдельные особенно характерные, меткие выражения, находящиеся в письме, не подлежащем опубликованию, переставляли эти фразы в другое подходящее место; если одна и та же тема трактовалась несколько раз, они вырабатывали сводный текст, который помещали там, где это казалось им наиболее удобным. Против таких редакторских приемов, конечно, можно спорить, но нельзя отрицать факта, что в результате получилась чрезвычайно интересная книга, представляющая собою ценный литературный и культурный документ.

А. Л.



August Wilhelm von Schlegel: *Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur*. Kritische Ausgabe, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Giovanni Vittorio Amoretti. Bonn und Leipzig: Kurt Schröder 1923 г. 2 тома, CXIV, 218 и 338 стр.

Лекции вождя германского романтизма Августа Вильгельма Шлегеля о драме, читанные им в 1808 году в Вене, являются одним из важнейших «манифестов» романтической критики. И как ни чужды нам теперь многие из романтических построений Шлегеля, отдельные страницы его лекций — о Шекспире, Кальдероне, Еврипиде — и сейчас еще читаются с захватывающим интересом. Об историческом значении этих лекций, конечно, и говорить нечего. Предлагаемое новое издание их и по внешности и по тщательности произведенной издателем филологической работы — великолепно. Вступительная статья Дж. В. Амореtti дает прекрасную общую характеристику Шлегеля вместе с критической оценкой его драматической теории, текст тщательно проверен; в основу положено второе издание лекций 1817 года, но в примечаниях отмечены все важнейшие варианты первого издания 1809 г. и третьего, посмертного 1846 года. К изданию приложен подробный индекс; в типографском отношении издание не оставляет желать ничего лучшего.

А. Л.



Diesterwegs populäre Himmelskunde und mathematische Geographie. 25-ое издание. Под редакцией проф. Арнольда Швасмана. Издание Henri Grand, Hamburg 1924.

Популярная астрономия Дистерверга, являющаяся уже издавна любимейшей и известнейшей общедоступной книгой по этому вопросу, выходит сейчас в 25-ом издании. Это служит верным доказательством того, что книга эта в наилучшей степени отвечает требованиям широких кругов общества. В новом издании, по замечанию автора, было возможно, «переработав главу о скоплениях звезд и о туманностях, дать объяснение, удовлетворяющее новейшим теориям касающимся этой важной области. Дополнив текст обзором астрофизических приборов, было возможно ознакомить с успешными методами работы астрофизики. С помощью четырех новых иллюстраций с фотографическими изображениями светлых и темных туманностей в мировом пространстве и с изображениями новейших аппаратов читателю становится все это более понятным. Особенное внимание было обращено на приложение двух иллюстраций, которые дают представление о телескопе с наибольшей светосилой, постройка которого недавно закончена. Этот телескоп — рефлектор Гукера обсерватории «Mönnit Wilson» в Калифорнии имеет зеркало диаметром в $2\frac{1}{2}$ метра. Наблюдая с помощью этого телескопа интерференцию света звезд, Михельсону удалось впервые измерить диаметр звезды. Книга эта в особой рекомендации, конечно, не нуждается, но все — же нужно особенно отметить богатую тщательно подобранную иллюстрацию, а также и прекрасное издание.



Erich Marx: *Röntgenstrahlen, Radium und die Materie*. Zellenbücherei N 68. Издание Dürr und Webes m. b. H., Leipzig 1923. Цена 1 марка 50 pf.

Известный лейпцигский физик рассматривает в шестнадцати главах некоторые наиболее интересные вопросы новейшей физики. Автор этой статьи известен своим обширным

трудом «Handbuch der Radiologie». В своей статье ему удалось так коротко и легко понятно изложить тему, что и не специалист получает ясное представление о новейших проблемах атомной физики. Книжке следует пожелать широкое распространение.

★

F. M. Feldhaus. *Ruhmesblätter der Technik.* Первый том, второе издание. Без переплета 7,50 м., в переплете 9 марок. Издание Friedrich Brandstetter, Leipzig 1924.

Картины из истории техники могут рассчитывать на широкий круг читателей в такое время, которое с гордостью может называться веком техники. Автор, уже давно в технической литературе известный знаток истории техники, говорит в общедоступном и легко читаемом изложении о водных колесах и турбинах, двигателях внутреннего сгорания, о телегах, железных дорогах, велосипедах, роликах, об автомобилях, пароходах и подводных лодках, о водолазных приспособлениях. Несколько сот оригинальных иллюстраций открывают часто перед нашими глазами восхитительные картины, которые заставляют чувствовать разносторонние достижения современной техники, как замечательный культурный прогресс.

★

Thorndike *Hystori of Magic and Experimental Science.* 2 тома. New-York, The Mac Millan Company 1923.

Автор этого обширного прекрасно изданного труда опубликовывает здесь результаты почти двадцатилетнего изучения истории магии в течение первых 13 столетий нашего летоисчисления. Автором тщательно просмотрен такой богатый материал рукописей, книг и инкунабул, из которых извлечена такая масса культурно-исторически чрезвычайно значительных фактов и взаимоотношений, что нет никакой возможности дать в рамках даже подробной рецензии хоть неко-

торое об этом понятие. Выхватим поэтому совершенно произвольно лишь следующее: Плоний, Гален, Плутрах, неоплатоники, гностики, христианские апокрифы, Августин, медики после классического периода, арабская окультная наука девятого века, астрология, алхимия и медицина 9 по 12 веков, ранняя схоластика, переводчики арабских астрологов 12-го века, снотолковательные книги древних и средних веков, Альберт Великий, Фома Аквинский, Роджер Бекон, Петр Абанский, Бонатти, Лул, Чеко д'Асколи. Удивительное умение автора, с которым он, несмотря на постоянные цитаты из оригинальных произведений, удерживает не только плавное, но даже увлекательное изложение. Эту историю тайной и окультной науки мы можем поэтому нашим читателям порекомендовать самым настойчивым образом, как единственное в своем роде явление в мировой литературе.

★

Karl Arnold. *Repetitorium der Chemie.* 16-ое издание Verlag von Leopold Voß, Leipzig 1923. Цена в переплете 9,60 марок.

Повторительный курс химии Арнольда представляет собой краткий обзор всей химии, который предназначается в первую очередь студентам — медикам для экзамена по естествознанию, а также и как справочник во время практики. Эту книгу можно со спокойной совестью порекомендовать и более широким кругам общества, как подробный учебник органической и неорганической химии. В отличие от прежних изданий, новое снабжено короткими главами общего характера о красильных, кожевенных заводах, взрывчатых веществах, стеклянных и глиняных изделиях, удобрениях, белильных веществах, ароматичных веществах, жирах, сплавах, а также и о металлургии. Атомные и молекулярные исследования изложены подробнее, многие главы подверглись вновь полной обработке. Указатель содержит более 8000 названий и дает таким образом наилучшее представление о богатстве содержания этой книги.

★

Astronomie. Unter Redaktion von J. Hartmann, bearbeitet von Ambronn, Boll, v. Flotow, Ginzel, Graff, Guthnick, Hartmann, v. Hepperger, Kobold, Oppenheim, Pringsheim. Издание B. G. Teubner, Leipzig und Berlin 1921.

Эта книга, как часть грандиозного редактируемого П. Гиннебергом труда: «Die Kultur der Gegenwart» (Современная культура), рассматривает положение астрономии в общей картине нашей современной культуры. Указывает на ее влияния на нашу жизнь в течение столетий, а также ее современное отношение к другим наукам. Эта книга содержит следующие отдельные статьи: Боль: Развитие астрономической картины мира в связи с религией и философией; Гинцель, Летоисчисления, Гартман, Измерение времени; Амброн, Астрономическое определение местности; Флотов, Расширение понятия пространства; Гепергер, Механическая теория планетной системы; Граф, Физическое исследование планетной системы; Прингсгейм: Физика солнца; Гутеник, Физика неподвижных звезд; Кобольд, Звездная система; Амброн, Отношение астрономии к искусству и технике; Оппенгейм, Тяготение. Общая цель, к которой стремились все авторы, объединяет их самостоятельные труды в одно целое и дает живое представление о той значительной роли, которую играла и играет астрономия в науке.

Несмотря на то, что эта книга не должна была стать систематическим учебником в полном смысле этого слова, едва ли найдется какой либо специальный вопрос, ответ на который нельзя было бы здесь найти. Имеются даже современные теории физики о внутренней структуре неподвижных звезд. В последней статье изложена теория относительности и теория тяготения Эйнштейна в таком объеме, какой необходим для понимания их отношения к проблемам астрономии. К каждой статье приложен список литературы, который содержит полезные указания для специального изучения того или иного отдела. Более 40 иллюстраций, 8 фотографий интересных небесных тел, и также и большое количество таблиц служат приложением к этому труду. Тщательно составлен-

ный указатель позволяет пользоваться этим трудом как справочником, который дает безупречные и понятные ответы на все вопросы.

★

E. P. Adams. *The Quantum Theory.* Второе издание. The National Research Council of the National Academy of Sciences Washington 1923

Автор дает здесь общий обзор принципов теории квант и типическое применение ее в целом ряде физических проблем, как например, скрытая теплота твердых тел, кинетическая теория газов, строение атомов, линии спектра, актино-электрические явления так же как и теория магнетизма. Обладающий необходимыми математическими познаниями может с большой пользой для себя воспользоваться этой содержательной книгой, как введением в современные проблемы физики.

★

E. Study. *Mathematik und Physik.* Eine erkenntnistheoretische Untersuchung. Sammlung Vieweg. Heft 65. Издание Vieweg u Sohn. A. G. Брауншвейг 1923. Цена 1,50 марок.

Заслуживающая серьезного внимания книга известного боннского математика, занимающаяся выяснением того, что в теоретической физике должно быть отнесено в область математики, и что имеет специфически физический характер. Указывается на то, что содержание современной физики состоит из трех частей, имеющих совершенно различный гносеологический характер. Первая часть принадлежит чистой математике; ее метод — дедукция. Вторую часть составляет экспериментальная физика с индукцией, как методом; в то время как третья часть является связующим звеном между первыми двумя, — это прикладная математика с методом идеализации. Эта третья часть вместе с математической теорией составляет теоретическую физику.

★

Wilhelm Filchner. *Sturm über Asien.* Erlebnisse eines diplomatischen Geheimagenten. Berlin, Neufeld und Henius, 1924.

С именем Тибета в глубине Центральной Азии соединяется большей частью представление о пустынных плоскогорьях, с воздымающимися к небу снеговыми вершинами. Вспоминают смелые путешествия Свена Хедина, ряд важных русских экспедиций, а в последнее время, конечно, с напряжением следят за попытками — доселе тщетными — английских спортсменов одолеть Монт-Эверест.

И вместе с тем редко кому приходит на ум мысль, что эта таинственная область Центральной Азии имеет свою историю, что ее обитатели несколько раз влияли на общие политические судьбы Азии, и что Тибетская горная страна является полем дипломатической борьбы между Россией и Англией. В эти вопросы прекрасно вводит новая книга, которую только что выпустил в свет известный исследователь Тибета Wilhelm Filchner

Эта книга передает в чрезвычайно захватывающей форме политическую историю Тибета, приблизительно с начала нового столетия. Главным действующим лицом является русский бурят, носящий монгольское имя Церемпила. Он был агентом русского правительства при дворе Далай-Ламы и пытался оказывать влияние на судьбы Тибета в борьбе с англо-индийскими интересами на юге и китайскими на востоке. Из его дневников мы узнаем — вероятно, впервые с большой объективностью — о тибетских событиях за последние 25 лет. Мы принимаем участие в разнообразных путешествиях Церемпила, полных опасностей; мы переживаем вступление английской военной экспедиции в резиденцию Далай-Ламы в 1904 году, различные фазисы геройской борьбы монастырей с китайцами, достигающей, например, в описании (в 8-ой главе) падения монастыря Занг-пи-линц драматически-захватывающего напряжения, и попутно узнаем бесчисленные частности из культурной и религиозной жизни туземцев. Описание истории Тибета доведено до наших дней, когда влияние русской революции проникает вглубь горной Азии.

Автор с большим искусством бросает свет на таинственно сплетенную сеть духовных, политических и религиозных нитей, за которой уже многие годы живет Тибет и разовьется ко благу или на несчастье России или Англии. Читатель с изумлением узнает, что все нити политически сходятся в руках неутомимой и необычайно ловкой и способной приспособиться дипломатии Далай-Ламы — грозного верховного главы буддийской мощи Монголии. Книга Фильхнера превосходно вводит в понимание будущего развития истории Центральной Азии.

Г. П.



Lehner, Wilhelm. *Die Eroberung der Alpen.* München, Hochalpenverlag, 1924. (XI, 727 S., 49 einfarb. Taf., 2 Tab.) 4°.

Mount Everest. *Der Angriff 1922.* Von Brigade-Gen. Hon. C. G. Bruce, C. B., M. V. O. u. a. Teilnehmern. Deutsch von Willy Gustav Rickmer-Rickmers. Mit 35 Bildern und 2 Karten. Basel, Schwabe & Co., 1924. (VIII, 199 S.), gr. 8°. Geb. Mk. 10,—.

В то время, как в древности и в средние века не могли без ужаса думать о вступлении в альпийские области, в наши дни мир глетчеров и громады скал совершенно потеряли свое устрашающее значение. Теперь горные цепи во всем мире стали доступны, они тригонометрически измерены и вершины их, за исключением высочайшей из них, — Монт-Эвереста в Гималаях — осилены в смелых экспедициях и под'емах. Но лучше всего известны и наиболее часто посещаются, несомненно, Альпийские горные высоты, и первый под'ем на их высочайшую гору Монблан (соверш. 8-го августа 1786 г. Жаком Бальма и М. Г. Паккардом) был, так сказать, рождением «альпинизма». С тех пор все части Альп непрерывною цепью завоеваны человеком. Разумеется, и альпийская литература с тех пор, как человек научился покорять Альпы, должна была получить неожиданное развитие. Число альпинистских книг, описаний путешествий, периодических изданий, путеводителей и карт — огромно: величайшая в этой области специальная библиотека, принадлежащая Альпий-

скому обществу в Мюнхене, насчитывает уже свыше 40 000 томов. История развития альпинизма тоже вызвала большой интерес, и каждый настоящий альпинист с воодушевлением читает описания открытия альпийских областей и первых подъемов на знаменитые вершины. Но все же до сих пор не доставало труда, объединяющего в цельном плане и изложении все сделанное до сих пор. Теперь такой труд имеется в названной выше, обширной монументальной книге Ленера (Lehner), с которой хотелось бы познакомить и читателей «Беседы».

В первых трех главных отделах изложена история ознакомления с Альпами, начиная с древнейших времен, когда римляне перешли Сен-Бернар, и кончая новейшими подвигами смелой альпинистики. В 4-ой части обсуждаются успехи альпинизма во вне-европейских горных областях включая новейшие попытки англичан подняться на вершину Монт-Эвереста. Сюда присоединяются в форме таблиц списки самых более важных подъемов, впервые совершенных в Восточных и Западных Альпах, и особое украшение книги составляют умело подобранные картины из всех эпох, показывающие нам в то-же время как бы в разрезе всю историю альпинизма. Имеются также и богатые указания специальной литературы. Все в целом представляет собой стройное произведение, которому можно пожелать распространения в широком кругу читателей.

Во внеевропейских горных областях наибольший интерес вызывают попытки англичан достигнуть, наконец, вершины Монт-Эвереста, высочайшей горы земного шара. В 1921 г. была закончена весьма успешная разведочная поездка и первая атака вершины произведена летом 1922 года, однако была отбита. В прошлом году, во втором выпуске нашего журнала, на стр. 358—377, подробно изложены обе эти экспедиции на основании подлинных английских сообщений. Тем временем появился и официальный отчет второй экспедиции под указанным выше заглавием. На страницах этого прекрасного изданного тома руководитель экспедиции, известный

исследователь Гималаев, генерал Брюс, дает сначала общий отчет об экспедиции, а затем следует подробное изложение попыток известных альпинистов Маллори (Mallory) и Г. Финча (Finch) достигнуть вершины. В дальнейших главах обсуждаются общие и естественные вопросы. Приложен ряд собственных снимков и карт, дающих представление о величественности мира тибетских высот.

Тем временем прошлым летом была снаряжена третья экспедиция, которая, опираясь на опыт двух предыдущих, с уверенностью надеялась достигнуть цели. Как известно, она закончилась преждевременно и трагически, т. к. двое известнейших участников ее — Маллори и Ирвин (Irvine) — погибли немного ниже вершины. Однако англичан эта новая неудача не обескуражила: в печати снова слышно, что в 1926 году пустится в путь новая экспедиция для покорения до сих пор «непобежденного Монт-Эвереста».

Г. П.



Die Schweiz aus der Vogelschau. Herausg. u. eingeleitet von Otto Flückiger. Mit 258 Abb. Erlenbach-Zürich: E. Rentsch 1924. (XLIH S. u. 172 S. abb.) 4°.

Im Flugzeug dem Nordpol entgegen. Junkersche Hilfsexpedition für Amundsen nach Spitzbergen 1923. Herausg. von Walter Mittelholzer. Mit Beitr. von Kurt Wegener, Adolf Miethe und H. Boykow (Vorw. Adolf Hoel). Mit 48 Bildern u. 4 kt.-Skizzen. Zürich: Orell Füssli 1924. (VIII, 1075), gr. 8°.

Фотографирование с аэроплана получило за последние 10 лет весьма значительное развитие. Это искусство довели до необычайной высоты и законченности прежде всего потребности мировой войны. Научились снимать с аэроплана фотографическим аппаратом расположение неприятеля, изобрели метод, благодаря которому исправлялись получаемые при косом фотографировании искажения и получали таким образом настоящую карту с высоты. На твердой земле между тем достиг большого усовершенствованная стереофотограмметрический метод в связи с механическими приборами использова-

нвя его, и опыт его применения с аэроплана можно тоже считать вполне удавшимся. Техника полетов тоже существенно улучшилась, и условия, необходимые для полета, известны по отношению к большей части земной поверхности. Для измерения земной поверхности в незнакомых или трудно-доступных местностях, напр. в полярных областях или в широко раскинутых непроницаемых порвобытных лесах тропиков, с'емки с аэроплана представляют собою превосходное вспомогательное средство.

Но фотографирование с аэропланов имеет и независимо от практически-картографических целей свое особое научное и учебное значение. Фотография ландшафта с высоты птичьего полета дает возможность одним взглядом овладеть множеством географических фактов и сообщает такое представление о характере местности, которого на земле можно было бы достигнуть лишь с большими усилиями. Несомненно, фотографирование с аэроплана является искусством схватить камерой в должный момент именно то, что характерно. Одним из лучших летчиков-фотографов безусловно является офицер швейцарского воздушного флота В. Миттельгольцер (Mittelholzer). Прекрасные образцы его искусства заключают в себе обе названные выше книги. Он искрестил свою родную Швейцарию вдоль и поперек в полетах с фотографическим аппаратом и сделал много тысяч снимков с аэроплана. 258 превосходных снимков его собраны теперь в прекрасно изданной книге «Die Schweiz aus der Vogelschau». Цюрихский географ Отто Флюккигер (Flückiger) написал к ней введение и краткие научные раз'яснения к каждому снимку. Сначала он описывает вкратце происхождение и образование швейцарского ландшафта и дает путем избранных примеров объяснения разделению Швейцарии на трезвучие Юры, Средней Швейцарии и Альп в процессе их образования, бытия и разрушения. При рассмотрении самих картин мы пролетаем зигзагами над чудной страной с востока на запад, при чем обращено одинаковое внимание на все типы ландшафта. Полет начинается у верхне-итальянских озер с их узкими долинами и живописными селениями.

Затем мы отправляемся в великолепный мир глетчеров Бернины и бросаем взгляд вниз на массивные деревни Энгадина. За Давосом и Арозой виден средний Энгадин; Рейнская долина при Куре выводит на север через горный массив Сэн-тиса в предгорье к Сен-Галлену с его интересными видами поселков. Потом, в обратном полете, мы видим область Гларус в окрестности Сен-Готардского перевала. Путешествие продолжается через древнейшие кантоны Швейцарии (Швиц, Ури и Унтервальден) и Цюрихское озеро к Цюриху, мы посещаем через Ааргау Рейн и Базель. Следуют картины Юрской цепи и средней Швейцарии. Чудные горные и снежные ландшафты развертывает Бернский Оберланд, как их можно получить только с аэроплана. Мы перелетаем через Берн и Эмменталь, и с Фрейбурга начинается Западная Швейцария с ее озерами и Нейенбургской Юрой. Дальше, Женева и область Монблана заканчивают серию картин.

Географическое содержание снимков исчерпывается сопроводительным текстом, и поразительно, какое множество фактов физической географии и какое разнообразие культурно-географических явлений при этом раскрывается. Рассмотрение аэропланнх снимков не легко и утомляет непривычного читателя. Тем более ценен сопроводительный текст, научающий понимать содержание картин. Во вводную часть текста вставлен ряд образцов старой швейцарской картографии начиная с знаменитого швейцарского ученого Чуди (Tschudi 1560), которые могут быть объектами сравнения с современными аэропланнми снимками благодаря своей перспективности. Таким образом книга служит новым доказательством огромного значения аэропланной фотографии и можно поздравить Швейцарию с этим первым в своем роде по цельности и законченности сборником снимков.

Вторая из вышеупомянутых книг служит доказательством значения аэропланной фотографии в незнакомых полярных странах. Это доклад экспедиции Юнкерса на Шпицберген в июне-июле 1923 г., в которой принимал участие Миттельголь-

пер. Экспедиция эта намеревалась помочь Роальду Амундсену, — предполагавшему пролететь над Северным полюсом, направляясь из Северной Америки (ж. «Беседа» № 5, стр. 358—361) и в случае надобности лететь ему из Шпицбергена навстречу. Известие о том, что Амундсен отменил свой полет, настигло вспомогательную экспедицию уже на пути в Шпицберген. Несмотря на это завод летательных аппаратов Юнкерса решил произвести с находившегося уже в пути аэроплана опыты фотографических и кинематографических съемок со Шпицбергена, что и удалось превосходно. В находящейся перед нами, отлично изданной книге, профессор Курт Вегенер, известный исследователь Шпицбергена, дает сначала обзор ландшафта этой страны, ее хозяйства и истории. Далее он характеризует ценность сделанных Миттельгольцером великолепных снимков с берегов и единственного в своем роде мира глетчеров дальнего Севера. Профессор Мите (Miethe) трактует в общих чертах об условиях производства снимков с аэроплана, а капитан Бойков высказывается о результатах этих снимков с географической технически-измерительной точки зрения. Затем Миттельгольцер сам описывает весьма наглядно путь экспедиции, первые полеты над Шпицбергеном и, особенно, результаты большого кругового полета, который продолжался почти семь часов, и довел их при великолепной погоде до 80° северной широты. С этого полета он привез домой превосходные снимки, и собрание их, прекрасно воспроизведенных, в этой книге, дает представление о великолепных арктических ледяных ландшафтах. Приложены также и эскизы карт до сих пор еще не измеренных береговых областей, добытые из снимков, так что многостороннее значение аэропланной фотографии выступает перед нами с большой отчетливостью.

Г. П.

★

Hettner, Alfred. *Grundzüge der Landeskunde.* 2 Aufl. Bd. 1: Europa. Bd. 2. Die außereuropäischen Erdteile. Leipzig: B. G. Teubner 1923/24. (VIII, 373 u. VI, 4515), gr. 8°. Bd. 1, geh. 9.—, geb. 10.— Mk.; Bd. 2, geh. 11,20, geb. 13.— Mk.

Со времени обширной и многотомной «Nouvelle geographie universelle» (1876 и сл. годов) Е. Реклю, ни один географ не отваживался описать в единоличном труде значительного объема равномерно все страны света. Напротив, все труды такого рода пользуются большим штатом сотрудников, по крайней мере по одному специалисту на каждую часть света, и это потому, что перестали считать возможным, чтобы один человек мог вплоть до частных охватить так сильно разросшийся с тех пор материал и овладеть им настолько, чтобы равномерно и основательно его проработать. Поэтому заслуживает особого признания уже одно то обстоятельство, что ныне 65 летний Гейдельбергский географ Альфред Геттнер задумал в настоящем труде дать еще раз целостное описание всех стран света, тем более, что его попытка должна быть признана безусловно удачной. Это дело возможно лишь потому, что Геттнер — ученый универсальный и как географ и как методист — в течение всей своей жизни разрабатывал материал в своих лекциях, а как редактор своего журнала в течение 30 лет был в состоянии охватывать его во всем объеме. В то время как в других общих земледельных журналах мы имеем дело с отличными отдельными работами, не всегда, однако, однородных по плану и выполнению, единоличная работа наперед имеет преимущество методически-законченного изложения. В этом и заключается важнейшее преимущество Геттнеровского труда.

Первая часть его «Grundzüge», охватывающая Европу, появилась уже в 1907 г. в приблизительно двойном объеме, в то время, как вторая часть здесь дана впервые. Эта книга произошла из составленного еще в середине 90-тых годов текста к Спамеровскому Атласу (Spamers Handatlas). Цель ее дать краткое научное обоснование, по возможности общедоступное изложение всего страноведения, предназначенное не

только для учителей и учащихся, но для всех образованных людей. Оно должно показать, как выглядят различные части света и облегчить также и понимание государственной и хозяйственной жизни отдельных стран. Постоянно указываются причины связи, отчетливо и ясно вырабатывается представление о так называемых природных ландшафтах. Количество статистических данных намеренно ограничено. Многочисленные маленькие частные карты и геологические профили делают возможным понимание морфологических и антропо-географических условий как всех частей света вообще, так и отдельных областей в частности. Кроме того отчетливо при всей краткости представлены хозяйственные явления и политические изменения, вызванные исходом войны. Все вместе взятое представляет собою произведение, которым может гордиться германская наука и землевладение; оно написано при том общедоступно и заслуживает горячей рекомендации.

Г. П.

★

Новая карта Советской Республики.

Значительные изменения, происшедшие в политическом и хозяйственном облике России после мировой войны, обработаны картографически за границей впервые в появившейся недавно Politische und Verkehrskarte der Sowjetrepublik. Составил ее по новым картам и статистическим данным, обработанным за последние годы в России, некий А. Радо. Она издана в масштабе 1 : 4 миллиона в красках, и показывает границы новых республик и автономных областей, а также все политически и хозяйственно важные пункты. Железнодорожные пути выделены особенно ярко толстыми и более тонкими красными линиями. Содержание карты доведено по официальным источникам до 1-го января 1924 года. Таким образом, получилась весьма удобная для пользования карта, делающая честь как ее составителю, так и издательству Георга Вестермана в Брауншвейге. (Georg Westermann).

Для понимания политической структуры и новой хозяйственной жизни России особенно ценно имеющееся при карте приложение. Оно содержит прежде всего статистические данные о Советской Республике в целом и в отдельных ее частях. Мы заимствуем отсюда следующие цифры:

	Площадь в тысячах кв. км.	Народонаселение в тысячах	Плотность	Главный город
Р. С. Ф. С. Р. (Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика) в Европе	20 173	98 095	4,8	Москва
У. С. С. Р. (Украинская Социалистическая Советская Республика)	442	26 765	60,5	Харьков
З. С. Ф. С. Р. (Земля Кавказа) Соц. Федерат. Советская Республика)	186	5 781	30,7	Тифлис
С. С. Р. Б. (Соц. Сов. Республика Белороссии)	60	1 634	27,2	Минск
Бухарская Народная Советская Республика	210	3 000	14,2	Бухара
Хорезмская Соц. Советская Республика	63	1 000	15,8	Хива
	21 134	136 275	6,4	

Далее, приложение содержит список городов советской федерации, имеющих более 30 000 народонаселения, таблицу важнейших измененных географических названий, эскиз карты разделения Советских Республик на хозяйственные области по проекту государственной плановой комиссии и указатель всех помеченных на карте пунктов.

Г. П.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В апреле текущего года уполномоченное мною лицо предложило из-ву «Мысль» (Ленинград) напечатать I-ую часть моей книги «Поэтическое хозяйство Пушкина». Согласившись на это предложение и торопясь выпустить книгу к пушкинскому юбилею, издательство тотчас приступило к набору, для чего воспользовалось текстом, напечатанным в №№ 2 и 3 журнала «Беседа» (заметки 1—41), а также рукописью заметки № 42. При этом издательство не только не захотело дожидаться от меня исправленного и значительно дополненного текста, но и категорически отказало моему уполномоченному в возможности прочитать корректуру. В результате книга появилась в продаже, содержа все опечатки и погрешности «Беседного» текста. С этим я был бы готов примириться. Но вот с чем примириться нельзя: сверх неисправностей текста «Беседы» издательство прибавило от себя ряд таких вопиющих искажений, которые делают мою книгу попросту никуда не годной. Чтобы не быть голословным, я вкратце укажу на произведенные в книге опустошения:

1) Только первые сто страниц содержат в себе не менее двухсот новых, не бывших в «Беседе» опечаток, сплошь и рядом вдребезги разрушающих смысл фразы, а иногда и целой главы.

2) На стр. 3 произвольно выброшен эпиграф к книге.

3) На стр. 22 выброшено 6 строк текста.

4) На стр. 23 выброшено 30 строк, отчего вся заметка № 15 лишилась смысла.

5) На стр. 92 пропуск фразы и искажение пунктуации привели к тому, что одна фраза Пушкина лишилась смысла, а другая приписана мне.

6) Вся заметка № 40, основанная на внешнем сходстве инициалов Наполеона (N1) с № 1 мелочной лавки, обесмыс-

лена типографской путаницей. (На одной странице 7 отпечаток, из которых каждая искажает весь смысл).

7) Кроме бесчисленных опечаток, уродующих цитаты из Пушкина, на которых основана вся моя работа, — на стр. 87, 92 и 94 целые фразы Пушкина выброшены вовсе.

8) На стр. 52 в мою фразу: «Летом 1825 г. написаны знаменитые стихи «Я помню чудное мгновенье» — чья то пошлая рука после слова «знаменитые» от себя вставила слово «страстные».

9) Точно так же на стр. 100 вставлено неизвестно откуда взятое слово «иначе».

10) Большую заметку № 42 (о «Русалке»), разделенную звездочками на 19 мелких глав, издательство превратило в 19 самостоятельных заметок, напечатанных под цифрами 42—60.

11) Стр. 87 показывает, что над моей книгой трудился какой-то «пушкинист». У меня сказано (см. «Беседа», кн. 3, стр. 224):

17 августа 1825 он пишет Жуковскому, по поводу «Бориса Годунова» и «Истории» Карамзина: «C'est palpitant comme la gazette d'hier»...

Непрошенный «редактор» моей книги зачем-то достал «Переписку» Пушкина и вздумал самовольно увеличить цитату. Он не ограничился французской фразой, но пожелал привести и предшествующую русскую, которую, однако, перевра́л и вместо пушкинской фразы: «Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! какая жизнь!» — вставил буквально следующее: «Что за чуда (sic!) эти два полные (sic!) тома Карамзина! Катя! (sic!!)».

Все эти безобразные искажения, пропуски и прибавления, которые не могу иначе назвать, как наглými и умышленно издевательскими, заставляют меня отказаться от всякой ответственности за эту книгу, в том виде, в каком она напечатана кни-вом «Мысль».

Holywood (Ирландия).

9. VIII. 1924.

Владислав Ходасевич.

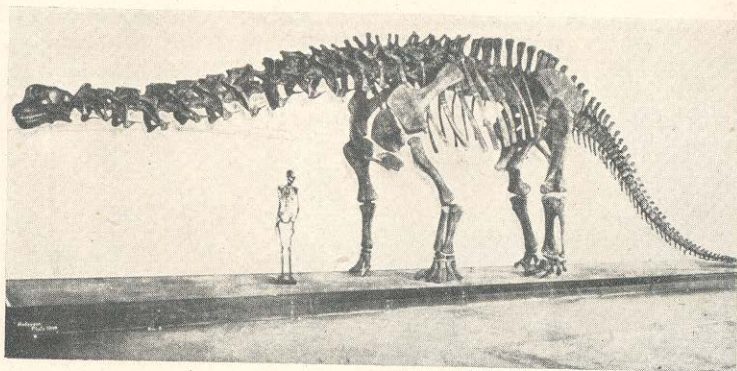


Рис. 1. Реконструкция скелета бронтозавра (*Brontosaurus excelsus*) в «American Museum of Natural History» в Нью-Йорке.

Внизу для сравнения скелет человека.



Рис. 2. Реконструкция диплодока (*Diplodocus Carnegiei*).

По Абелю, Вена.

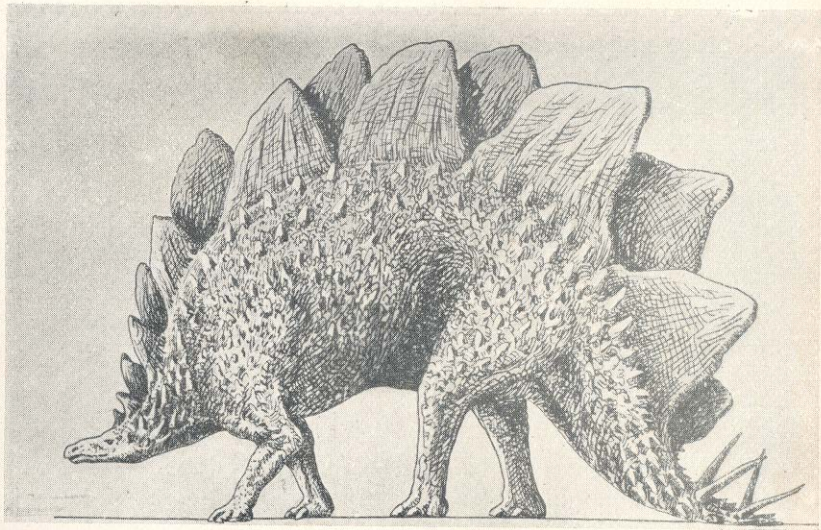
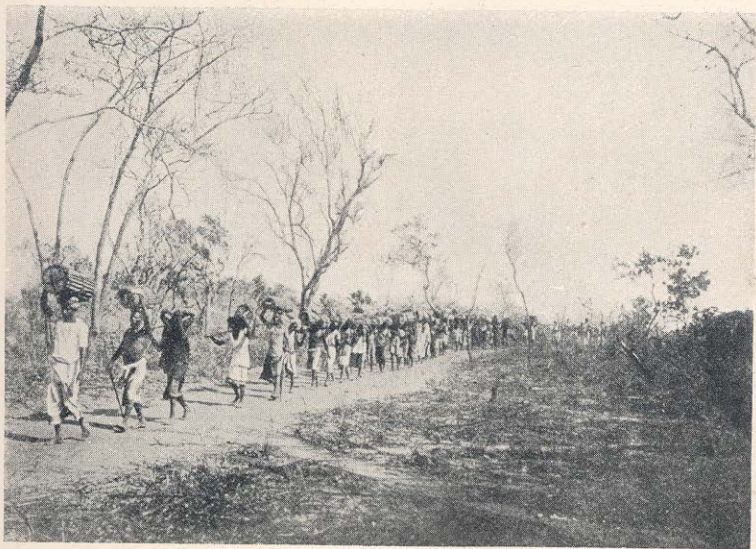


Рис. 3. Реконструкция стегозабра (*Stegosaurus ungulatus*)
из верхне-юрских отложений Сев. Америки.

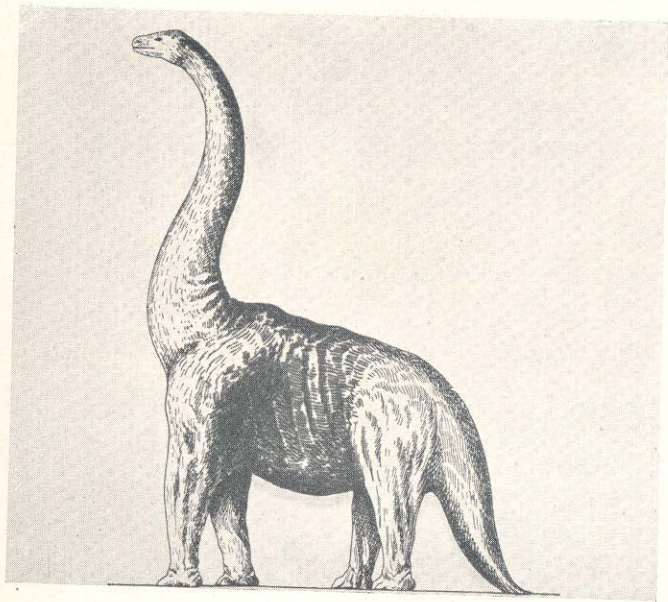
По Абелю, Вена.



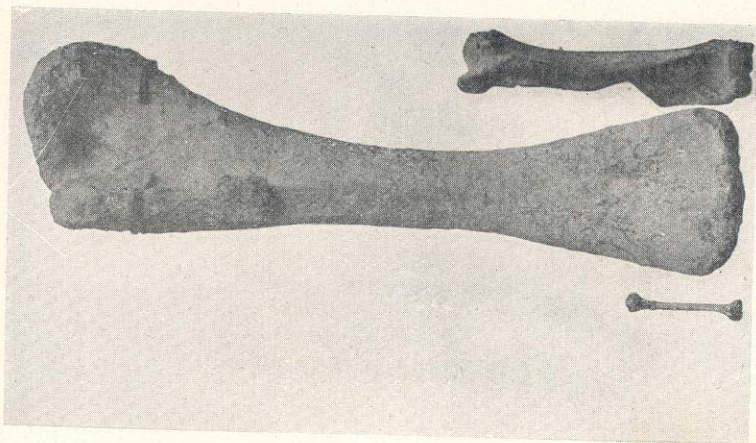
Рис. 4. Раскопки скелета динозавра в Тендагуру.



*Рис. 5. Негры, несущие упакованные кости из Тендагуру
к берегу моря в Лилди.*



*Рис. 6. Брахиозавр из тендагуровых слоев.
Реконструкция Абея.*



*Рис. 7. Плечевая кость самого большого динозавра Тенда-
гуру; рядом для сравнения плечевая кость человека
(внизу) и слона (наверху).*



Рис. 8. Лопатка большого динозавра.